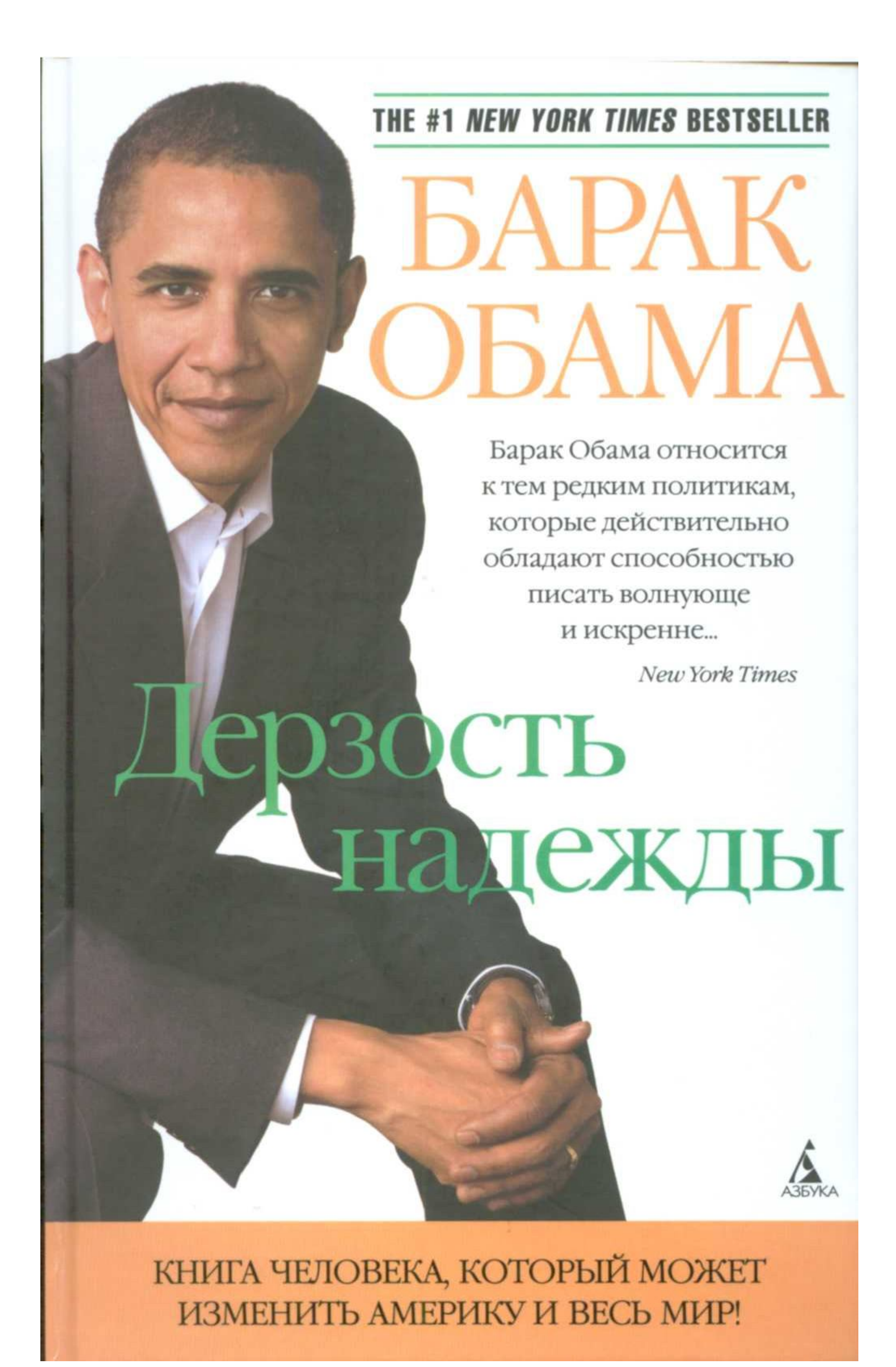


КНИГА ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ АМЕРИКУ И ВЕСЬ МИР!

БАРАК ОБАМА
Дерзость надежды
Мысли о возрождении американской мечты



Санкт-Петербург
Издательский Дом «Азбука-классика»
2008

S.3(2Рос)67 13
BARACK OBAMA THE AUDACITY OF HOPE Thoughts on Reclaiming the American Dream Copyright © 2006 by Barack Obama is translation published by arrangement with Crown Publishers, vision of Random House, Inc., and with Synopsis Literary Agency
Перевод с английского Татьяны Камышниковой, Александра Митрофанова
© Т. Камышникова, перевод, 2008 © А. Митрофанов, перевод, 2008 Ш-5-395-00209-9 © Издательский Дом «Азбука-классика», 2008

Оглавление

ПРОЛОГ

Почти десять лет назад я впервые баллотировался на выборах. Я, тридцатипятилетний, работал уже четыре года после окончания юридического факультета, только что женился и буквально рвался испробовать в жизни все. Как раз тогда освободилось место в Законодательном собрании Иллинойса, многие друзья советовали мне рискнуть и говорили, что с опытом специалиста по гражданским правам и с теми контактами, что остались со времен работы в активе группы избирателей, из меня получится вполне достойный кандидат. Посоветовавшись с женой, я включился в предвыборную кампанию и, как любой новичок в этом деле, заговаривал со всяким, кто соглашался меня выслушать. Я отправлялся на встречи квартальных клубов и церковные собрания, шел в салоны красоты и парикмахерские. Едва завидев двух приятелей, остановившихся поговорить где-нибудь на углу, я переходил дорогу и вручал им рекламный буклет своей избирательной кампании. И где бы я ни оказывался, мне неизменно, хотя и по-разному формулируя, задавали два вопроса: «Что это за имя у вас такое странное?» и «Вы, похоже, человек неплохой. И чего вас потянуло в политическую грязь?».

Такие вопросы вовсе не ставили меня в тупик. И об этом, и о чем-нибудь подобном спрашивали меня и раньше, когда я только что приехал в Чикаго и начал работать в бедном районе. В расспросах слышался какой-то особый цинизм не только по отношению к политике, но и к общественной жизни как таковой, и, по крайней мере в тех районах Саутсайда, интересы которых я собирался представлять, цинизм этот был плодом многих лет разочарований от невыполненных обещаний. В ответ я улыбался, кивал и отвечал, что все прекрасно понимаю, что для скепсиса оснований более чем достаточно, однако в политике всегда существовала и другая традиция: еще в те времена, когда в нашей стране закладывался фундамент величественного здания гражданских прав, эта традиция основывалась на очень простой мысли о том, что мы крепко-накрепко связаны друг с другом, нас не могут разделить никакие противоречия, и если мы начнем жить согласно этому убеждению, то пусть даже и не решим всех проблем, но все же сумеем сделать что-нибудь значительное.

Мне казалось, такие речи привлекут на мою сторону кого угодно. И хотя сейчас я не думаю, что оставил неизгладимое впечатление в памяти своих слушателей, все же нашлись такие, кто оценил серьезность моих намерений и ту настойчивость, с которой я пробивал себе дорогу в Законодательное собрание штата Иллинойс.

Через шесть лет, когда я баллотировался в Сенат США, уверенности в себе у меня поубавилось.

На первый взгляд, карьера моя складывалась как нельзя удачнее. После двух сроков, в течение которых я не покладая рук работал в рядах меньшинства, демократы получили большинство в Сенате штата, и мне удалось провести множество законопроектов, начиная с реформы системы смертной казни, применяемой в Иллинойсе, и заканчивая расширением программы детского здравоохранения. Кроме этого, я с удовольствием продолжал преподавать на юридическом факультете Чикагского университета и часто выступал с лекциями по всему городу. Я тщательно охранял свою независимость, доброе имя и семью, ведь все это было, без преувеличения, поставлено на карту в тот момент, когда я решился войти в мир большой политики.

Годы, однако, брали свое. Естественно, я становился старше и, как любой человек, все острее ощущал, что расплачиваюсь за собственные ошибки, — обычно мы не обращаем особого внимания на стереотипы мышления, полагаем, что они, вероятно, наследственные или благоприобретенные, но постепенно становимся их рабами; точно так же от хромоты со временем начинает болеть бедро. У меня таким стереотипом стало хроническое недовольство; не важно, как шли дела, я не умел ценить тех радостей, которые текли мне прямо в руки. Я полагаю, что этот изъян — примета современной жизни в целом и американского характера в частности, но сильнее, чем в политической борьбе, он, пожалуй, нигде не проявляется. Не совсем ясно, правда, сама ли политическая борьба привлекает людей с таким изъяном, или же она способствует его появлению. Кто-то сказал, что каждый из нас либо старается оправдать надежды своего отца, либо повторяет его же ошибки, и мне кажется, это хорошо объясняет мой своеобразный недуг.

Как бы там ни было, это самое недовольство побудило меня бросить вызов кандидату от демократов в борьбе за место в Конгрессе на выборах 2000 года. То был необдуманный поступок, и меня разбили, как говорится, наголову, но именно такого рода случаи и способны избавить от иллюзии того, что жизнь должна идти строго по намеченному тобой плану. Года через полтора, когда боль от поражения утихла, я обедал с пиар-консультантом, который уже давно советовал мне задуматься о работе в масштабе всего штата. Дело происходило в конце сентября 2001 года.

— Вы, конечно же, понимаете, что политическая жизнь теперь в корне изменилась, — произнес он за салатом.

— Что вы имеете в виду? — спросил я, впрочем отлично зная ответ.

Оба мы взглянули на газету, лежавшую рядом с ним. С первой ее полосы на нас смотрел Осама бин Ладен.

— Хуже некуда, — сказал мой собеседник, качая головой. — Не везет так не везет. Поменять ваше имя невозможно. Избиратели сразу заподозрят что-нибудь нехорошее. Были бы вы начинающим политиком — другое дело: взяли бы псевдоним, придумали бы что-нибудь. А вот теперь...

Он виновато замолчал, нерешительно пожал плечами и махнул официанту, чтобы тот нес счет.

Он вроде бы был прав, но от этих слов мне стало невыносимо тяжело. Впервые за всю свою карьеру я начал завидовать политикам моложе меня, которые преуспели там, где я потерпел поражение, продвинулись дальше, смогли больше сделать, наконец. Радости политической борьбы — адреналин жарких споров, подлинная теплота пожимаемых тобой рук, встречи с простыми людьми — показались вдруг до смешного мелкими по сравнению с обыденностью: поиском денег, долгой дорогой домой после затянувшегося на два часа банкета, нездоровой едой, спертым воздухом и короткими телефонными разговорами с женой, которая пока еще терпела меня, но порядком устала от того, что все время была одна с детьми, и уже не раз интересовалась, что для меня главнее. Даже законотворчество, даже большая политика, которая сама заставила меня сражаться за первое место, стала какой-то незначительной, слишком уж далекой от великих сражений за налоги, безопасность, здравоохранение и рабочие

места для всего государства. Меня чаще и чаще стали одолевать сомнения, правильным ли путем я следую; я оказался в положении увлекшегося мечтой актера, который все ходит с прослушивания на прослушивание, или спортсмена, который годами болтается где-нибудь в низшей лиге. В конце концов они понимают, что все — вот он, предел их талантов, вот все, чем оделила их судьба. Мечта не сбудется, и теперь надо или по-взрослому смириться с этим и поставить перед собой другие, выполнимые цели, или по-детски закрыть глаза и превратиться в сердитого, жалкого и никому не нужного зануду.

Неприятие, гнев, споры, уныние... По-моему, вопреки утверждениям специалистов всех ступеней этой лестницы я так и не одолел. Но со временем пришло осознание границ собственных возможностей и, до некоторой степени, самого факта, что я смертен. Я сосредоточился на работе в Сенате штата и находил удовлетворение в тех реформах и инициативах, которые мог проводить на своем посту. Я стал больше бывать дома, видел, как растут дочери, заботился, сколько мог, о жене, приводил в порядок свои долгосрочные денежные дела. Я занимался спортом, читал книги и обнаружил, что, оказывается, Земля вращается вокруг Солнца, а времена года сменяют друг друга без всякого моего участия.

Именно после этого мне и пришла в голову вроде бы бредовая мысль баллотироваться в Сенат США. Я постарался объяснить жене свой рискованный замысел, последнюю возможность проверить мои идеи, перед тем как все станет спокойнее, стабильнее, наконец, обеспеченнее. Она согласилась со мной — подозреваю, больше из сожаления, чем по убеждению, — но добавила, что лично ей хочется нормальной жизни для семьи, поэтому на ее голос я не должен особо рассчитывать.

Я утешал ее тем, что шансы у меня были весьма призрачные. Кандидат от республиканцев, Питер Фицджеральд, потратил личные девятнадцать миллионов долларов на устранение своей предшественницы Кэрол Мозли Браун. Большой популярностью он похвастаться не мог; политические игры, похоже, ему были вообще не по вкусу. Но некоторое уважение избирателей он заслужил не только своей искренностью, но и огромным семейным капиталом.

Тогда Кэрол Мозли Браун как раз вернулась в Америку после работы послом в Новой Зеландии и подумывала о том, чтобы занять свое старое место; ее кандидатура оказалась серьезным препятствием на моем пути. Когда она решила вместо этого участвовать в президентской кампании, вокруг места в Сенате забурлили нешуточные страсти. После того как Фицджеральд объявил, что не хочет переизбираться, главными моими соперниками оказались шестеро, в их числе действующий контролер штата, бизнесмен с состоянием в несколько сотен миллионов долларов, бывший начальник штаба предвыборной кампании мэра Чикаго Ричарда Дейли, и темнокожая женщина-врач, кандидатура которой, как рассчитывали, расколет голоса черных избирателей и уменьшит мои и без того ничтожные шансы на победу.

Меня это не волновало. Вероятность была очень мала, но я кинулся в битву с неожиданными для меня самого энергией и радостью. За небольшие деньги я нанял четверых толковых сотрудников примерно одного возраста — около тридцати лет. Мы нашли маленький офис, отпечатали бланки, поставили телефон, компьютеры. Каждый день часа по четыре, по пять я названивал крупнейшим сторонникам демократов, добиваясь хоть какой-нибудь пользы. Я созывал пресс-конференции, на которые никто не приходил. Мы даже подали заявку на участие в ежегодном параде в честь Дня святого Патрика, но нам выделили место в самом конце колонны, и вместе с десятью добровольцами я шагал прямо перед мусоровозами и махал тем немногим зрителям, которые еще смотрели, а сзади нас уборщики торопливо подметали мусор и срывали со столбов зеленые стакеры в виде листочков клевера.

Но больше я разъезжал — из района в район Чикаго, из округа в округ, из города в город, из одного конца штата в другой, мимо полей кукурузы и бобов, машин дальнобойщиков и силосных башен. Легкими и приятными эти поездки никак нельзя было назвать. Процесс был малоэффективен. Я не имел ни отлаженной машины демократической партии, ни списков рассылок, интернет тоже был бесполезен, мне оставалось только полагаться на друзей и знакомых, готовых открыть двери своих домов или устроить мне встречу с избирателями в церкви, в обществе любителей бриджа или в местном отделении «Ротари интернешнл». Бывало, после нескольких часов, проведенных за рулем, я добирался до двух-трех человек, терпеливо дожидавшихся меня за кухонным столом. Я рассыпался в комплиментах хозяевам, убеждал их, что все прекрасно, нахваливал ужин. Бывало, я просиживал всю церковную службу, а пастор просто забывал обо мне, или глава местного отделения профсоюза сначала давал мне слово, а потом объявлял, что они решили поддержать другого кандидата.

Но все равно, выступал ли я перед двумя слушателями или пятьюдесятью, оказывался ли в прохладных, величественных особняках Норд-Шора, в многоэтажке без лифта в Уэстсайде или в доме у фермера где-нибудь в Блумингтоне, встречали ли меня по-дружески, равнодушно или откровенно враждебно, — везде я старался говорить поменьше, а слушать побольше. Мне рассказывали о работе, о делах, о местной школе; жаловались на Буша и ворчали на демократов; я узнавал о собаках, о радикулите, о военной службе, о детских воспоминаниях. Находились и теоретики со своими взглядами на причины сокращения рабочих мест в промышленности или на непомерно высокие цены на лечение. Цитировали Раша Лимбо и передачи Национального общественного радио. И все же людей волновали больше всего работа и дети, а не политика, и со мной делились самым главным: закрылся завод, кого-то повысили в должности, пришел большой счет за отопление, родителей отправили в дом престарелых, сын или дочка только что начали ходить.

Все эти разговоры на протяжении долгих месяцев не стали для меня откровением. Я удивлялся лишь, что чаяния людей так скромны и в то же время так схожи, несмотря на разные округа, разные расы, религии и классы. Большинство полагали, что, если ищешь работу, это должна быть такая работа, которая обеспечит прожиточный минимум. Утверждали, что человек не должен заявлять о своей несостоятельности только потому, что он заболел. Убеждали, что каждый ребенок должен получить действительно хорошее образование, а не болтовню, а потом должен иметь возможность учиться дальше, даже если его родители небогаты. Всем хотелось защиты от преступников и террористов; все желали свежего воздуха, чистой воды, общения с детьми. А в старости всем хотелось достойной пенсии и уважительного отношения.

Вот, собственно, и все. Немного, да. И пусть было совершенно ясно, что в жизни очень многое зависит от самого человека — хотя никто и не ожидал от правительства решения всех проблем, и уж тем более никто не ожидал пустых трат денег налогоплательщиков, — каждый полагал, что правительство протянет руку помощи.

Я соглашался с ними: да, правительство не может решить все проблемы. Но, несколько изменив приоритеты, мы сможем сделать так, что каждый ребенок получит хороший старт в жизни и справится с трудностями, с которыми сталкивается общество. Чаще всего в ответ мне люди лишь сочувственно кивали и спрашивали, как и чем они могут помочь. И когда я ехал дальше, положив карту на пассажирское сиденье рядом, то снова получал ответ на вопрос, зачем я пошел в политику.

Столько я никогда в жизни не работал.

Эта книга выросла из тех самых разговоров, которые я вел во время предвыборной кампании. Мои беседы с избирателями подтвердили, что достоинство изначально присуще американской нации и что в основе американского опыта лежат идеалы, которые не дают успокоиться нашей общей совести; что у нас всех общие ценности и что именно эти ценности объединяют нас вопреки всяческим различиям; что надежда движет нашим невероятным демократическим экспериментом. Эти ценности и идеалы воплощены не только в мраморе памятников и томах исторических книг. Они живы в сердцах большинства американцев, и именно поэтому мы испытываем чувство гордости, помним о долге и готовы к самопожертвованию.

Я понимаю, что рискую, утверждая это. Во времена глобализации, стремительного развития технологий, жестокой политической борьбы и безжалостных межкультурных конфликтов у нас, кажется, нет даже общего языка, чтобы рассказать друг другу о своих идеалах, и уж тем более нет никаких средств, чтобы прийти хотя бы к хрупкому согласию и решить, как воплотить эти идеалы в жизнь. Большинство из нас знает цену мудростям, изрекаемым рекламистами, интервьюерами, составителями речей и мудрецами от политики. Мы прекрасно понимаем, что самые высокопарные слова могут служить самым низменным целям и что самые благородные чувства можно принести на алтарь власти, целесообразности, алчности и нетерпимости. Читая обычный университетский учебник истории, легко заметить, насколько рано реальная жизнь Америки начала отклоняться от мифов и представлений о ней. В таких условиях призыв к общим идеалам и ценностям может показаться удивительно наивным, если не опасным, — ведь он отрицает глубокие различия между стратегией и ее выполнением и, хуже того, заглушает голоса тех, кто выказывает недовольство теперешней работой нашей государственной машины.

И все же я утверждаю, что выбора у нас нет. Не нужны никакие опросы, чтобы доказать: подавляющее большинство американцев — и республиканцев, и демократов, и независимых — порядком устали от мертвой зоны, в которую превратилась сейчас политика, где сталкиваются узкие интересы, а идеологические меньшинства навязывают всем собственные версии абсолютных истин. Не важно, из какого человек штата — красного или синего, — все ощущают обман, пустословие и бестолковость наших политических дебатов и просто на дух не выносят все то же дежурное блюдо, составленное из позавчерашних обещаний. Верующие и неверующие, черные, коричневые, белые — все мы понимаем — и правильно! — что первоочередные потребности нации не замечаются, что если мы не изменим курс как можно быстрее, то оставим после себя более слабую и расколотую Америку, чем та, которая досталась нам в наследство. Может, сейчас, как никогда раньше, нам нужна другая политика, такая, для которой самыми важными будут идеалы и взгляды, общие для всех американцев.

Моя книга о том, как нам начать перемены в политике и общественной жизни. Не ждите от меня ценных указаний: я и сам точно не знаю, с чего именно надо начинать. Да, в каждой главе я буду обсуждать с вами самые серьезные и злободневные стратегические вопросы и постараюсь доходчиво объяснить, почему я предлагаю именно тот, а не иной способ их решения, но зачастую мои ответы не будут вполне исчерпывающими. Я не предлагаю стройной теории государственного устройства Америки, не выдвигаю никаких призывов к действию, не подкрепляю их для верности графиками, диаграммами, расписаниями и планами из десяти пунктов.

Моя задача куда скромнее: я размышляю об идеалах и ценностях, которые привели меня в общественную жизнь, рассуждаю о том, что именно в сегодняшней политической обстановке толкает нас к ненужному расколу; основываясь на своем опыте сенатора и юриста, мужа и отца, христианина и скептика, высказываю соображения о том, каким образом наша политическая жизнь должна строиться на началах общественного блага.

Коротко о том, как построена эта книга. В первой главе я рассматриваю современную политическую историю и делаю попытку объяснить причины возникновения того удручающего разъединения, свидетелями которого мы с вами являемся. Во второй главе речь пойдет об общих ценностях, которые могли бы заложить основу нового политического согласия. В третьей главе я говорю о том, что наша Конституция не только гарантирует права личности, но и служит средством организации по-настоящему демократического обсуждения нашего общего будущего. В четвертой главе читатели узнают о тех скрытых пружинах — деньгах, средствах массовой информации, группах по интересам, законодательных процедурах, — которые могут задушить даже самые лучшие намерения политиков. В последующих пяти главах я предлагаю способы преодоления разногласий во имя успешного решения самых больших наших проблем: все возрастающей экономической незащищенности американских семей, расовых и религиозных трений в нашем политическом пространстве, а также говорю об общемировых угрозах — от терроризма до пандемий, — которые все настойчивее стучатся и в наши двери.

Полагаю, что многие мои читатели скажут, что я неоправданно выпячиваю одни вопросы и замалчиваю другие. В таких случаях я чувствую себя как обвиняемый на суде. В конце концов, я демократ; мои мнения по многим вопросам скорее совпадут с редакционными статьями в «Нью-Йорк таймс», чем в «Уолл-стрит джорнал». Я категорически не согласен с теми политиками, которые в первую очередь учитывают интересы состоятельных и влиятельных американцев, задвигая в тень обычных, среднестатистических людей, и утверждаю, что роль государства в предоставлении всем равных возможностей исключительно важна. Я верю в эволюцию, научные исследования и глобальное потепление; я верю в свободу слова, и неважно, соответствует ли оно правилам политкорректно-сти, но я не люблю, когда государство используют как инструмент воздействия верующих, к которым причисляю и себя, на неверующих. Более того, в некотором смысле я заложник собственной биографии:

ведь я вижу американскую жизнь глазами темнокожего американца смешанного происхождения и не могу забыть о том, сколько поколений людей, подобных мне, подвергались гонениям и унижению, а также прекрасно понимаю, что раса и общественный класс, как подспудно, так и открыто, формируют жизнь каждого человека.

Но мои взгляды не исчерпываются только этим. Я знаю, что и наша партия бывает самодовольной, может замкнуться в себе, впасть в догматизм. Я верю в свободный рынок, конкуренцию, дух предпринимательства и думаю, что многие правительственные программы оправдают возлагаемые на них надежды. Я хотел бы, чтобы у нас стало меньше юристов и больше инженеров. Я думаю, что в истории Америка чаще была силой добра, а не зла; я не питаю иллюзий насчет наших врагов и отдаю должное мужеству и профессионализму наших военных. Я не приемлю политики, основанной исключительно на расовых или половых признаках, сексуальной ориентации или комплексе жертвы. Я полагаю, что множество проблем бедных районов возникает из-за кризиса культуры, который преодолевается не только деньгами, и что наши ценности и наша духовная жизнь значат не меньше, чем наш валовой национальный продукт.

Несомненно, такие взгляды не дадут мне жить спокойно. Я – новое лицо на политической сцене и пока еще могу быть тем экраном, на который люди совершенно разных политических убеждений имеют возможность проецировать свои взгляды. В этом качестве я разочарую многих, если не всех. Поэтому вторая, если не основная, цель моей книги — рассказать о том, как я или кто-либо иной на официальной должности может отвернуться от соблазнов славы, не рваться угождать всем, не бояться потерь, не загубить в себе зерно истины, расслышать тихий голос, который напоминает о наших стремлениях и целях.

Недавно, когда я бежал на работу, меня остановила женщина-репортер, одна из тех, кто освещает работу правительства, и сказала, что с удовольствием прочитала мою первую книгу. «Хотелось бы, — сказала она, — чтобы вам удалось так же интересно написать и следующую книгу». То есть имея в виду: «Хотелось бы, чтобы вам удалось остаться таким же честным и на посту сенатора США».

Мне тоже хотелось бы. Надеюсь, эта книга оправдает мои ожидания.

ГЛАВА 1 Республиканцы и демократы

Чаще всего я попадаю в Капитолий из цокольного этажа. Небольшой подземный поезд везет меня из Харт-бил-динг, где располагается мой офис, по туннелю, украшенному флагами и гербами всех пятидесяти штатов. Поезд делает остановку. Я выхожу, шагаю мимо спешащих сотрудников, обслуживающего персонала, редких туристов и оказываюсь у старого лифта, возносящего меня на второй этаж. Здесь мне надо выйти, махнуть рукой журналистам, которые, кажется, тут ночуют, поздороваться с сотрудником службы безопасности Капитолия и через величественные двустворчатые двери войти на этаж Сената США.

Зал заседаний Сената, честно говоря, не самое красивое помещение Капитолия, и все-таки оно впечатляет. Бежевые стены, панели, затянутые голубым штофом, и колонны из мрамора с тонкими прожилками. Наверху овальный плафон кремового цвета с американским орлом в центре. Над гостевой галереей в спокойных позах застыли бюсты первых двадцати американских президентов.

От центра четырьмя пологими ступенями амфитеатра расходится сотня столов красного дерева. Некоторые из них стоят здесь с 1819 года, и на каждом аккуратное отверстие для чернильницы и вставочка для пера. Откройте ящик любого стола, и почти наверняка найдете написанное или даже нацарапанное имя и фамилию его бывшего владельца: Тафта или Лонга, Стенниса или Кеннеди. Бывает, стоя в этом зале, я воображаю, как Пол Дуглас и Хьюберт Хамфри сидят за своими столами и в который уже раз жарко спорят о приеме какого-нибудь закона о гражданских правах; или как Джо Маккарти где-нибудь по соседству яростно перелистывает страницы, готовясь к очередным своим разоблачениям; или как Линдон Джонсон ходит вдоль барьера и, держась за лацкан пиджака, подсчитывает поднятые руки. Иногда я останавливаюсь у стола Дэниела Вебстера и представляю, как он встает перед залом, полным депутатов и гостей, и, сверкая глазами, яростно защищает союз против сил раскола.

Но это продолжается недолго. Голосование идет всего несколько минут, и ни я, ни мои коллеги не задерживаются на этаже Сената. Чаще всего решение — например, о том, какие и когда обсуждать законопроекты, о каких поправках пойдет речь и как склонить несговорчивых сенаторов к сотрудничеству, — согласовывается заранее с руководителем большинства, председателем соответствующего комитета, его сотрудниками и (в зависимости от степени противоречивости вопроса и широты взглядов того республиканца, который этим законопроектом занимается) с оппонентами из стана демократов. Когда мы попадаем на этаж и клерк зачитывает список, каждый из сенаторов уже знает — после консультаций со своими сотрудниками, председателем закрытого партийного собрания, лоббистами, группами по интересам, после изучения относящейся к делу переписки, идеологических разногласий, — какого мнения придерживаться по тому или иному вопросу.

Все это вместе и делает процесс эффективным, и именно поэтому его так ценят все участники, которые после двенадцати или тринадцати часов работы в Капитолии еще хотят вернуться к себе в офис, чтобы встретиться с избирателями и ответить на телефонные звонки, отправиться в гостиницу, где у них намечена встреча со спонсорами, или спешат на интервью в прямом эфире. Если вы задержитесь здесь, то, может быть, увидите какого-нибудь сенатора, который стоит за своим столом, хотя все уже ушли, и громогласно делает заявление перед залом. Может быть, он представляет законопроект или высказывается по поводу проблемы общенационального масштаба. В голосе оратора звенит страсть; его аргументы по поводу урезанных программ борьбы с бедностью или препятствий при назначении на должность судьи, доводы в пользу необходимости усиления энергетической независимости, может быть, вполне логичны и обоснованны. Но обращается он к полупустому залу; его слушатели — председатель, немногие сотрудники, парламентский репортер да немигающий глаз камеры Общественно-политической кабельной телесети. Оратор заканчивает свое выступление. К нему подходит сотрудник в синей униформе и бесшумно забирает листы с текстом для официальной регистрации. Сенатор уходит, и тут же его место занимает другой или другая, и теперь уже их очередь стоять у стола, отстаивать свою точку зрения, делать заявление и повторять заново весь ритуал.

В крупнейшем совещательном органе мира их никто не слушает.

День 4 января 2005 года, когда вместе с одной третью членов Сената я принес присягу как член сто девятого Конгресса, мне помнится как одно размытое пятно. Ярко светило солнце, день выдался не по-зимнему теплым. Мои родные и друзья приехали из Иллинойса, Лондона, Кении, с Гавайев и, стоя на галерее Сената, с радостью смотрели, как у мраморного возвышения я вместе с коллегами приносил должностную присягу, подняв правую руку. В Старом зале заседаний Сената я вместе с женой Мишель и дочками повторил всю церемонию и сфотографировался с вице-президентом Чейни (в полном соответствии с правилами моя шестилетняя Малия чинно пожала руку вице-президенту, а трехлетняя Саша громко шлепнула по его ладони, а потом обернулась и помахала рукой прямо в телекамеру). Потом я видел, как девчонки вприпрыжку бегут по ступеням восточной лестницы Капитолия, оборки их платьев — розового и красного — порхают в воздухе на фоне белых колонн Верховного суда, и эта картинка навсегда останется в моей памяти. Мы с Мишель взяли их за руки и вчетвером прошли в Библиотеку Конгресса, где нас уже ждали сотни сторонников, которые специально приехали в тот день, и следующие несколько часов я пожимал руки, обнимался, фотографировался и раздавал автографы.

Улыбки, благодарности, любезности и церемонии — видимо, именно так все представлялось тогда гостям Капитолия. Но даже если весь Вашингтон в тот день был образцом вежливости, как бы затихнув в ожидании и подтверждая преемственность нашей демократии, в воздухе чувствовалось какое-то напряжение, точно знак, что долго это настроение не продлится. Когда родные и друзья отправились домой, когда закончился прием и солнце скрылось за пеленой зимнего вечера, над городом точно нависла четкая определенность непреложного факта: страна разделилась, разделился и Вашингтон, и политический раздел этот, пожалуй, стал самым серьезным со времен Второй мировой войны.

И президентские выборы, и всевозможные статистические выкладки убедительно подтвердили очевидное. Американцы расходились во мнениях буквально обо всем: об Ираке, налогах, проблеме абортов, оружии, десяти заповедях, однополых браках, иммиграции, торговле, образовательной политике, экологическом законодательстве, количестве членов правительства и роли судов. Мы не просто не соглашались друг с другом, мы не соглашались радикально, причем сторонники разных мнений не жалели желчи и сарказма для критики противной стороны. Мы доходили до того, что спорили о том, насколько мы не согласны друг с другом, в чем и почему именно не согласны. Все рождало споры: причины изменения климата и сам факт его изменения, размер дефицита бюджета и виновники этого дефицита.

Я не видел в этом ничего особенно удивительного. Из своего далека я уже давно замечал повышение градуса вашингтонских политических сражений: «Иран контрас» и Оливер Норт, неудавшееся выдвижение судьи Борка и Уильям Хортон, Кларенс Томас и Анита Хилл, избрание Клинтона и революция Гингрича, скандал «Уайтвотер» и расследование Старра, отставка правительства и импичмент, дело Буша против Гора. Мы все были свидетелями того, как метастазы скандалов расползаются по телу нашего государства и как безжалостная индустрия взаимных оскорблений — отлаженная и, очевидно, выгодная — заполонила кабельное телевидение, радиосети и даже список бестселлеров «Нью-Йорк таймс».

За восемь лет работы в Законодательном собрании Иллинойса я до некоторой степени уяснил себе, с чего начались все эти политические игры. Когда в 1997 году я переехал в Спрингфилд, республиканское большинство в Сенате штата Иллинойс уже давно действовало по тем же правилам, которыми спикер Гингрич воспользовался для получения полного контроля над Палатой представителей Конгресса США. Не имея возможности обсудить — не говорю уже провести — самую незначительную поправку, демократы начинали кричать, гневаться и в конце концов беспомощно отступали, а республиканцы, наоборот, методично принимали законы о крупных льготах по корпоративным налогам и умудрялись увязывать их с трудовым законодательством или системой социального обеспечения. Со временем эта безудержная ярость начала бушевать и на закрытых совещаниях демократов, мои коллеги начали брать на карандаш каждое неуважительное или даже непечатное слово, изрыгаемое «Великой старой партией». Через шесть лет, когда к власти пришли демократы, республиканцы отплатили им той же монетой. Наши ветераны с ностальгией вспоминали времена, когда республиканцы и демократы встречались на мирном ужине и находили компромиссы за бифштексом и хорошей сигарой. Но и эти политические старожилы стремительно капитулировали, когда противники стали поливать их грязью, обвиняя в должностных преступлениях, коррупции, некомпетентности и моральном разложении — словом, во всех смертных грехах.

Я тоже не избежал общей участи. Политическая борьба представлялась мне своего рода контактным видом спорта, и я не боялся ни острых локтей, ни ударов исподтишка. Но мой округ, который стоял за демократов стеной, избавил меня от самых хулиганских нападок республиканцев. Бывало, вместе с самыми консервативными моими коллегами мы трудились над каким-нибудь законом, а за покером или кружкой пива соглашались, что общего у нас вообще-то гораздо больше, чем мы признаем на публике. Вот почему, работая в Спрингфилде, я пришел к убеждению, что методы политической борьбы могут быть самыми разными и что вкусы избирателей сильно изменились: всех уже просто тошнило от извращения фактов, разоблачений и подозрительно легких решений сложных вопросов; что, если я хочу достучаться до избирателей, мне нужно четко излагать свои взгляды, как можно искреннее объяснять, почему я считаю именно так, а не иначе, и тогда чутье на честность и здравый смысл привлечет их на мою сторону. Я думал, что если найдется достаточно политиков, готовых пойти на такой риск, то не только наша политическая тактика, но и стратегия, бесспорно, изменятся к лучшему.

С таким настроем я и начал кампанию 2004 года по выборам в Сенат. В той кампании я старался говорить именно то, что думаю, излагать свои взгляды предельно ясно и говорить по существу. Когда я выиграл сначала предварительные, а потом и всеобщие выборы, оба раза со значительным отрывом, то был почти уверен, что оказался прав.

Во всем этом великолепии оказался лишь один изъян: моя кампания проходила гладко, что называется, без сучка без задоринки, и казалось, что мне просто необыкновенно везет. Политические обозреватели замечали, что все мы, семеро кандидатов от Демократической партии, которые пошли на предварительные выборы, не исполь зовали в своих рекламных телероликах никакого негатива. Самый богатый из всех — бывший оптовый торговец с

состоянием не меньше трехсот миллионов долларов — не пожалел на позитивные ролики двадцати восьми миллионов из собственного кармана, но выбыл из гонки уже на финишной прямой, потому что пресса раскопала подробности его бракоразводного процесса. Мой оппонент-республиканец, красавец, некогда состоятельный партнер «Голдман Сакс», а теперь учитель из бедного района города, начал критиковать мою биографию чуть ли не с самого начала кампании, но, не успев как следует раскрутиться, пал жертвой собственного скандального развода. Я не ругал своих противников. Почти месяц я ездил по Иллинойсу, а потом меня выбрали для произнесения программной речи на национальном съезде Демократической партии и предоставили целых семнадцать минут прямого эфира без всякой рекламы и правки. Наконец, по какой-то непонятной причине республиканцы выставили против меня Алана Киза, бывшего кандидата в президенты; в Иллинойсе он никогда не жил, а его жесткие и несгибаемые взгляды пугали даже самых консервативных республиканцев.

Потом нашлись репортеры, которые назвали меня самым везучим политиком во всех пятидесяти штатах. Многие мои сотрудники были возмущены этой оценкой, полагая, что она перечеркнула весь наш титанический труд и свела на нет смысл нашей деятельности. Но нельзя совсем уж отрицать некоторую долю удачи. Я ведь пришел со стороны, чуть ли не с улицы; опытным политикам моя победа еще ничего не доказывала.

Понятно, что, оказавшись в январе в Вашингтоне, я напоминал себе новичка, который ни с того ни с сего появляется в новой, с иголочки форме, после того как игра закончилась, и рвется в бой, когда его усталые, измотанные товарищи по команде уже залечивают свои раны. Я раздавал интервью, позировал фотографам, бурлил благородными идеями насчет преодоления раскола и всеобщего умиротворения, а в это время демократов били по всем фронтам — в президентской кампании, Сенате, Палате представителей. Мои новые коллеги-демократы встретили меня буквально с распростертыми объятиями; мою победу называли не иначе как лучом света. Но в коридорах или в перерывах между заседаниями меня уводили в сторону и заводили разговор о том, какими стали нынешние сенатские кампании.

Мне рассказывали о бывшем лидере демократического меньшинства, Томе Дэшле из Южной Дакоты, на голову которого обрушился грязный поток многомиллионной антирекламы: день за днем газеты и телевидение трубили о том, что он выступал за разрешение абортов и не имел ничего против мужчин в свадебных платьях; доходили до прямых обвинений в жестоком обращении с женой, хотя она специально приехала из Южной Дакоты, чтобы помочь ему переизбраться. Вспоминали и о Максе Клиланде, бывшем кандидате от Джорджии, ветеране войны с ампутированными ногами и рукой, который проиграл в предыдущей кампании из-за обвинений в недостаточном патриотизме и сочувствии Осаме бин Ладену. Остается лишь сетовать по поводу того, что несколько вовремя вброшенных материалов и назойливый припев консервативных средств массовой информации могут сделать из заслуженного ветерана вьетнамской войны малодушную, безвольную марионетку от политики.

Само собой, и среди республиканцев были такие же пострадавшие. Мне казалось, что передовые статьи газет, которые вышли в первую неделю сессии, были во многом справедливы; мне казалось, что настало время забыть о выборных баталиях и взаимной неприязни, сложить оружие и хотя бы год-два вплотную заниматься управлением страной. Возможно, мы смогли бы это сделать, если бы выборы не были так близки, или если бы затихла война в Ираке, или если бы всякого рода энтузиасты, высоко-лобые политики и разные средства массовой информации не трубили о победе, больше мешая, чем помогая. Возможно, другой состав обитателей Белого дома, не столь обуреваемый страстью к вечной борьбе, сумел бы мирно договориться, потому что для такого Белого дома победа пятьюдесятью одним голосом против сорока восьми стала бы сигналом к успокоению и поиску компромисса, а не поводом к самодовольной твердолобости.

Но условий для такого рода перемирия в 2005 году не сложилось. Никто и не заикался ни о взаимных уступках, ни о жестах доброй воли. Через два дня после выборов президент Буш выступил по телевидению с заявлением о том, как намеревается использовать имеющийся у него политический капитал. В тот же день активист консерваторов Гровер Норквист, отбросив всякую дипломатию, высказался о ситуации в лагере демократов в таком духе: «Любой фермер знает, что скотина бывает разная, — есть такие, которые не успокоятся, пока их не привяжешь». Через два дня после моей присяги член Конгресса Стефани Таббз Джонс из Кливленда выступила в Палате представителей и оспорила результаты выборов в Огайо, зачитав внушительный список нарушений процедуры голосования, которые были зафиксированы там в день выборов. Рядовые республиканцы сердито хмурились и перешептывались («Недоумки чертовы», — долетел до меня тихий голос), но спикер Хастерт и лидер большинства Делей с невозмутимыми лицами взирали на всех с высоты своих мест, прекрасно понимая, что в их руках и голоса, и молоток. Сенатор Барбара Боксер из Калифорнии согласилась подписать протест, и, когда мы вернулись в зал заседаний Сената, я был первым из семидесяти трех или семидесяти четырех голосовавших в тот день, когда Джорджа Буша избрали президентом США на второй срок.

После того голосования на меня обрушился шквал сердитых телефонных звонков и гневных писем. Я звонил своим разгневанным товарищам по партии и разъяснял, что знал о положении в Огайо, говорил, что рас следование все выяснит, но все же, мол, по моему мнению, выборы выиграл Джордж Буш и вряд ли я мог продаться или спеться с кем бы то ни было после каких-то двух дней на новом посту. Примерно тогда же я случайно встретился с бывшим сенатором Зеллом Миллером, поджарым, с пристальным взглядом демократом от штата Джорджия, членом правления Национальной стрелковой ассоциации, который разочаровался в Демократической партии, поддержал Джорджа Буша и произнес гневную программную речь на партийном съезде республиканцев, в которой беспощадно обрушился на вероломного Джона Керри и фактически проваленную им систему национальной безопасности. Мы немного поговорили, вернее, перебросились несколькими фразами, полными невысказанной иронии, — и действительно, уходил пожилой южанин, приходил молодой черный северянин, и это не ускользнуло от внимания прессы, когда мы произносили свои речи на съездах партий. Сенатор Миллер искренне поздравил меня и пожелал всяческих удач на новом месте. Потом, в своей книге «Дефицит порядочности», он назвал мою речь на том съезде одной из лучших, которые ему довелось слышать на своем веку, добавив, правда, — писал он это, как я думаю, с хитрой улыбкой — что победе на выборах такая речь вряд ли

помогла бы.

Проще говоря, мой человек проиграл, а человек Зел-ла Миллера, наоборот, победил. Такая вот жесткая, холодная политическая правда. Все остальное лишь сантименты.

Моя жена подтвердит, что бурные эмоции я проявляю не так уж часто. Когда я вижу, как Энн Коултер или Шон Ханнити мечут с экрана телевизора громы и молнии, мне как-то трудно воспринимать их всерьез; полагаю, что они вынуждены поступать так для повышения рейтингов или для увеличения продаж книг, хотя и не представляю себе желающих провести вечер в ком пании таких мрачных типов. Когда на каком-нибудь собрании ко мне пристают демократы и начинают талдычить, что мы живем в жуткие времена, что ползучий фашизм уже затягивает удавку у нас на горле, мне есть что ответить своим собеседникам — это и интернирование американцев японского происхождения при Франклине Делано Рузвельте, и законы об иностранцах и подстрекательстве к мятежу, принятые при Джоне Адамсе, и сто лет линчевания при добром десятке администраций. Все это было, пожалуй, похуже, говорю я, так что нам не о чем особо волноваться. Когда на официальных обедах меня спрашивают, как я работаю в нынешней политической обстановке, среди всех этих клеветнических кампаний и личных нападок, я вспоминаю Нельсона Манделу, Александра Солженицына, да хотя бы любого узника китайской или египетской тюрьмы. В общем-то, когда тебя обзывают, это не так уж и плохо.

Но, конечно, я вовсе не такой уж толстокожий. Как большинство американцев, я не могу отделаться от чувства, что сегодня наша демократия сильно извращена.

Я не имею в виду, что между исповедуемыми нами идеалами и повседневностью образовалась непреодолимая пропасть. Эта пропасть существовала всегда, чуть ли не с рождения Америки. Чтобы сблизить чаяния и реальную жизнь, полыхали войны, принимались законы, проводились реформы, создавались союзы и высказывались протесты.

Самое опасное — это разрыв между грандиозными задачами и мышиной возней нашей политической жизни, та легкость, с которой нас увлекает повседневная суета, обыденность, хроническая боязнь жестких решений, наша мнимая неспособность к согласию во имя решения любой серьезной проблемы.

Все мы знаем, что общемировая конкуренция, не говоря уж о подлинной приверженности убеждению о равных возможностях и все возрастающей мобильности общества, требует от нас коренным образом изменить всю систему образования сверху донизу, значительно обновить педагогические кадры, обратить большее внимание на преподавание точных и естественных наук, решительно бороться с детской неграмотностью в бедных районах. Но споры обо всем этом не приводят ни к чему, потому что сторонники решительных перемен и приверженцы нынешнего положения дел, те, которые утверждают, что деньги в образовании не играют никакой роли, и те, кто призывает к большим финансовым вливаниям и при этом не спешит гарантировать их использование по назначению, — так вот, все мы никак не можем договориться друг с другом.

Нет нужды повторять, насколько неэффективно наше здравоохранение — безумно дорогая, совершенно беспомощная и абсолютно неприспособленная к сегодняшней экономике, давно уже отказавшейся от пожизненного найма система, буквально загоняющая честных американских тружеников в полосу хронической неуверенности и невосполнимого ущерба здоровью. Но год идет за годом, все идеологические брожения и политическая болтология так ничем и не оканчиваются, за исключением 2003 года, когда мы получили рецепт на лекарства, в котором соединились самые серьезные недостатки государственного и частного секторов, — бешеные цены и бюрократическая бестолковщина, отсутствие сколько-нибудь реального обеспечения и астрономические счета для налогоплательщиков.

Мы знаем, что борьба с международным терроризмом подразумевает как вооруженный отпор, так и борьбу идей, что наша безопасность в перспективе должна обеспечиваться надежной юридической базой применения военной силы и тесным сотрудничеством с другими государствами и что обращение к проблемам мировой бедности и помощь отсталым странам, бесспорно, находятся в сфере наших государственных интересов, а не только являются благотворительной деятельностью. Но послушайте наши споры по вопросам внешней политики, и вам покажется, что здесь у нас только два пути — военная агрессия или изоляция.

В вере мы находим источник утешения и понимания, но даже здесь мы не обнаруживаем полного единства; мы считаем себя образцом толерантности, а между тем нас сотрясают расовые, религиозные и культурные катаклизмы. И вместо того чтобы разрешать и улаживать все разногласия, наша политическая линия разжигает их, растравляет и тем самым разводит нас в противоположные стороны.

В частных беседах многие из нас, государственных чиновников, охотно признают, что между реальной и, так сказать, идеальной политикой существует огромная разница. Понятно, демократы вовсе не рады сложившемуся положению, потому что, по крайней мере сейчас, они оказались в проигрыше — их буквально задавили республиканцы, которые по принципу «победитель получает все» контролируют все ветви власти и даже не думают ни о каких компромиссах. Но самые дальновидные республиканцы, в общем-то, радоваться не должны, потому что если бы демократы напряглись хоть немного и победили, то, похоже, республиканцам, выигравшим выборы с лозунгами, противоречащими реальности (снижение налогов без сокращения услуг, приватизация социального обеспечения без реформы системы страховых пособий, война без жертв), об управлении пришлось бы забыть.

И несмотря на все это, ни в одном, ни в другом стане нет ни малейших признаков вдумчивого анализа, глубоких размышлений или хотя бы признания мало-мальской ответственности за сложившееся тупиковое положение. Не слышно никакой критики и не замечено никаких обвинений не только в политических кампаниях, но и в редакционных* статьях, в книгах на магазинных полках и даже в новом пока что мире блоггеров. В зависимости от точки зрения, наше сегодняшнее положение можно считать естественным результатом деятельности радикальных консерваторов или несговорчивых либералов, Тома Делея или Нэнси Пелоси, большой нефти или мздоимцев адвокатов, религиозных фанатиков или активистов гей-движения, канала «Фокс ньюс» или «Нью-Йорк таймс». Увлекательность рассказов, убедительность аргументов и точность доказательств будут разниться от автора к автору, и, не скрою, мои симпатии будут на стороне демократов, и я считаю, что аргументы

либералов гораздо более обоснованы разумными доводами и фактами. В самых общих чертах, однако, доводы левых и правых стали теперь зеркальными отражениями друг друга. Тут вы найдете и рассуждения о теории заговора, и страшилки о том, что вся Америка угодила в лапы политических интриганов. Как в любых хорошо обоснованных теориях, правды в них ровно столько, чтобы удовлетворить людей, готовых поверить, а все очевидные противоречия старательно замалчиваются, чтобы ни у кого не возникало ни малейших сомнений. Цель всего этого не переубедить противника, а поддерживать высокий накал убежденности у своих же, а вдобавок привлекать все новых и новых сторонников, чтобы повергнуть оппонента в прах.

Конечно, миллионы американцев, занятых своими обычными, повседневными делами, расскажут вам совершенно другое. Они много работают или ищут работу, начинают новое дело, помогают детям готовить уроки, платят по огромным счетам за газ и по медицинской страховке, разбираются с пенсией, которую опротестовал какой-нибудь суд по делам о банкротстве. В жизни у них надежда перемежается тревогой за будущее. Противоречий и неясностей хватает. Политика кажется бесконечно далекой от этой повседневности — то есть они понимают, что политика сегодня стала бизнесом, а вовсе не миссией, и все дебаты вокруг законопроектов разыгрываются наподобие спектакля, — вот люди и отворачиваются, чтобы не слушать шума, споров и бесконечной болтовни.

Правительство, которое действительно представляет этих американцев и которое служит этим американцам, должно будет проводить совершенно иную политику. Такая политика предстанет истинным зеркалом настоящей жизни каждого из нас. Она, конечно, не даст ответов на все вопросы, не станет готовым к употреблению продуктом. Ее надо будет создавать из наших лучших традиций, не забывая при этом о том плохом, что было в нашем прошлом. Нам предстоит понять, как же мы оказались на поле битвы, где сталкиваются недружественные фракции и вражеские племена. И еще — нам все время надо будет напоминать самим себе, что, несмотря на все различия, у нас много общего: надежды, мечты, связь, которая никогда не разорвется.

Почти сразу по приезде в Вашингтон мне бросились в глаза теплые, если не сказать, сердечные отношения, которые объединяли старшее поколение Сената: Джон Уорнер и Роберт Берд беседовали подчеркнуто любезно, а республиканец Тед Стивене и демократ Дэниел Инуэ вообще были закадычными друзьями. Все видели в них последних представителей вымершей сейчас породы, которая искренне любила работу в Сенате и не придерживалась линии на политический раскол. На самом деле и консервативные, и либеральные обозреватели сходятся в одном — то было золотое время Вашингтона, когда, независимо от того, какая из партий находилась у власти, простая вежливость считалась незыблемым правилом и правительство по-настоящему работало.

Как-то на вечернем приеме я разговорился с долгожителем Вашингтона, который отдал Капитолию почти полвека. Я спросил, чем, на его взгляд, отличается то-гашняя и теперешняя атмосфера.

— Поколение другое, — не раздумывая ответил он. — Тогда любой, кто добился какой-то власти в Вашингтоне, пришел с войны. По каждому вопросу мы спорили, как ненормальные. Все мы были разные — из разных городов, разных семей, с разными политическими взглядами. Но война как-то соединила всех, и этот общий жизненный опыт заставлял нас доверять друг другу и уважать чужое мнение. Нам это здорово помогало решать проблемы и работать дальше.

Я слушал, как он говорит о Дуайте Эйзенхауэре и Сэме Рейберне, Дине Ачесоне и Эверетте Дирксене, и меня просто захватывала эта уже подернутая дымкой времени картина, когда еще не было круглосуточных выпусков новостей и бесконечных благотворительных сборов, когда серьезные люди делали серьезную работу. Я говорил себе, что его воспоминания о прошлом отличаются некоторой избирательностью: он, например, ни словом не обмолвился о том партийном съезде южан, на котором удалось отозвать проект законодательства о гражданских правах с заседания Сената, о мрачных временах маккартизма, об ужасающей бедности, проблему которой Бобби Кеннеди поднял незадолго до своей смерти, об отсутствии женщин и меньшинств в коридорах власти.

Я понял и еще одно: стечение удивительных обстоятельств лишний раз подтверждало стабильность того правительства, в котором он работал; тот кабинет объединяло не только общее военное прошлое, но еще и редкостное единодушие перед лицом холодной войны и советской угрозы и, скорее всего, безраздельное господство американской экономики в пятидесятые и шестидесятые годы, когда Европа и Япония с трудом оправлялись от послевоенного кризиса.

Неоспорим тот факт, что после Второй мировой войны американская политическая жизнь отличалась гораздо меньшей идеологизированностью, а значит, понятие партийного единства было гораздо более размыто, чем в наши дни. Демократическая коалиция, под контролем которой почти все эти годы находился Конгресс, представляла собой сплав либералов-северян наподобие Хьюберта Хамфри, консервативных демократов с юга вроде Джеймса Истланда и их многочисленных сторонников самых разных политических взглядов, которых вознесла наверх машина большой политики. Эта коалиция была спаяна экономическим популизмом «Нового курса» — концепциями справедливой заработной платы и пенсий, попечительства и общественных работ, все повышающегося уровня жизни. Кроме этого, партия придерживалась известного правила «живи и давай жить другим»: это правило восходило ко временам уступок и активной поддержки расового угнетения на Юге; оно возникло в рамках более широкого взгляда на культуру, когда нормы поведения в обществе — скажем, природа сексуальности или роль женщин — редко подлежали обсуждению; в той культуре еще даже не было самих этих неудобных слов, не говоря уже о политических спорах вокруг таких вопросов.

Все пятидесятые и первую половину шестидесятых годов «Великая старая партия», республиканцы, также отнюдь не были чужды всякого рода разногласий по принципиальным вопросам — между западным свободомыслием Барри Голдуотера и восточным патернализмом Нельсона Рокфеллера, между сторонниками политической линии Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта, то есть активной позиции федерального правительства, и теми, кто придерживался консервативных взглядов Эдмунда Берка, приверженца традиций, а не всякого рода социальных экспериментов. Эти полярные общественные темпераменты расходились буквально по всем вопросам — гражданским правам, федеральному законодательству и даже налогам. Но, как и демократов,

«Великую старую партию» объединяли в основном экономические интересы, концепция свободного рынка и налогового сдерживания, которая устраивала всех ее членов, от владельца магазина на главной улице какого-нибудь городка до менеджера загородного клуба. (В пятидесятые годы республиканцы испытывали еще и острый приступ антикоммунизма, но, как доказала деятельность Джона Ф. Кеннеди, когда начались выборы, демократы просто рвались сравнять с ними в этом счет, а если можно, даже и обыграть.)

Все эти политические хитросплетения закончились уже в шестидесятые годы, и причины этого давно и хорошо известны. Во-первых, началось движение за гражданские права, и оно сразу основательно поколебало сложившуюся структуру общества и заставило американцев сделать выбор. В конце концов Линдон Джонсон занял в этой битве правильные позиции, но, будучи уроженцем Юга, яснее большинства осознавал цену этого выбора: подписав закон «О гражданских правах» 1964 года, он сказал своему помощнику Биллу Мойерсу, что одним росчерком пера на ближайшее будущее передал весь Юг «Великой старой партии».

Потом начались студенческие выступления против войны во Вьетнаме, заговорили, что Америка права далеко не всегда, и действия наши оправданны тоже далеко не всегда, и что молодое поколение ничем не обязано старшему и не собирается жить под его диктовку.

А потом, когда статус-кво окончательно рухнул, на сцену хлынули самые разные действующие лица: феминистки, латиноамериканцы, хиппи, «Пантеры», одинокие матери, геи, и все разом заговорили о своих правах, все громко начали требовать признания, всем захотелось вкусно есть и сладко пить.

Все это утихомирилось только через несколько лет. Стратегия Никсона в отношении Юга, вызывающее игнорирование перевозки детей на школьных автобусах по приказу суда и обращение к молчаливому большинству немедленно принесли ему высочайшие дивиденды среди избирателей. Но концепция его правления так и не оформилась в четкую идеологию — ведь именно Никсон, если уж на то пошло, стал инициатором первых федеральных программ компенсирующих действий и законодательно санкционировал создание Управления по охране окружающей среды и Управления охраны труда. Джимми Картер доказал возможность соединения поддержки гражданских прав с традиционно консервативной демократической программой; и, несмотря на понижение статуса, большинство южан-демократов, которые предпочли остаться в партии, сохранили свои места и помогли демократам сохранить контроль по крайней мере в Палате представителей.

Но тектонические плиты уже пришли в движение. Политика стала предметом морали, а не просто злобой дня, ее начали рассматривать в категориях моральных императивов и абсолютов. А еще политика стала гораздо более личной, стала вмешиваться буквально во все отношения — между черными и белыми, мужчинами и женщинами — и начала играть решающую роль в утверждении и свержении авторитетов.

Естественно, либерализм и консерватизм в массовом сознании разделились не столько по взглядам, сколько по позиции относительно к традиционной культуры и контркультуры. Теперь стали важными не только ваши взгляды насчет права на забастовку или корпоративного налогообложения, но и ваши мысли относительно секса, наркотиков, рок-н-ролла, католической мессы и протестантского канона. Этот новый либерализм оказался не слишком по вкусу белым избирателям на Севере, да, в общем, и на Юге тоже. Насилие на улицах и снисходительное отношение к нему в интеллектуальных кругах, черные соседи и белые дети, которых автобус везет в школу, сожжение флагов, плевки в ветеранов — все это оскорбляло и принижало, если совсем не уничтожало, самые дорогие ценности: семью, веру, флаг, окружение и, пусть для некоторых, привилегии белых. В разгар этого сумасшествия, среди громких политических убийств, полыхающих городов, вьетнамской катастрофы, за экономическим ростом последовали бензиновый кризис, инфляция и закрытие заводов, и Джимми Картер смог предложить лишь подкрутить термостат, сбавить пар. Как раз когда группа иранских радикалов добавила головной боли членам ОПЕК, большинство членов коалиции «Нового курса» занялись поисками другого политического дома.

К шестидесятым годам у меня всегда было сложное отношение. В некотором смысле я самый настоящий продукт того времени: родившись в смешанном браке, я прожил бы совсем другую жизнь и передо мной не открылась бы ни одна дверь, если бы не тогдашние общественные перемены. Но я был слишком молод, чтобы осмыслить саму суть этих перемен, да и жил слишком далеко — то на Гавайях, то в Индонезии, — чтобы стать свидетелем падения духа Америки. Многое в моем восприятии шестидесятых шло от взглядов моей мамы, которая до конца своих дней гордо причисляла себя к закоренелым либералам. В особенности ее уверенность подкрепляло движение за гражданские права; при первой же возможности она буквально впихивала в меня его ценности: терпимость, равенство, защиту обездоленных.

Во многом, однако, воззрения моей матери были сильно ограничены, как расстоянием (в 1960 году она уехала из Штатов на Гавайи), так и ее неисправимым прекраснодушным романтизмом. Разумом, возможно, она и старалась принять лозунг «Власть черным», деятельность «Студентов за демократическое общество» или хотя бы тех своих подруг, которые ни с того ни с сего перестали брить ноги, но в ней не было главного — сердитого духа противоречия. Что же касается чувств, ее либерализм так и остался где-то перед 1967 годом, во временах первых космических программ, создания Корпуса мира, «рейсов свободы», Махалии Джексон и Джоан Баэз.

Только когда я стал старше, то есть в семидесятые годы, я смог понять, что людям, которых бурные события шестидесятых затронули сильнее, тогда казалось, наверное, что все пошло вразнос. Отчасти я понял это благодаря ворчанию своих бабушки и дедушки по матери, демократов со стажем, которые признались, что в 1968 году голосовали за Никсона; в глазах мамы это было сущим предательством, и она не сумела их простить. Во многом мое видение шестидесятых годов сформировали мои же собственные поиски, потому что юношеский бунт требовал хоть какого-то обоснования политических и культурных перемен, которые к тому времени почти сошли на нет. Подростком меня захватил диони-сийский, безбашенный дух того времени, и по книгам, фильмам и музыке я представлял себе шестидесятые совсем не такими, как о них рассказывала мама: Хью Ньютон, партийный съезд демократов 1968 года, эвакуация из Сайгона, концерт «Роллинг стоунз» в Альтамонте. Если бы у меня не было личных поводов поднимать бунт, то, скорее всего, по своему настрою и образу мыслей и я примкнул бы к бунтарям, которые решительно отметали благоприобретенную мудрость людей за тридцать.

Со временем мое неприятие авторитетов вылилось в потакание собственным слабостям и саморазрушение, и, когда пришло время поступать в колледж, я начал понимать, что любой вызов общепринятому таит в себе опасность впасть в противоположную жесткую крайность. Я пересмотрел свои открытия и вспомнил о ценностях, которым учили меня мама и дедушка с бабушкой. Во время этой медленной, часто непоследовательной переоценки ценностей я начал отмечать про себя моменты, когда в разговорах с друзьями в спальне колледжа каждый переставал вдруг логически мыслить и начинал орать, с необыкновенной легкостью развенчивая ужасы американского капитализма, восхваляя прелести отказа от рамок моногамии и религии и не понимая до конца, что на самом деле эти рамки просто жизненно необходимы, слишком поспешно входя в роль жертвы, дабы уйти от ответственности или проповедовать моральное превосходство над теми, кто страдал комплексом жертвы в меньшей степени.

Все это объясняет, почему, хотя победа Рональда Рейгана в 1980 году меня сильно обеспокоила, хотя его поза Джона Уэйна из фильма «Отец знает лучше» казалась наигранной, неуклюжая политическая стратегия — смехотворной, а нападки на бедных — ничем не оправданными, я все-таки понимал секрет его обаяния. Оно было той же природы, что и обаяние военных баз на Гавайях, которое по молодости неодолимо притягивало меня, — чистые улицы, отлично смазанные машины, форма с иголочки, оглушительные салюты... Это обаяние было сродни удовольствию, которое я до сих пор испытываю, когда смотрю матч хорошо сыгранной бейсбольной команды, а моя жена — когда в очередной раз пересматривает «Шоу Дика Ван Дайка». Рейган сыграл на страстном желании порядка, на нашей потребности считать себя не просто игрушкой в руках непонятных слепых сил, а людьми, способными формулировать личные и общественные ценности, открывая для себя заново трудолюбие, патриотизм, личную ответственность, оптимизм, веру.

Голос Рейгана был услышан благодарной аудиторией не только потому, что он, несомненно, был мастером общения высокого класса; он привлек внимание к промахам правительства либералов, совершенным во время экономического застоя, и создал у избирателей из среднего класса ощущение, что борется за них. Ведь не секрет, что правительство на всех уровнях слишком уж вольготно обращалось с деньгами налогоплательщиков. Не раз забывчивость бюрократов оборачивалась для них потерей мандатов. Либеральная риторика возносила права неизмеримо высоко над обязанностями и ответственностью. Может, Рейган слегка и переборщил с осуждением грехов «государства всеобщего благосостояния», и, бесспорно, либералы совершенно правильно осуждали перекос его внутренней политики в сторону экономических элит, когда в восьмидесятые годы рейдеры корпораций сколачивали более чем приличные состояния, а профсоюзы не могли ничего сделать и средний доход стремился к нулю.

Вопреки всему этому своими обещаниями поддержать настоящих тружеников — законопослушных, чадолюбивых, патриотически настроенных — Рейган подарил американцам ощущение общей цели, о котором либералы к тому времени основательно подзабыли. И чем больше шумели его критики, тем лучше они играли ту роль, которую он им отвел, — оторванной от жизни, приверженной правилу «облагай налогом и трать», во всем обвиняющей Америку политкорректной элиты.

Примечательным мне представляется не столько то, что политическая формула, выработанная Рейганом, тогда сработала, сколько то, что легенда, которую он так активно поддерживал, оказалось удивительно живучей. Несмотря на сорокалетнюю дистанцию, бунт шестидесятых годов и последовавшая за ним реакция до сих пор движут нашими политическими рассуждениями. Это лишь подчеркивает, насколько серьезными конфликты тех лет представляются людям, совершеннолетие которых пришлось на то время, и ту особенность, что тогдашние политические споры осознавались скорее не как политические схватки, а как индивидуальный выбор, во многом определяющий личность человека и его моральный статус.

Мне кажется, это еще и признак того, что злободневные проблемы шестидесятых годов так и не удалось разрешить полностью. Может быть, неистовство контркультуры и выродилось скорее в жажду потребления, какой-то другой образ жизни и новые музыкальные вкусы, чем в стройные политические взгляды, однако проблемы межрасовых трений, войны, бедности, отношений между полами так и остались на повестке дня.

Но, может быть, все дело просто в многочисленности поколения «бума рождаемости», в той демографической силе, которая в политике, как и в других областях жизни, создает мощнейшее магнитной поле — начиная от рынка «Виагры» и заканчивая количеством чашкодержателей, которыми производители оборудуют свои машины.

Как бы там ни было, после Рейгана граница между республиканцами и демократами, либералами и консерваторами гораздо больше стала определяться понятиями из области идеологии. Это имело смысл, скажем, в таких больных вопросах, как компенсационная дискриминация, преступность, пособия, проблемы абортов и молитвы в школе, в спорах о которых до сих пор ломается немало копий. Но что касается других задач — больших или малых, внутри- и внешнеполитических, — тут вся палитра ответов была сведена к куцым «да или нет», «или — или», «наш — не наш». Экономическая стратегия перестала быть предметом обстоятельных переговоров между вечными соперниками — производителем и потребителем, между, так сказать, поваром и едоком. Меню предлагало лишь два блюда — снижение налогов или, наоборот, их взвинчивание, правительство побольше или же поменьше. В области экологии равновесие между сохранением наших природных богатств и требованиями современного производства больше никого не заботило; надо было лишь поддержать неконтролируемое бурение, геологоразведку, открытые горные разработки или же примкнуть к сторонникам жесткой бюрократии, с корнем вырывавшей ростки нового. Если не в большой политике, то в повседневной политической жизни простота стала считаться неоспоримой добродетелью.

Подозреваю, что даже те лидеры республиканцев, что последовательно поддерживали Рейгана, не очень-то радовались направлению, которое приобрела политика в его время. Из уст Джорджа Буша-старшего или Боба Доула громогласные заявления о полярном мире и политике неприятия всегда звучали вымученно и походили скорее на попытки отобрать голоса у демократов, чем на продуманные предложения об управлении государством.

Но для молодого поколения политиков-консерваторов, которому предстояло еще подняться к вершинам

власти, — Ньюта Гингрича, Карла Роува, Гровера Нор-квиста и Ральфа Рида — эта громокипящая риторика *стала* не просто средством предвыборной кампании. Они искренне верили в нее, когда провозглашали «Нет новым налогам» или «Мы — христианская нация». Их негибкие доктрины, радикальные меры, вечная готовность обижаться по любому поводу делали новых вождей консерваторов очень похожими на лидеров «новых левых» в шестидесятые годы. Так же как их политические противники левого крыла, новый авангард правых видел в политической борьбе не просто состязание разных политических концепций, но прямо-таки схватку между добром и злом. Активисты обеих партий занялись разработкой безошибочных тестов, проверок на лояльность, когда любой демократ, который позволял себе усомниться в разрешении абортов, немедленно оказывался в полной изоляции, а любой республиканец, высказавшийся за контроль над ношением оружия, тут же становился политическим изгоем. В этих иезуитских хитросплетениях компромисс начал казаться признаком слабости, за которым следовало неизбежное наказание. Кто не с нами, тот против нас. Третьего не дано.

Личная заслуга Билла Клинтона состояла в том, что он попробовал найти выход из этого идеологического тупика, не только признав, что ярлыки «консерватор» и «демократ» играли на руку республиканцам, но и согласившись, что двух этих категорий не хватит для решения наших проблем. Демократы рейгановских времен могли казаться неуклюжими, открытыми или пугающе хладнокровными (вспомните смертную казнь умственно отсталого накануне важного этапа предварительных выборов). В первые два года президентства Клинтона вынудили отказаться от некоторых основных положений его политической платформы — общенациональной программы здравоохранения, огромных вложений в школьное и профессиональное образование; эти положения могли бы решительным образом разрушить те долгосрочные тенденции, которые ослабляли позиции работающих семей в новой экономической обстановке.

Каким-то чутьем Клинтон понял всю ложь обещаний, в изобилии раздаваемых народу Америки. Он заметил, что государственный контроль над доходами и расходами может, при надлежащей его организации, стать двигателем, а не тормозом экономического роста, и что рынки и фискальная дисциплина способствуют торжеству социальной справедливости. Он согласился, что за борьбу с бедностью отвечает не только все общество, но и каждый человек в отдельности. Пусть не в каждодневной деятельности, но в своей политической платформе «третий путь» Клинтона сумел преодолеть расхождения. Он сделал упор на прагматичный, далекий от всяческой идеологии настрой большинства американцев.

И в самом деле, к концу срока политические программы Клинтона, бесспорно прогрессивные, хоть и умеренные по своим целям, получили поддержку широкой общественности. В политике он заставил демократов прибегнуть к некоторым излишествам, из-за которых они и проиграли выборы. Несмотря на бурный экономический рост, он не сумел превратить популярные политические лозунги в нечто похожее на работоспособную правящую коалицию, и это косвенно подтвердил демографический кризис на традиционно демократических территориях (в частности, сдвиг центра рождаемости на крепнущий американский Юг), а также структурные преимущества, которые республиканцы получили в Сенате, когда голоса двух республиканцев из Вайоминга, где живут 493 782 человека, приравнивались к голосам двух демократов из Калифорнии с населением 33 871 648 человек.

Провал, помимо всего прочего, стал испытанием для Гингрича, Роува, Норквиста и им подобных, тестом на способность к объединению и организации консервативного движения. Они сумели привлечь практически неограниченные средства крупных корпораций и состоятельных людей и создали целую сеть из мозговых трестов и средств массовой информации. Они поставили новейшие достижения технологии на службу своим интересам и захватили власть в Палате представителей для усиления партийной дисциплины.

Они вовремя поняли опасность, которой стал Клинтон для их представления о долгосрочном консервативном большинстве, и это объясняет, почему они так рьяно накинулись на него. Это объясняет также и безжалостные нападки на моральный облик Клинтона, потому что если его политическую линию трудно было назвать радикальной, то уж жизнь (тут и эпопея с черновиком письма, и баловство с марихуаной, и интеллектуализм «Лиги плюща», и работающая жена, которая не умела печь пирожки, а самое главное — секс) в изобилии предоставила материал для консерваторов. При помощи достаточного количества повторений, вольного обращения с фактами, неоспоримых свидетельств личных ошибок из Клинтона сделали олицетворение тех самых черт либерализма шестидесятых годов, которые подхлестнули консервативное движение. И пусть Клинтону удалось свести битву с этим движением к ничьей, но консерваторы стали от этого только сильнее — и на первом сроке президентства Джорджа Буша-младшего это движение стало преобладать в правительстве Соединенных Штатов.

Я прекрасно понимаю, что слишком обще изложил эту историю. Я не упомянул важнейших событий того времени — например, падение производства и массовые увольнения авиадиспетчеров при Рейгане смертельно ранили американское профсоюзное движение; принцип «большинства-меньшинства» при создании на Юге избирательных округов по выборам в Конгресс увеличил количество чернокожих представителей и уменьшил представительство демократов в том регионе; упорное нежелание конгрессменов-демократов сотрудничать, с которым столкнулся Клинтон, — на своих насиженных местах они даже не поняли, что оказались в эпицентре борьбы. Я не рассказал еще, как хитроумные предвыборные махинации раскололи Конгресс и как деньги и телевизионная антиреклама отравляли атмосферу.

И все-таки когда я вспоминаю тот давний разговор с вашингтонским старожилом, когда я размышляю о работе, проделанной Джорджем Кеннаном и Джорджем Маршаллом, когда я читаю речи Бобби Кеннеди и Эверетта Дирксена, то не могу отделаться от мысли, что политическая жизнь наших дней страдает задержкой развития. Для тех людей трудности, переживаемые Америкой, вовсе не были абстракцией и оттого не казались простыми. Решение об участии в войне было тяжелейшим, но совершенно правильным. Экономика разваливалась на глазах вопреки самым масштабным планам. Люди всю жизнь трудились не покладая рук, но не имели ничего.

Поколение лидеров, пришедшее на смену, выросло в условиях относительного комфорта, и его жизненный опыт обусловил иное отношение к политике. Метания между Клинтоном и Гингричем, сами выборы 2000 и 2004 годов чем-то напоминали мне психодраму, разыгрываемую перед всей страной поколения «бума рождаемости»,

перед людьми, которые сводили счеты за старые обиды и вынашивали планы мести со времен, когда они жили в одном студенческом кампусе. Достижения поколения шестидесятых годов: предоставление полных гражданских прав меньшинствам и женщинам, усиление личных свобод и готовность оспаривать авторитеты — значительно усилили привлекательность Америки в глазах ее граждан. Но общая ответственность, доверительность и чувство товарищества — все то, что делает нас американцами, — было безвозвратно утеряно и пока еще не восстановлено.

Итак, что же мы имеем? Теоретически республиканцы могут выдвинуть из своих рядов нового Клинтона, лидера правого крыла, который сохранит консервативный характер финансовой политики Клинтона, но при этом начнет энергично перестраивать дряхлое здание федеральной бюрократии и экспериментировать с решением проблем социальной политики, основанном на рыночных или доверительных мерах. И такого рода лидер еще может появиться. Далеко не все чиновники-республиканцы привержены догматам нынешних консерваторов. И в Палате представителей, и в Сенате, и в столицах штатов по всей стране есть немало сторонников традиционных консервативных добродетелей, умеренности и строгости — людей, которые признают, что накопление долга для покрытия налоговых льгот богачей безответственно, что дефицит не должен сокращаться за счет бедных, что отделение Церкви от государства защищает не только государство, но и Церковь и что внешняя политика должна основываться на фактах, а не на благих намерениях.

Но не эти республиканцы задают тон в спорах последних шести лет. Вместо «сочувствующего консерватизма», который обещал Джордж Буш в своей кампании 2000 года, в нынешней идеологии его «Великой старой партии» безраздельно господствует абсолютизм. Это абсолютизм свободного рынка, свобода от налогов, регулирования, программ социального обеспечения и вспомоществования — а на деле отсутствие управления там, где необходимо защищать частную собственность и заботиться об интересах национальной обороны.

Нельзя сбрасывать со счетов и религиозный абсолютизм христианских правых, которые сначала набрали очки на решении несомненно трудного вопроса об абортах, но позднее развернулись во всю мощь; они не только настаивают, что христианство является преобладающей религией Америки, но и утверждают, что именно фундаменталистское направление этой веры должно задавать тон в государственной политике и стать единственным камертоном для оценки всего и вся, отрицая при этом работы либеральных теологов, труды Национальной академии наук и слова Томаса Джефферсона.

Существует, кроме этого, и непоколебимая уверенность в том, что воля большинства — это истина в последней инстанции; ну, пусть не большинства, но хотя бы тех, кто правит от имени большинства. А ведь это открытое пренебрежение к тем социальным институтам (судам, Конституции, прессе, Женевской конвенции 1864 года, правилам работы Сената, традиционному пересмотру границ избирательных округов), которые могут затормозить наше неуклонное продвижение к Новому Иерусалиму.

Конечно, и среди демократов есть такие же рьяные энтузиасты. Но те, кому и во сне не снилась власть, которой обладают Роув или Делей, то есть власть практически над всей партией, пополняют ряды верноподданных и претворяют некоторые самые радикальные идеи в законодательство. Нарастание региональных, национальных и экономических различий внутри партии, карта избирательных округов и структура Сената, нужда в финансировании выборов экономической элитой — все это заставляет правящих демократов держаться ближе к центру. Назову нескольких выбранных демократов, которые могут послужить прототипом карикатуры на либерала: скажем, Джон Керри верит в необходимость поддержания военного превосходства Америки, Хиллари Клинтон верит в совершенные добродетели капитализма, а почти каждый участник «черного совещания» в Конгрессе верит, что именно за его грехи и распяли Иисуса Христа.

На самом деле в наших демократических рядах царит... скажем так, замешательство. Есть среди нас и приверженцы старых взглядов, которые, не задумываясь ни секунды, кинутся защищать «Новый курс» и «Великое общество» от любого поползновения республиканцев и получат свой стопроцентный рейтинг среди либералов. Но сейчас, похоже, эта тенденция слабеет; неусыпная бдительность, отсутствие энергии и свежих идей, необходимых для решения все новых и новых проблем глобализации или практически изолированного центрального района какого-нибудь большого города, находят все меньше сторонников. Другие придерживаются менее «центристского» курса, полагая, что, отойдя от консервативного руководства партии, они действуют разумно, но не замечая при этом, что с каждым годом все больше и больше сдают свои позиции. Демократические юристы и кандидаты предлагают целый набор практических мер в области энергетики и образования, здравоохранения и национальной безопасности в надежде на то, что они помогут создать нечто похожее на стройную систему управления.

Но в общем и целом Демократическая партия превратилась в партию реакционеров. Наша реакция на непродуманную войну обнаружила подозрительность ко всем военным действиям вообще. Отвечая на тезис о том, что рынок — лучшее лекарство от всех болезней, мы с упорством, достойным лучшего применения, отказываемся применять рыночные принципы для решения насущных проблем общества. Защищаясь от религиозного засилья, мы в своей прыти почти догнали антиклерикалов и разучились говорить на языке морали, который наполняет наши политические дела более глубоким смыслом. Мы проиграли выборы, а думаем, что суды сумеют расстроить планы республиканцев. Мы проиграли и суды и уповаем теперь на очередной скандал в Белом доме.

Мы все больше склоняемся к резкости и грубым политическим методам, похожим на республиканские. Буквально общим местом среди групп сторонников и демократических активистов становятся рассуждения такого рода: республиканцы смогли уверенно победить на выборах не только потому, что усилили свою базу, но и потому, что всячески поносили демократов, вбивали клинья между избирателями, активизировали свое правое крыло и приструнили тех, кто отклонялся от линии партии. Если демократы вообще хотят вернуться когда-нибудь во власть, им обязательно нужно будет позаимствовать эти методы.

Понимаю чувства тех, кто высказывается в этом духе. Способность республиканцев к постоянным победам при помощи курса на резкую поляризацию может впечатлить кого угодно. Я прекрасно осознаю опасности концентрации на тонкостях и нюансах перед лицом все более сильного напора консервативного движения. Мне

представляется, что множество мер администрации Буша вполне справедливо не вызывают ничего, кроме раздражения.

И все же я думаю, что любая попытка демократов сделать ставку на партизанские действия и идеологический конфликт лишь усугубит то положение, в котором мы сейчас оказались. Я убежден, что преувеличения и запугивание, недооценка или, наоборот, переоценка сложности ситуации неминуемо обрекут нас на провал. Если мы замнем политические споры, то неизбежно проиграем. Ведь именно неукоснительное соблюдение идеологической чистоты, неуклонное следование своим курсом и скучная предсказуемость политических споров и удерживает нас от поисков новых путей для решения проблем общегосударственного масштаба. Мы пока что так и работаем в режиме «или — или»: по-нашему, или большое правительство, или вообще никакого; или сорок шесть миллионов человек без медицинской страховки, или какая-то малопонятная «социальная медицина».

Вот именно это доктринерство и партизанщина отвратили от политики множество американцев. Для правых это вовсе не проблема; поляризованный электорат или хотя бы такой, который без сожаления отвернется от обеих партий из-за грязных и нечестных политических дебатов, играет на руку тем, кто готов подорвать саму идею правительства. Ведь циничный электорат всегда сосредоточен на самом себе.

Но для тех из нас, кто полагает, что правительство все же может кое-что сделать для создания равных возможностей и благополучия всех американцев, поляризованный электорат вовсе не так уж привлекателен. Усиление пока еще незначительного большинства демократов тоже не слишком хорошо. Сейчас необходим серьезный перевес большинства американцев — республиканцев, демократов, независимых, — готовых вплотную заняться делом национального возрождения и неразрывно связать собственные интересы с интересами других.

Не питаю иллюзий, что сформировать такое активное большинство будет легко. Но это — насущная необходимость, именно потому, что стоящие перед нами задачи трудны. Не раз потребуется сделать тяжелый выбор, не раз потребуется принести ради него жертвы. Пока политические лидеры останутся глухи и слепы к новым идеям и не перестанут обращать внимания только на красивую упаковку, мы не сможем настроить сердца и умы на внедрение радикальной энергетической политики или на обуздание дефицита. Мы не получим поддержки населения и во внешней политике, которая должна будет достойно ответить на угрозы глобализации и международного терроризма, не скатившись при этом в изоляцию и ущемление гражданских свобод. Мы не получим разрешения на капитальный ремонт давно уже ослабевшей системы американского здравоохранения. Мы не добьемся серьезной политической поддержки и в применении эффективной стратегии борьбы с бедностью, которая, как тисками, сжимает множество наших сограждан.

Все эти доводы я привел в сентябре 2005 года в письме блогу левого крыла «Daily Kos», после того как многочисленные группы поддержки и активисты стали нападать на моих коллег, проголосовавших за избрание Джона Робертса председателем Верховного суда США. Моим сотрудникам пришлось немного понервничать из-за этого, хоть я и проголосовал против утверждения Робертса. Но к тому времени я уже в полной мере оценил силу обратной реакции блогосферы и через несколько дней, в полном соответствии с демократическими принципами, получил больше шести сотен комментариев на свое послание. Кто-то соглашался со мной. Кто-то считал, что я большой идеалист, потому что та политика, о которой я писал, не сумеет противостоять напору республиканской пиар-машины. Было немало и таких, кто заподозрил, что меня специально «заслали» из вашингтонской элиты, дабы посеять смуту в стройных рядах, что я, так давно работая в Вашингтоне, уже утратил всякую связь с простыми людьми. Один вообще, недолго думая, назвал меня идиотом.

Возможно, мои критики и правы. Возможно, большого политического раскола нам не избежать и все эти бесконечные схватки и попытки изменить правила игры окажутся лишь сотрясением воздуха. А может быть, упрощение политики уже достигло точки невозврата и большинство людей видят в ней теперь лишь род развлечения, этакий спорт, гладиаторские бои, когда противников волнует только реакция своих сторонников: для устрашения мы готовы раскраситься хоть в красный, хоть в синий цвет, поддерживать своих, ругать чужих, и если для победы нужно будет нанести подлый удар или лягнуть противника по больному месту... ну что же делать, победителей не судят.

Но я считаю по-другому. Я часто думаю: есть же самые простые, обычные люди, которые выросли в гуще политического и культурного антагонизма, но при этом — пусть даже только на личном уровне — умеют жить в мире со своими соседями и с самими собой. Я представляю себе белого южанина, который еще помнит, как его дед крыл черномазых самыми последними словами, а теперь сам этот южанин водит дружбу с черными сослуживцами и воспитывает своего сына уже совсем по-другому, понимает, что дискриминация — большое зло, но не знает, с какой это стати какой-нибудь сын черного врача при поступлении в юридический колледж будет иметь больше преимуществ, чем его ребенок. Я представляю бывшего члена «Черных пантер», который сейчас спокойно занимается себе недвижимостью, купил в своем районе дома и ругает одолевших его наркоторговцев точно так же, как и банкира, который отказывает ему в ссуде, а без ссуды ему невозможно развивать бизнес. Или феминистку средних лет, которая все льет слезы по своему аборту, или христианку, которая только что оплатила аборт дочери-подростка, или миллионы официанток, временных секретарш, помощниц медсестер, продавщиц «Уол-марта», которые каждый месяц с замиранием сердца ждут зарплаты и прикидывают, как же им содержать детей, которых они пустили в этот мир.

Я представляю себе, что они ждут зрелой политики, которая гармонично соединит идеализм и реализм, которая четко покажет, где компромисс возможен, а где нет, и которая признает, что и другая сторона может иногда здраво рассуждать. Им не всегда понятна суть разногласий правых и левых, консерваторов и либералов, но ясна разница между догмой и здравым смыслом, ответственностью и безответственностью, между вечным и сиюминутным.

Вот такие люди и ждут, когда же их наконец догонят республиканцы и демократы.

ГЛАВА 2 Ценности

Белый дом я увидел первый раз в 1984 году. Тогда я только что закончил колледж и работал организатором землячества гарлемского кампуса в Городском колледже Университета Нью-Йорка. Президент Рейган в то время активно продвигал программу сокращения помощи студентам, и я тесно сотрудничал с группой студенческих лидеров — в основном чернокожих, пуэрториканцев, выходцев из Восточной Европы, многие из которых первыми в семье получали высшее образование, — мы писали петиции против этих сокращений и направляли их делегатам Конгресса от Нью-Йорка.

Тогда все закончилось очень быстро; больше всего времени ушло на то, что мы блуждали по бесконечным коридорам Рейберн-билдинга и добивались благожелательных, но мимолетных аудиенций у сотрудников Капитолия, многие из которых были лишь чуть старше меня. В конце дня мы со студентами все же сумели пройтись по Эспланаде до мемориала Джорджа Вашингтона и там постояли немного, посмотрели на Белый дом. На Пенсильвания-авеню, в нескольких шагах от поста морской пехоты у главного входа, среди пешеходов, торопившихся по своим делам и пролетающих за спиной машин, я не столько восхищался элегантностью Белого дома, сколько думал о том, как открыт он городской суете, как близко можем мы подойти к воротам, а потом еще обойти его с другой стороны и полюбоваться там розарием. Эта открытость Белого дома подчеркивает нашу веру в демократию, думал я тогда. Я искренне полагал, что политические лидеры почти такие же, как мы, что они, так же как и мы, отвечают перед законом и общественным мнением.

Через двадцать лет приблизиться к Белому дому стало уже сложнее. Блок-посты, вооруженная охрана, машины, зеркала, собаки и сборные заграждения охраняли весь периметр двух кварталов в районе Белого дома. Без специального разрешения ни одна машина не могла теперь проехать по Пенсильвания-авеню. Холодным январским вечером накануне моей присяги в Сенате Лафай-етт-парк был почти пуст; пока я проезжал через ворота Белого дома и дальше, по дорожке, мне становилось все грустнее от этого зрелища.

Интерьеры Белого дома вовсе не так блистательны, как может показаться по телевизионным репортажам и фильмам; скорее, он напоминает обустроенное, но уже не слишком новое жилище, где по ночам, наверное, зябко. И, пока я стоял в фойе и разглядывал коридоры, мне вспоминалась вся история этого места — здесь Джонни и Бобби Кеннеди напряженно думали над разрешением Карибского кризиса, Франклин Делано Рузвельт быстро просматривал текст очередного радиообращения, Линкольн одиноко мерил шагами коридор, неся на своих плечах бремя власти, возложенное на него нацией (через несколько месяцев мне довелось увидеть спальню Линкольна — скромную комнату, обставленную старинной мебелью, кровать с пологом на четырех столбиках, оригинал Геттисбергского послания, заботливо прикрытый стеклом, и... огромный телевизор с плоским экраном, установленный на одном из столов. Я тогда еще удивился: кому надо ночевать в спальне Линкольна и по ночам смотреть здесь спортивный канал?).

Меня сразу же встретил сотрудник Белого дома и проводил в «танк» — зал заседаний, прозванный так еще во Вторую мировую войну, — где собирались вновь избранные члены Сената и Палаты представителей. Ровно в шестнадцать ноль-ноль объявили прибытие президента Буша, он вошел и с целеустремленным, энергичным видом поднялся на возвышение той особой, пружинистой походкой, которая всегда служит знаком, что он настроен решительно и собирается сразу же взять быка за рога. Минут десять или около того он произносил свою речь, шутил, призывал нацию к сплочению, а потом пригласил нас всех в другой конец Белого дома на бокал вина и фотографию на память с ним и первой леди.

Я к тому времени уже порядком проголодался и поспешил в буфет, пока новоиспеченные законодатели выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться. Жуя салат и перебрасываясь словами с членами Палаты представителей, я вспоминал два своих предыдущих разговора с президентом — когда он позвонил мне сам и поздравил с победой на выборах и на завтраке в Белом доме, организованном для вновь избранных сенаторов. И в тот и в другой раз президент показался мне весьма приятным человеком острого ума, недюжинной выдержки и притом достаточно прямолинейным, что и помогло ему дважды выиграть на выборах; я без труда представлял его владельцем какого-нибудь магазина автомашин на соседней улице, который тренирует еще детскую бейсбольную команду малой лиги, а в выходные готовит во дворе барбекю, — в общем, вполне приятным собеседником, пока разговор вертится вокруг спорта и детей.

Но был на том завтраке один момент, когда, похлопав друг друга по спинам, обменявшись приветствиями, мы все расселись по местам, вице-президент Чейни спокойно принялся за яичницу с беконом, а Карл Роув на другом конце стола расправлялся с ежевичным десертом, и тут президент повернулся ко мне совершенно неожиданной стороной. Он в который раз говорил об основных проблемах своего второго президентского срока, в частности о необходимости сохранения того же курса в отношении Ирака, пересмотра Закона о борьбе с терроризмом, необходимости реформ в системе социальной защиты, коренного изменения системы налогообложения, о процедуре голосования при выборе судей, — и вдруг его как будто подключили к электрической розетке. Глаза президента уставились в одну точку; в голосе появились взволнованные, торопливые нотки, как у человека, который не привык, когда его перебивают, просто терпеть этого не может; любезность уступила место жесткой неуступчивости пророка. Я видел, как мои коллеги-республиканцы буквально смотрят ему в рот, думал о страшной изоляции, в которую может завести власть, и о том, как мудро отцы-основатели создали систему, где эта власть всегда находится под контролем.

— Сенатор...

Я обернулся, вынырнул из своих воспоминаний и увидел перед собой одного из тех пожилых чернокожих, из которых в основном и состоит штат официантов Белого дома.

— Тарелку убрать?

Я кивнул, дожевывая курицу, приготовленную по какому-то особому рецепту, и тут заметил, что очередь желающих поздороваться с президентом уже иссякла. Спеша поблагодарить хозяев, я отправился в Голубой зал. Молодой морской пехотинец у дверей вежливо сказал мне, что фотосессия уже кончилась и что у президента

сейчас должна быть назначенная встреча. Я уже было развернулся, но тут в дверях показался президент и пригласил меня зайти.

— Обама! — произнес он, пожав мне руку. — Заходите, познакомьтесь с Лаурой. Лаура, ты же помнишь Обаму? Мы его видели по телевидению в тот вечер, когда были выборы. Прекрасная семья! А ваша жена просто сражает наповал.

— Спасибо за высокую оценку, мистер президент, — ответил я, пожимая руку первой леди и лихорадочно соображая, не прилипли ли ко рту крошки.

Буш обернулся к помощнику, и тот мгновенно протянул ему влажную салфетку для рук.

— Нужно? — обратился ко мне президент. — Хорошая штука!

Не желая показаться неаккуратным, я тоже взял салфетку.

— Пойдемте-ка, — сказал президент, отвел меня в сторону и тихо произнес: — Надеюсь, не будете возражать, если я дам вам один совет.

— Конечно нет, мистер президент. Он кивнул и продолжил:

— У вас блестящее будущее, весьма блестящее... Но я здесь уже не первый день, и поверьте, место это не для слабонервных. Когда находишься в центре внимания, вот как вы сейчас, хочешь не хочешь, а тебя начинают разглядывать как в бинокль. Я не только о себе говорю, но и о вас тоже. Все так и ждут, когда поскользнешься, поняли? Так что поосторожнее тут.

— Спасибо, мистер президент.

— Вот и хорошо. Что ж, мне пора. А знаете, у нас с вами есть кое-что общее.

— Что же?

— Нам обоим пришлось схлестнуться с Аланом Ки-зом. Этого голыми руками не возьмешь, да?

Я рассмеялся и, пока мы шли к двери, рассказал ему несколько историй из предвыборной кампании. И только когда президент вышел из зала, мне пришло в голову, что во время разговора я дотрагивался до его плеча. Есть у меня такая невинная привычка, и, думаю, тогда напряглись многие мои друзья, не говоря уж о сотрудниках службы безопасности, которые были в зале.

С самого начала работы в Сенате я выступал последовательным и иногда весьма жестким критиком политики администрации Буша. Я считаю налоговые послабления для состоятельных граждан не только непродуманными, но и весьма сомнительными с точки зрения морали. Я указывал и продолжаю указывать администрации на ее неудачные попытки создать надежную систему здравоохранения, принять серьезную концепцию развития энергетики, повысить конкурентоспособность Америки. Еще в 2002 году, как раз перед началом выборной кампании в Сенат, я выступил с речью на одном из первых антивоенных митингов в Чикаго, усомнился в предъявленных администрацией доказательствах наличия оружия массового поражения и сказал, что со временем вторжение в Ирак обязательно признают ошибкой, которая нам слишком дорого обошлась. Последние новости как из Ирака, так и из всего Ближневосточного региона лишь подтверждают тот прогноз.

Да, демократы нередко удивляются, когда я признаюсь, что лично Джорджа Буша не считаю плохим человеком и думаю, что он со своей администрацией искренне старается работать на благо страны.

Я говорю это не потому, что меня так уж соблазняет власть. Приглашения в Белый дом я расцениваю вполне адекватно, как своего рода политическую любезность, не более, и прекрасно понимаю, что, если работе администрации что-нибудь будет серьезно угрожать, длинные ножи не замедлят появиться. Более того, когда я пишу письмо семье, потерявшей кого-нибудь в Ираке, или читаю мейл от студентки, которую отчислили из колледжа из-за сокращения денежного содержания, то всегда помню, насколько серьезными могут быть последствия решений властей предержащих и что при этом сами эти последствия на них почти не отражаются.

Я веду к тому, что если убрать всю эту мишуру в виде должности, обслуживающего персонала, режима безопасности, то президент и его окружение предстанут во многом такими же, как и обычные люди, как все мы, со своими грехами и добродетелями, сомнениями и глубоко запрятанной неуверенностью. Не важно, насколько неверным мне представляется их политический курс, не важно, что я упорно настаиваю на их ответственности за то, куда этот курс заведет, — говоря с этими людьми, я всегда стараюсь понять мотивы, которые их побуждают, и не забывать, что ценности у нас в любом случае одни и те же.

В Вашингтоне нелегко придерживаться подобной позиции. Проблемы, обсуждаемые в здешних политических дебатах, зачастую настолько остры — а это может быть что угодно, начиная от отправки молодых мужчин и женщин на войну в Ирак и заканчивая целесообразностью исследований стволовых клеток, — что даже малейшее расхождение рассматривается как под увеличительным стеклом. Необходимость хранить верность партии, жесткие требования избирательных кампаний, раздувание прессой любого конфликта отнюдь не способствуют атмосфере доверия. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что большинство сотрудников администрации имеют юридическое или политологическое образование, а значит, склонны скорее к словесным войнам, чем к решению конкретных проблем. Теперь, проработав некоторое время в столице, я понимаю, насколько просто заподозрить своих оппонентов в диаметрально противоположных ценностях — вплоть до того, что у них ложные идеалы, да и сами-то они весьма малоприятные личности.

За пределами Вашингтона, однако, Америка не столь уж глубоко расколота. Иллинойс, например, больше не считается показательным в отношении выборов. Свыше десяти лет позиции демократов здесь укрепляются — отчасти из-за сильных урбанистических тенденций, отчасти потому, что консерватизм нынешней «Великой старой партии» не очень-то в почете на Земле Линкольна. И все же Иллинойс — это вся страна в миниатюре, Север и Юг, Восток и Запад, город и село, черное и белое и еще много чего. Чикаго, как мегаполис, может, ничем и не отличается от Лос-Анджелеса или Нью-Йорка, но культурно и географически южная часть Иллинойса тяготеет к Арканзасу или, скажем, Кентукки, а многие районы штата, выражаясь современным политическим языком, и вовсе красные, то есть настроены весьма радикально.

В Южном Иллинойсе я впервые побывал в 1997 году. Дело было летом, я только что отработал свой первый срок в Законодательном собрании штата, и мы с Мишель еще даже не стали родителями. Сессия закончилась,

студенты юридических колледжей ушли на каникулы, у Мишель оказались какие-то свои дела, и я уговорил своего товарища по собранию, Дэна Шомона, кинуть в машину карту и клюшки для гольфа и с недельку покататься по штату. Дэн был репортером агентства ЮПИ и одновременно организовывал небольшие политические кампании по всему Иллинойсу, так что знал его как нельзя лучше. Но чем ближе становился день отъезда, тем сильнее Дэн сомневался, что в тех округах, куда мы собирались, меня встретят с распростертыми объятиями. Четыре раза он напоминал, что мне взять с собой: только летние брюки и рубашки-поло, никаких там льняных штанов и шелковых рубашек. Я заверил его, что ни того ни другого у меня нет. По дороге мы остановились перекусить в «TGI Friday», и я заказал чизбургер. Когда официантка принесла мой заказ, я спросил, нет ли у них дижонской горчицы. Дэн покачал головой.

— Не надо ему дижонской горчицы, — решительно сказал он, делая официантке знак уходить, и взял со стола бутылку французской горчицы. — Вот, здесь есть.

— Я могу принести дижонскую, если хотите, — в замешательстве произнесла официантка.

Я улыбнулся:

— Да, принесите, пожалуйста.

Когда официантка ушла, я наклонился к Дэну и шепотом сказал, что, надеюсь, фотографов здесь нет.

Вот так мы и путешествовали: раз в день останавливались где-нибудь, чтобы сыграть партию в гольф на страшной жаре, проезжали мимо бесконечных кукурузных полей, густых лесов, где росли ясени и дубы, блестящих на солнце озер с заросшими камышом берегами, останавливались и в больших городах вроде Карбондейла и Маунт-Вернона с неизбежными торговыми центрами и универмагами «Уол-март», и в крошечных местечках наподобие Спарты или Пикнивилля, где в самом центре стоит кирпичное здание суда, на главных улицах непривычно тихо, каждый второй магазин закрыт, уличные торговцы продают персики, кукурузу или, как одна пара, «холодное и огнестрельное оружие по сходной цене».

С мэром Честера в местной кофейне мы ели пироги и обменивались шутками. В центре Метрополиса мы сфотографировались на фоне почти пятидесятиметровой статуи Супермена. Нам рассказывали о молодых, которые переезжают в большие города, потому что на заводах и угольных шахтах стремительно сокращается количество рабочих мест. С нами делились прогнозами об играх футбольной команды местного университета в наступающем сезоне и об огромных расстояниях, которые нужно проехать пожилому человеку, чтобы добраться до ближайшего медицинского учреждения, где есть отделение для ветеранов. Мы встречались с женщинами, которые в свое время служили миссионерами в Кении и приветствовали меня на суахили, и с фермерами, которые сначала внимательно просматривали финансовый раздел «Уоллстрит джорнал», а уж потом заводили моторы своих тракторов. Несколько раз в день я показывал Дэну на мужчин, облаченных в белые льняные брюки или шелковые гавайские рубашки. В небольшой столовой отделения Демократической партии в Дюквойне я спросил местного атторнея о преступности в этом сельском, почти сплошь белом округе, ожидая рассказа о мальчишках, которые угоняют машины, катаются на них и потом бросают, или о браконьерах.

— «Гангстер дисайплз», — ответил он, жуя морковку. — Здесь у нас чисто белокожий филиал — работы у парней нет, вот они и торгуют, кто травкой, кто таблетками.

К концу недели мне расхотелось уезжать. И не только потому, что я обзавелся множеством новых друзей, но еще и потому, что во всех этих мужчинах и женщинах находил свои собственные черты. В них я замечал радушие деда, прямоту бабушки, доброту матери. Жареная курица, картофельный салат, половинки винограда в желе «Джелло» — все это было очень знакомо.

Именно это ощущение, что я у себя дома, больше всего удивляет меня в поездках по Иллинойсу. Оно не покидает меня за обедом в чикагском Уэстсайде. Оно не покидает меня, когда в Пилзене я вижу латиноамериканцев, играющих в футбол, и семьи, которые горячо за них болеют. Оно не покидает меня, когда я сижу на индейской свадьбе где-нибудь в северном пригороде Чикаго.

И я понимаю, что, в общем-то, ну, может, за исключением внешности, мы становимся все больше похожи друг на друга.

Боюсь преувеличивать и не стану здесь утверждать, что опросы общественного мнения врут и наши различия, расовые, региональные, религиозные или экономические, не имеют совершенно никакого значения. В Иллинойсе, как и в любом другом штате, яростные споры вызывает проблема абортов. В некоторых частях штата сама мысль о контроле над продажей оружия покажется кощунственной. Отношение буквально ко всему, от подоходного налога до секса по телевидению, сильно разнится от района к району.

Это доказывает, что в Иллинойсе, как и во всей Америке, происходит непрерывное перекрестное опыление, может быть, не всегда упорядоченное, но вполне мирное слияние людей и культур. Отличия сначала исчезают, а потом проявляются как-то по-новому. Убеждения не ловятся в силки предсказуемости. Ложные ожидания и простые объяснения все время не оправдываются. Потратьте время на серьезный разговор с американцами, и вы узнаете, что большинство этих пламенных ораторов гораздо более толерантны, чем об этом пишет пресса, а самые последовательные антиклерикалы могут поразить своей духовностью. Большинство богатых людей искренне желают бедным преуспеть в жизни, а большинство бедных относятся к себе гораздо более критически и имеют амбиции гораздо выше, чем того требует традиционная культура. В большинстве оплотов республиканцев процентов сорок демократов, и наоборот. Политические ярлыки либерала или консерватора далеко не всегда отражают личные качества человека.

Из этого следует вопрос: какие же у всех нас, американцев, основные ценности? Согласен, такая постановка звучит необычно; наша политическая культура акцентирует именно противоречия. Например, сразу же по окончании выборов 2004 года были обнародованы результаты общенационального экзит-полла, в соответствии с которым именно «моральные ценности» оказали решающее влияние на выбор голосующих. Комментаторы с цифрами в руках доказывали, что самые острые общественные проблемы тех выборов, в особенности однополые браки, затронули множество штатов. Консерваторы с теми же самыми цифрами доказывали, что налицо усиление во власти правохристианских тенденций.

Когда эти опросы проанализировали еще раз, позднее, оказалось, что и ученые мужи, и предсказатели несколько преувеличивали. В действительности самым серьезным вопросом в ходе выборов избиратели назвали национальную безопасность, и, хотя многие из них подтвердили, что «моральные ценности» повлияли на их выбор, сам смысл этого термина оказался столь расплывчатым, что под него подводили все — и аборты, и должностные преступления. Некоторые демократы сразу же вздохнули громко, с облегчением, как будто преуменьшение фактора ценностей служило делу либералов, а дискуссия о ценностях опасно отвлекала внимание от тех вполне конкретных забот, которые и составляли платформу Демократической партии.

Я думаю, в своем стремлении уйти от разговора о ценностях демократы не правы, как, впрочем, и те консерваторы, которые видят в ценностях лишь средство оттянуть от демократов голоса избирателей из рабочей среды. Именно на языке ценностей люди рассказывают о своем мире. Именно ценности заставляют их действовать и выводят из изоляции. Вопросы могли быть и неудачно сформулированы, но разговор об общих ценностях, то есть о стандартах и принципах, которые американцы считают определяющими как для своей частной жизни, так и для жизни страны, должен стать душой нашей политики, краеугольным камнем при любых обсуждениях бюджетов и проектов, правил и программ.

«Мы исходим из той очевидной истины, что все люди созданы равными и наделены Творцом определенными неотъемлемыми правами, к числу которых относятся право на жизнь, свободу и стремление к счастью».

Эти простые слова являются для нас, американцев, отправной точкой; они описывают не только суть нашей системы власти, но и смысл нашего общего мировоззрения. Может быть, не каждый американец сможет их процитировать; вряд ли кто-нибудь вспомнит, что Декларация независимости стала плодом либеральной и республиканской мысли восемнадцатого столетия. Но сама идея Декларации понятна всем американцам — все мы приходим в этот мир свободными, каждый из нас обладает правами, которые нельзя просто так отобрать ни у человека, ни у страны, и только собственными силами мы можем и должны сделать из нашей жизни то, что нам хочется. Каждый день Декларация руководит нами, направляет наше движение, определяет его курс.

В самом деле, ценность личной свободы настолько укоренилась в нашем сознании, что мы привыкли считать ее само собой разумеющейся. Сейчас уже почти никто и не помнит, что во времена формирования нашей нации эта идея казалась радикальной, почти такой же революционной, как тезисы, которые Мартин Лютер прибил к дверям церкви. Ее до сих пор принимает далеко не весь мир, а значительная часть человечества не находит ей никакого подтверждения в повседневной жизни.

Лично моя высокая оценка «Билля о правах» основана на том, что часть детства я прожил в Индонезии, в Кении у меня есть родственники, а в этих странах права личности сведены в основном к самообладанию, достойному генерала армии, которое необходимо, чтобы выиграть битву с коррумпированной бюрократией. Вспоминаю, как вскоре после свадьбы я в первый раз повез Мишель в Кению. Сама афроамериканка, Мишель с радостным волнением ждала встречи с землей своих предков, и мы отлично провели время, навестили мою бабушку в ее деревне, побродили по улицам Найроби, отдохнули в Серенгети, порыбачили на острове Ламу.

Но в этих поездках Мишель часто слышала — как, впрочем, и я, впервые посетив Африку, — сетования многие кенийцев: как это ужасно, когда твоя жизнь вовсе не в твоих руках. Мои двоюродные братья и сестры рассказывали ей, что без взятки невозможно ни найти работу, ни начать свое дело. Политические деятели говорили, что за выражение несогласия с политикой правительства можно запросто угодить в тюрьму. Даже в нашей семье Мишель заметила всю тяжесть гнета семейных связей и внутриплеменных отношений, когда какие-то непонятные дальние родственники постоянно что-нибудь клянчат, а тетушки и дядюшки ни с того ни с сего заявляются в гости. Только на обратном пути в Чикаго Мишель призналась мне, как она рада, что наконец возвращается домой. «Я и не догадывалась, что я до такой степени американка», — сказала она тогда. Она не догадывалась, до какой степени свободна и как, оказывается, ценит эту свободу.

На самом примитивном уровне нашу свободу мы понимаем как свободу отрицать. Мы свято верим, что имеем право на то, чтобы нас оставили в покое, и очень подозрительно относимся ко всем, будь то «Большой Брат» или шумный сосед, кто желает вмешаться в наши дела. Но в нашем понимании свободы есть и утвердительная сторона, а именно идея возможности и неких вторичных ценностей, которые помогают реализовать эту возможность, то есть всех простых ценностей, о которых говорил еще Бенджамин Франклин в своем «Атьманахе Бедного Ричарда» и которые безотказно служат нам вот уже не одну сотню лет. Это уверенность в своих силах, самосовершенствование, готовность к риску. Это энергия, дисциплина, умеренность и трудолюбие. Это бережливость и личная ответственность.

Все эти ценности логически вытекают из оптимистичного взгляда на жизнь и веры в свободу воли — убеждения, что, прорываясь через все жизненные тернии, буквально кровью и потом, каждый из нас может подняться над обстоятельствами своего рождения. И эти же самые ценности выражают более общую мысль: пока каждый человек имеет свободу преследовать собственные интересы, общество как целое будет процветать. Наша система самоуправления и экономика свободного рынка зависят от каждого отдельного американца, придерживающегося этих ценностей. Легитимность нашей власти и наша экономика зависят от того, до какой степени эти ценности уважаются; вот почему равные возможности и недискриминация скорее дополняют нашу свободу, чем покушаются на нее.

Но пусть мы, американцы, в душе индивидуалисты, пусть мы инстинктивно бунтуем против такого наследия прошлого, как верность законам своего племени, традициям, обычаям, принадлежности к той или иной касте, — было бы величайшей ошибкой считать, что этим и ограничивается наша сущность. Наш индивидуализм издавна ограничен общественными ценностями, тем клеем, который скрепляет любое здоровое общество. Мы ценим ограничения семейной жизни и обязательства по отношению к разным поколениям, которые подразумеваются в любой семье. Мы ценим то общее чувство соседства, которое побуждает нас вместе строить какой-нибудь сарай или тренировать футбольную команду. Мы ценим патриотизм и обязательства гражданина, чувство долга и самопожертвование во имя родины. Мы ценим веру в нечто большее, чем мы сами, будь то мировая религия или этические принципы. И еще мы ценим те качества, в которых выражается наше уважение

друг к другу: честность, справедливость, сдержанность, доброта, участие, сострадание.

В каждом обществе (да и в каждом человеке) вечно борются противоположности — личное и общественное, автономное и солидарное, — и Америке крупно повезло, что обстоятельства ее рождения позволили урегулировать эти противоположности лучше, чем во многих других странах. Нам не довелось пережить кровавое насилие, через которое прошла Европа, расставаясь со своим феодальным прошлым. Наш переход от аграрного к индустриальному обществу значительно облегчился благодаря размерам нашей территории, обширным землям и изобилию ресурсов, что и дало эмигрантам вторую жизнь.

При этом нельзя отмахнуться от того факта, что борьба существует. Иногда наши ценности входят в конфликт, потому что каждый человек склонен их искажать или переоценивать. Расчет на свои силы и независимость могут обернуться себялюбием и вседозволенностью, целеустремленность — скупостью или желанием успеха во что бы то ни стало, любой ценой. Не раз в нашей истории патриотизм скатывался к шовинизму, ксенофобии, враждебности к инакомыслящим; на наших глазах вера обращалась уверенностью в собственной непогрешимости, узостью мышления и жестокостью по отношению к другим. Даже стремление к благотворительности может вылиться в высокомерие и несогласие с очевидным фактом, что люди могут позаботиться о себе сами.

Когда происходит такое, то есть когда свободой оправдывают решение компании сбрасывать в ближайшую реку токсичные отходы или когда общей заинтересованностью в строительстве нового торгового центра оправдывают снос чьего-нибудь дома, нам необходимо собрать всю свою волю, усмирить бушующие страсти и найти взаимно приемлемое решение.

Иногда это дается относительно легко. Мы все согласны, скажем, что общество вправе ограничить личную свободу, когда она угрожает другим людям. Первая поправка не разрешит вам кричать «пожар!» в переполненном театре; право на отправление религиозных обрядов отнюдь не подразумевает человеческих жертвоприношений. Точно так же все мы сходимся в том, что государство не должно ежеминутно контролировать нас, пусть даже для нашего блага. Не многие американцы будут чувствовать себя уютно, понимая, что правительству, скажем, известно, что они едят, хотя множество смертей и немалые суммы, потраченные на лечение, свидетельствуют о вреде избыточного веса.

Чаще всего соблюдение баланса противоположных ценностей — весьма нелегкое дело. Конфликт возникает не потому, что мы избрали неверный курс, а всего лишь потому, что живем мы в сложном и противоречивом мире. Например, я твердо убежден, что после 11 сентября мы стали весьма растяжимо трактовать конституционные принципы в борьбе с терроризмом. Но я признаю при этом, что даже мудрейший президент и самый осмотрительный Конгресс не сразу придумали бы, как совместить требования коллективной безопасности и очевидную необходимость соблюдения гражданских свобод. Мне кажется, что наша экономическая стратегия не предусматривает достаточных мер против вытеснения промышленных рабочих и упадка промышленных городов. Однако я не могу игнорировать интересы экономической безопасности и конкурентоспособности.

Увы, зачастую в своих общенациональных дебатах мы даже не доходим до обсуждения этих непростых решений. Вместо этого мы начинаем преувеличивать опасность неприемлемой для нас политической линии для столь чтимых нами ценностей, или же играем в молчанку, когда избранная нами политическая линия никак не согласуется с ценностями противной стороны. Скажем, консерваторы встают на дыбы каждый раз, когда обсуждается государственное вмешательство в регулирование рынка или право на ношение оружия. При этом многих из них совершенно не волнуют несанкционированное прослушивание телефонных разговоров или попытки контролировать сексуальные пристрастия. Наоборот, нет более легкого способа вызвать гнев либералов, чем покуситься на свободу прессы или желание женщины не иметь детей. Но если вы заведете разговор с теми же самыми либералами о возможной стоимости регулирования малого бизнеса, то, скорее всего, натолкнетесь на холодный непонимающий взгляд.

В такой разнородной стране, как наша, никогда не утихнут споры о том, где должна проходить граница государственного вмешательства. Так устроена наша демократия. Но ее архитектуру можно было бы усовершенствовать, признай мы, что *все* наши ценности заслуживают уважения; если бы либералы по крайней мере согласились, что охотник на отдыхе чувствует по отношению к своему ружью то же самое, что они по отношению к книгам из своих библиотек, или если бы консерваторы поняли, что большинство женщин чувствуют себя защищенными правом на аборт так же, как верующие — правом на свободу вероисповедания.

Итоги такого рода опытов могут оказаться несколько неожиданными. В тот год, когда демократы снова получили большинство на выборах в Сенат Иллинойса, я поддержал законопроект об обязательной видеозаписи допросов и признаний в тех делах, за которые по закону может быть назначена смертная казнь. Хотя сама жизнь убеждает меня, что эта мера вовсе не способствует уменьшению роста преступности, я считаю, что за ряд преступлений: массовую резню, изнасилование или убийство ребенка, то есть за наиболее гнусные, наиболее мерзкие, — общество имеет полное право требовать смертной казни как абсолютного выражения своего гнева. С другой стороны, разбирательство подобных случаев в Иллинойсе в то время так часто сопровождалось ошибками, сомнительными действиями полицейских, расовыми волнениями, пристрастным судопроизводством, что пришлось освободить из тюрем тринадцать приговоренных к смертной казни, а губернатор-республиканец наложил мораторий на приведение приговоров в исполнение.

Хотя система смертной казни требовала немедленной реформы, многие говорили мне, что законопроект не пройдет. Решительно против выступали обвинители от имени штата и полицейские, утверждая, что видеозапись — это слишком хлопотно и дорого, к тому же она может затруднить прекращение судебного преследования. Те, кто выступал за отмену смертной казни, опасались, что мало-мальски серьезная реформа ударит по строгости приговоров. Мои коллеги-законодатели опасались, как бы их не обвинили в излишней мягкости к преступникам. А вновь избранный губернатор-демократ в предвыборной кампании высказался откровенно против видеозаписи допросов.

Политики наших дней в подобных случаях должны были бы, наверное, четко обозначить свои позиции:

противники смертной казни твердили бы о расизме, неправильном поведении полицейских, о правовом принуждении, убеждая всех и каждого, что мой законопроект потакает преступникам. Вместо этого мы не одну неделю проводили совещание за совещанием с обвинителями, государственными защитниками, противниками смертной казни, полицейскими. Пресса на эти совещания допускалась очень ограниченно.

Я не стал акцентировать внимание на наших серьезных разногласиях, а говорил о ценности, общей для всех, независимо от наших личных мнений относительно смертной казни, то есть о том, что невиновный человек ни в коем случае не должен быть казнен и что, наоборот, тот, кто заслужил смертную казнь, не должен уйти от возмездия. Когда полицейские указали на те положения проекта, которые могли бы затруднить их работу, мы внесли соответствующие изменения. Когда полицейские предложили записывать только момент признания, мы решительно воспротивились, потому что целью законопроекта было как раз предъявление общественности доказательств, что признание не было получено под давлением. В конце концов мы пришли к решению, которое устраивало всех. Проект единодушно приняли в Сенате Иллинойса, и он получил статус закона.

Понятно, что такой метод решения вопросов не всегда подходит. Иногда конфликт между различными группами бывает необходим для достижения общей идеологической цели. Например, противники абортов открыто отговаривали законодателей даже от обсуждения тех компромиссных мер, которые могли бы значительно расширить применение процедуры, известной под названием «прерывание беременности на поздних сроках», потому что сам образ этой процедуры, укоренившийся в общественном сознании, помог им привлечь немало сторонников.

А иногда наши идеологические воззрения чересчур несгибаемы, и мы не видим даже того, что бросается в глаза. Однажды, еще работая в Иллинойсе, я слушал коллегу-республиканца, который с пеной у рта выступал против плана по распространению школьного питания на дошкольников. Он утверждал, что этот план подорвет их уверенность в себе. В ответ я заметил, что еще не видел пятилетних малышей, настолько уверенных в себе, а вот если в годы, когда происходит взросление, дети будут голодать и не смогут хорошо учиться, то вполне вероятно, что потом они окажутся государственными преступниками.

В тот раз мои усилия не увенчались успехом; илли-нойские дошколята были на некоторое время избавлены от отупляющего воздействия мюсли и молока (позже прошел несколько измененный вариант законопроекта). Но речь моего коллеги-законодателя помогает выявить одно из различий между идеологией и ценностями: ценности безоговорочно приложимы к фактам, тогда как идеология вгоняет любой факт в рамки жесткой теории.

Много неясностей в спорах о ценностях возникает из ложного представления как политиков, так и широкой общественности о том, что политика и правительство — это одно и то же. Сказать, что ценность важна, не значит сказать, что она подчиняется закону или что она является заслугой нового правительства. Напротив, если ценность находится вне закона, это не значит, что ее нельзя обсуждать в обществе.

Например, я ценю хорошие манеры. Каждый ребенок, который говорит хорошим языком, смотрит мне прямо в глаза, отвечает «да, сэр», «спасибо», «пожалуйста», «извините», вселяет в меня уверенность в будущем страны. Мне кажется, в этом я не одинок. Утвердить хорошие манеры законодательно не в моей власти. Но когда я обращаюсь к молодежи, то непременно упоминаю об их значении.

Такую же цену для меня имеют и знания. Нет большего удовольствия, чем встретить человека, гордящегося своей работой, или такого, который стремится к большему, — будь то бухгалтер, сантехник, генерал-лейтенант или телефонный собеседник, который искренне хочет помочь разобраться с вашими проблемами. В последнее время такие радостные встречи происходят реже; кажется, в магазине мне теперь дольше приходится искать, кто мне поможет, и дожидаться дома, когда наконец соизволит появиться курьер из службы доставки. Я не одинок; это бесит всех, и те из нас в правительстве и бизнесе, кто не замечает подобных вещей, рискуют очень сильно. (Я убежден, хотя у меня и нет статистики, чтобы это подтвердить: настроения против налогов, против правительства, против всяческих союзов значительно усиливаются всякий раз, когда люди выстраиваются в очередь перед единственным открытым окном какого-нибудь государственного учреждения и при этом три-четыре чиновника беззаботно чешут языками на глазах у всех.)

Этот пункт особенно смущает прогрессистов, поэтому во время выборов нам так часто приходится сверять позиции. Недавно я выступал с речью в Фонде семьи Кайзера по поводу опубликованного фондом исследования о том, что количество показываемого по телевизору секса за последнее время удвоилось. Я, так же как и многие другие, с удовольствием смотрю передачи кабельного телевидения и, в принципе, не особенно волнуюсь, что именно предпочитают взрослые люди. Другое дело, что родители должны контролировать, какие передачи смотрят их дети, и в той своей речи я даже сказал, что все только выиграли бы, если бы родители — Боже упаси! — выключали телевизор и больше разговаривали с детьми.

Высказавшись в таком духе, я продолжил, что чувствовал себя очень неловко, когда однажды смотрел по телевизору футбол и каждые пятнадцать минут передачу прерывала реклама средств для усиления потенции, а в это время в комнате играли мои дочери. Я упомянул еще одно популярное шоу для подростков, в котором молодые люди, видимо без определенных занятий, несколько месяцев подряд напивались до потери человеческого облика и голыми прыгали вместе в одну ванную, и сказал, что это не настоящая жизнь. Я предложил кабельному и вещательному телевидению употребить всю мощь своих технологий, чтобы помочь родителям контролировать, что именно смотрят их дети.

Вы, наверное, подумали, что я действовал как Коттон Матер. В ответ на мою речь одна газета разразилась редакционной статьей, где утверждала, что правительство ни в коем случае не должно регулировать вещание, хотя к этому я вовсе не призывал. Репортеры писали, что я цинично развернулся лицом к центру в предвкушении общенациональной предвыборной кампании. В офис стали приходить письма от наших сторонников с жалобами — они, мол, голосовали за то, чтобы я выступал против курса Буша, а я оказался всего лишь ворчливым критиканом.

Но любые известные мне родители, будь они либералы или консерваторы, жалуются на то, что культура стала грубее, примитивнее, что она пропагандирует прежде всего материальные ценности и немедленное

вознаграждение любых усилий, агрессивную сексуальность в противовес интимности. Может, они и не за введение государственной цензуры, но хотят, чтобы их озабоченность заметили, чтобы их мнение учитывалось. Когда, не желая прослыть старомодными ретроградами, прогрессивные политики отказываются даже признавать наличие проблемы, родители повернутся к тем, кто это сделает, к тем лидерам, кто без священного трепета относится к положениям Конституции.

Да, и у консерваторов хватает промахов, когда речь заходит о проблемах в области культуры. Возьмем хотя бы оплату труда офисных работников. В 1980 году среднестатистический исполнительный директор получал в сорок два раза больше, чем среднестатистический рабочий. К 2005 году это соотношение достигло двухсот шестидесяти двух к одному. Лагерь консерваторов, к которым принадлежит и редакция «Уолл-стрит джорнал», оправдывает эти астрономические суммы и гигантские акционерные доли необходимостью привлечения талантливых руководителей и настаивает, что экономика государства лучше функционирует, когда у руля стоят толстые и красивые топ-менеджеры. Но такой резкий рост доходов руководящего звена никоим образом не связан с улучшением экономических показателей. Дело обстоит иначе — самые высокооплачиваемые руководители за последние годы допустили серьезные провалы в росте доходов своих компаний, уменьшение стоимости их акций, массовые увольнения, сокращение размеров пенсионных фондов.

Увеличение доходов руководства обусловлено вовсе не требованиями рыночной экономики, а культурой. В то время, когда у среднестатистических рабочих доходы практически не растут, многие представители руководящего звена без зазрения совести кладут себе в карман все, что разрешают им уступчивые, прирученные советы корпораций. Американцы отдают себе отчет в том, насколько пагубна такая этика корысти для нашей общественной жизни; в одном из недавних обзоров они назвали коррупцию в государственных структурах и бизнесе, корыстолюбие и стремление к материальному благополучию двумя из трех наиболее серьезных моральных проблем, стоящих перед страной (первой оказалась проблема воспитания детей в правильной системе ценностей). Консерваторы, возможно, и правы, когда требуют, чтобы правительство не вмешивалось в систему, определяющую размеры вознаграждения руководителей. Но в то же время консерваторам стоило хотя бы захотеть высказаться против неподобающего поведения на заседаниях советов директоров, с тем же праведным гневом, с каким они обрушиваются на непристойные речевки рэпа.

Конечно, не все можно сказать с «амвона», как иногда называют президентский пост. Иногда лишь закон может в полной мере защитить наши права, в частности, когда речь идет о правах и возможностях людей, беспомощных в нашем обществе. Это же относится и к борьбе с расовой дискриминацией; не менее, чем проповедь морали, и перемены в сердцах и умах американцев, происшедшие в эру гражданских прав; конец «эпохи Джима Кроу», то есть дискриминации негров, и начало нового этапа в развитии межрасовых отношений были обозначены делом «Браун против совета по вопросам образования», рассмотренным в те годы в Верховном суде, законом «О гражданских правах» 1964 года, а также законом «Об избирательных правах» 1965 года. Эти законы долго обсуждались, и находились такие, кто настаивал, будто правительство не должно вмешиваться в жизнь гражданского общества, будто ни один закон не заставит белых объединиться с черными. Услышав о таких доводах, Мартин Лютер Кинг заметил: «Конечно, закон не заставит человека любить меня, но, может, линчевать меня он тоже не будет, а это, пожалуй, важнее».

Для построения такого общества, какое мы хотим, иногда требуется и культурная трансформация, и действия правительства, то есть изменение и в системе ценностей, и в политической стратегии. Взять хоть состояние школ в бедных районах наших городов. Можно потратить уйму денег, но дети не будут учиться лучше, пока родители не научат их трудолюбию и терпению в ожидании награды. Но если мы, все общество, делаем вид, что дети из бедных районов смогут раскрыть свои способности в грязных развалюхах-школах, где оборудование давно устарело, а учителя порой толком не знают собственных предметов, то мы бессовестно лжем и этим детям, и самим себе. Мы предаем наши ценности.

Вот почему, как мне кажется, я и состою в демократической партии — мной движет мысль, что наши общие ценности, наше чувство взаимной ответственности и единства должны находить выражение не только в церкви, мечети или синагоге, не только в районе, где мы живем, не только на работе, не только в семье, но еще и во власти. Как и многие, я верю, что сила культуры во многом определяет успех личности и сплоченность общества, и считаю, что игнорирование этого факта весьма опасно. Но я думаю также, что наше правительство может играть немаловажную роль в изменении культуры к лучшему... или к худшему.

Я часто думаю, почему политикам так трудно говорить о ценностях понятным, человеческим языком. Возможно, потому, что многие из нас в общественной жизни ведут себя по заранее написанному сценарию, и даже способы, к которым прибегают кандидаты, чтобы обозначить свои ценности, настолько предсказуемы (среди этого нехитрого набора и остановка в негритянской церкви, и охота, и посещение автогонок, и чтение вслух в группе детского сада), что людям становится все труднее различить, где искренний порыв, а где политические игры.

Никуда не уйдешь от факта, что политика в наши дни сама не имеет никаких ценностей. Политическая жизнь (и комментарии к ней) не только допускают, но зачастую и приветствуют поведение, которое в обычной жизни мы сочли бы скандальным: высосанные из пальца истории, извращение смысла сказанного твоим противником, уничтожающая критика или серьезные сомнения в мотивах действий, наглое вторжение в частную жизнь для поиска компромата.

Скажем, в ходе моей предвыборной кампании в Сенат США мой оппонент-республиканец нанял молодого человека, который снимал скрытой камерой все мои появления на публике. В самом этом приеме давно уже нет ничего нового, но то ли молодой человек перестарался, то ли получил указания, что должен меня провоцировать, только работа его все больше начала походить на преследование. С утра до ночи он ходил за мной как приклеенный, буквально на расстоянии вытянутой руки. Он снимал, как я спускаюсь в лифте. Снимал, как я выхожу из туалета. Снимал, как я разговариваю по мобильнику с женой и дочерьми.

Сначала я пробовал его урезонить. Я спросил, как его зовут, сказал, что прекрасно понимаю, мол, это его

работа, и попросил лишь держаться подальше, чтобы он не слушал лишнего. Он остался глух ко всем моим увещеваниям и сказал лишь, что зовут его Джастин. Я предложил ему позвонить своему начальнику и уточнить, что и как именно ему надо делать. Он ответил, что я могу позвонить и сам, и даже дал мне нужный номер. Я потерпел дня два-три и решил, что с меня хватит. И вот, с Джастином за спиной я пришел в офис прессы Законодательного собрания штата и обратился к мирно завтракавшим репортерам:

— Познакомьтесь, это Джастин. Его приставил ко мне Райан и велел ходить за мной.

Пока я объяснял, в чем дело, Джастин безостановочно снимал. Репортеры меж тем забрасывали его вопросами:

— А в ванную ты за ним тоже идешь?

— Ты всегда к нему так близко?

Вскоре в офисе появились телевизионные бригады и начали снимать, как Джастин снимает меня. Как военнопленный, Джастин заученно твердил свое имя, род занятий и номер телефона штаб-квартиры его кандидата. К шести часам этот сюжет прошел уже в выпусках местных новостей. Еще с неделю весь штат обсуждал эту историю — и в карикатурах, и в редакционных статьях, и даже в спортивных комментариях. После такой энергичной атаки мой оппонент наконец сдался, попросил Джастина держаться на почтительном расстоянии и даже извинился передо мной. Его кампанию это уже не могло спасти. Может, люди и плохо разбирались, в чем мы не согласны по вопросам медицинского страхования или ближневосточной дипломатии, но они прекрасно знали, что он покусился на одну из их важнейших ценностей — достойное поведение.

Вот эта разница между тем, что мы считаем достойным поведением в обычной жизни, и тем, как мы ведем себя, чтобы выиграть кампанию, и служит проверкой истинных ценностей политика. Мало найдется других занятий, которые требуют ежедневно, если не ежеминутно, выбирать между множеством взаимоисключающих факторов — между различными группами избирателей, интересами штата и интересами государства, верностью партии и собственной независимостью, между долгом службы и обязательствами перед семьей. В вечной какофонии голосов таится опасность, что политик может потерять моральные ориентиры и попадет под жернова общественного мнения.

Наверное, поэтому от наших лидеров мы ждем самого редкостного из качеств — подлинности, умения быть самим собой, той искренности, которая не требует лишних слов. Всем этим обладал мой друг, ныне покойный, сенатор США Пол Саймон. С начала и до конца карьеры он отбивал нападки всевозможных специалистов, пользуясь поддержкой людей, которые не соглашались, и притом довольно сильно, с его либеральной политикой. Конечно, на него работала внешность — ну просто врач из какого-нибудь маленького городка, в неизменных очках и галстуке-бабочке, с лицом, неуловимо похожим на морду бассет-хаунда. Но люди чувствовали, что он разделял их ценности: он был честным, последовательно защищал свои взгляды, а больше всего подкупало то, что он искренне заботился о них и знал, чем они живут.

Вот эта черта характера Пола — соучастие — с годами стала все больше привлекать меня в людях. Это краеугольный камень моего морального кодекса, именно так я понимаю «золотое правило» — не только жалость и сочувствие, но нечто более глубокое: умение войти в положение другого человека, понять его точку зрения.

Соучастию, как и многим другим ценностям, я научился у своей матери. Она яростно восставала против любого вида жестокости и насилия, будь то расовые предрассудки, запугивание детей в школе или низкая оплата труда. Когда она замечала во мне даже намек на подобное, то всегда смотрела мне прямо в глаза и спрашивала: «И не совестно тебе?»

Но истинный смысл соучастия мне открылся в отношениях с дедом. По работе мама часто и подолгу жила за границей, поэтому почти все школьные годы я провел с бабушкой и дедушкой, и именно на деда легло бремя моего подросткового бунта. Он и сам, признаться, был человеком не из легких — очень добрым, но при этом гневливым, видимо, потому, что его карьера в свое время не слишком задалась. В мои шестнадцать лет я спорил с ним без конца, обычно потому, что я категорически не желал принимать многочисленные мелкие правила — вроде того что, перед тем как поставить машину на стоянку, нужно обязательно заправить полный бак или что пакеты из-под молока нужно сначала тщательно вымыть, а уж потом выбрасывать в мусор.

Я был абсолютно убежден в правоте своих взглядов, к тому же язык у меня был недурно подвешен, поэтому я с легкостью выигрывал в этих спорах, не без некоторой радости чувствуя, что дед раздражен, взбешен и не может достойно мне ответить. Но со временем, когда я стал старше, эти победы перестали меня удовлетворять. Я все чаще задумывался о том, какой нелегкой и не всегда простой была его жизнь. Я понял, как важно для него уважение домашних. Я согласился с тем, что следовать его правилам мне будет совсем не сложно, но для него это много значит. Я признал, что он далеко не всегда не прав, и, жестко настаивая на своем, не принимая в расчет его чувства и потребности, я в конечном счете оскорбляю себя.

Конечно же, во всех этих открытиях нет ничего нового; каждый из нас, если только он хочет повзрослеть, должен пройти через нечто подобное. Но я снова и снова мысленно возвращаюсь к простым словам моей матери: «И не совестно тебе?» — потому что именно они стали ориентиром всей моей политики.

По правде говоря, мы не часто задаемся этим вопросом; в масштабах страны нам очень не хватает соучастия. Мы не допустили бы существования школ, в которых не учат и в которых вечно не хватает денег, учителей, желания работать, если бы задумались, что дети, которые в них ходят, мало чем отличаются от наших собственных детей. Трудно представить себе руководителя или компанию, которые выписывали бы себе многомиллионные премии, урезая при этом средства на медицинское обслуживание своих работников, если бы такому руководителю пришло в голову, что в некотором смысле они равны. Можно даже допустить, что власти предержащие сто раз подумали бы, прежде чем начать войну, если бы они знали, что в ней могут пострадать их сыновья и дочери.

Я думаю, что деятельное соучастие могло бы сместить приоритеты нашей нынешней политики в сторону тех людей, жизнь которых в нашем обществе легкой не назовешь. Ведь если они такие же, как мы, то их тяготы — это наши тяготы. Не помогая им, мы оскорбляем самих себя.

Но это не значит, что такие люди — или те из нас, которые говорят от их имени, — автоматически освобождаются даже от попыток понять перспективы тех, кто находится в лучшем положении. Чернокожим лидерам необходимо учитывать вполне обоснованные опасения, которые побуждают некоторых белых сопротивляться ликвидации расовой дискриминации. Представители профсоюзов просто обязаны предвидеть подводные камни конкуренции, на которые могут наскочить их работники. Я сам обязательно должен постараться взглянуть на мир глазами Джорджа Буша, хотя во многом я с ним совершенно не согласен. Это и есть соучастие — оно заставляет действовать нас всех, консерваторов и либералов, имеющих власть и не имеющих ее, подавляющих и подавляемых. Мы все должны стряхнуть с себя самоуспокоенность. Мы все должны хотя бы попытаться заглянуть за горизонт.

Каждый из нас должен сделать усилие в поисках общего.

Да, конечно, чувство взаимопонимания — это еще далеко не все. Ведь по большому счету сами слова ничего не значат; как и любая ценность, соучастие проявляется прежде всего в деле. Когда в восьмидесятые годы я работал в социальной сфере, то часто озадачивал руководителей района вопросами, на что они тратят свое время, энергию и деньги. Я говорил им, что именно это и есть проверка наших ценностей, независимо от того, что мы любим рассказывать сами. Если мы не желаем платить за эти ценности определенную цену, если мы не желаем ничем поступаться, чтобы претворить их в жизнь, то стоит задуматься, а верим ли мы в них вообще.

Если рассматривать вопрос с этой точки зрения, может показаться, что в сегодняшней Америке ничто не ценится так высоко, как богатство, стройная фигура, молодость, известность, безопасность и развлечения. Мы утверждаем, что ценим то наследство, которое завещаем своим потомкам, и при этом оставляем им гигантские долги. Мы утверждаем, что верим в равные возможности, но закрываем глаза на миллионы американских детей, страдающих от бедности. Мы провозглашаем, что превыше всего ценим семью, но сама структура нашей экономики и организация нашей жизни таковы, что на семью остается все меньше времени.

Однако не все мы таковы. Мы держимся за наши ценности, пусть даже временами кажется, что они уже порядком устарели и вышли из моды, пусть даже в общественной и личной жизни мы не раз им изменяли. Что же нами движет? Эти ценности — наше наследие, именно они и делают нас теми, кто мы есть, нацией. И хотя мы признаем, что о них можно спорить, что над ними могут потешаться, изгаляться, издеваться высокоинтеллектуальные критики, все-таки эти ценности удивительно жизнеспособны и неизменны, какой бы ни взять класс, расу, вероисповедание и поколение. Мы можем защищать их, пока понимаем, что наши ценности проверяются фактами и опытом, пока признаем, что они требуют дел, а не только слов.

А поступать иначе — значит, отказываться от самих себя.

ГЛАВА 3 Наша Конституция

Вспоминая первый год работы в Капитолии, многие сенаторы часто прибегают к выражению: «Из пожарного шланга не напьешься».

Выражение, надо сказать, очень точное, потому что именно так я чувствовал себя в первые месяцы пребывания в Сенате. Казалось, все свалилось на меня разом. Я нанимал сотрудников и организовывал офисы в Вашингтоне и Иллинойсе. Я договаривался о назначениях в комитет и торопился решить возникающие перед этим комитетом вопросы. Со дня выборов скопилось около десяти тысяч писем, а приглашения выступить с речью прибывали по три сотни в неделю. Каждые полчаса я носился из Сената то в офис своего комитета, то в вестибюль гостиницы, то на радиостанцию и полностью зависел от своих двадцати- и тридцатилетних сотрудников, которые напоминали мне о расписании на сегодня, подавали нужную записную книжку, подсказывали, с кем я встречаюсь, или провожали до ближайшего туалета.

По вечерам наступало время освоения одинокой жизни. Мы с Мишель решили, что ей с девочками лучше остаться в Чикаго, не только потому, что им было бы гораздо хуже в тепличном климате Вашингтона, но еще и потому, что в Чикаго Мишель оставалась в кругу матери, брата, родственников, друзей, которые помогали ей во время тех долгих отлучек, которых неизбежно требовала моя работа. Итак, чтобы проводить три ночи в Вашингтоне, я снял скромную двухкомнатную квартиру неподалеку от юридического факультета Джорджтаунского университета, в высотном доме между Капитолийским холмом и центром города.

Поначалу я старался находить радости в новообре-тенном одиночестве, предавался прелестям холостяцкой жизни — заказывал еду из всех ресторанов в округе, чуть ли не до утра смотрел по телевизору баскетбол или читал запоем, среди ночи отправлялся в тренажерный зал, оставлял в раковине невымытые тарелки и не заправлял постель. Но оказалось, что это не так-то здорово; тринадцать лет семейной жизни приучили меня к домашнему уюту, и оказалось, что я беспомощен перед валом бытовых проблем. В первое же утро в Вашингтоне я вспомнил, что забыл купить штору для ванной, и, принимая душ, жался к стене, чтобы не залить пол. На следующий вечер, когда я смотрел по телевизору игру и пил пиво, то заснул на середине тайма, скорчившись прямо на кушетке, и проснулся через два часа оттого, что отлежал шею. Ресторанная еда почему-то вдруг разонравилась; тишина просто добивала. Я то и дело звонил домой — только для того, чтобы услышать голоса дочек. Мне очень не хватало их теплых ручонок и сладкого запаха кожи.

— Привет, моя хорошая!

— Привет, пап.

— Как вы там?

— После того как ты звонил?

— Ну да.

— Нормально. Маму позвать?

В Сенате было несколько таких же, как я, депутатов, которые не взяли семьи с собой в Вашингтон, и, встречаясь, мы снова и снова обсуждали плюсы и минусы этого решения и говорили о том, как трудно выкроить время для своих и защитить их от слишком рьяных помощников. Но большинство моих коллег были значительно

старше, в среднем лет шестидесяти, и, часто заходя в их офисы, я по большей части получал советы, как работать в Сенате. Мне охотно рассказывали о преимуществах того или иного поста в комитетах, о характерах председателей этих комитетов. Советовали, как лучше организовать работу сотрудников, к кому обратиться, чтобы получить офисное помещение побольше, как работать с тем или другим документом. Большинство из этих советов являлись весьма дельными, некоторые казались мне сомнительными. Но любая встреча, особенно с демократом, заканчивалась одним и тем же: мне настоятельно советовали по возможности скорее познакомиться с сенатором Бердом — не только потому, что того требовали правила учтивости, принятые в Сенате, но и потому, что место председателя Комитета по ассигнованиям Конгресса и репутация в Сенате придавали ему весьма значительный вес.

Восьмидесятисемилетний сенатор Роберт Карлайл Берд был не просто старейшиной Сената; в нем привыкли видеть воплощение Сената, олицетворение истории. Он вырос в семье дяди и тети в бедном шахтерском городке в Западной Виргинии; благодаря своим исключительным способностям он легко читал наизусть длинные отрывки из поэм и великолепно играл на скрипке. За образование платить ему было нечем, поэтому он перепробовал множество занятий — работал рубщиком мяса, продавцом, а в годы Второй мировой войны трудился сварщиком на военных кораблях. После войны он вернулся в родную Виргинию, победил на выборах в Законодательное собрание штата, а в 1952 году был избран в Конгресс.

С 1958 года он работал в Сенате и за сорок семь лет прошел почти все должности, в том числе шесть лет был лидером большинства и шесть — лидером меньшинства. Все это время он выражал интересы простых людей, что позволило ему добиться значительных льгот для своих земляков: выплат шахтерам по пневмокониозу и профсоюзной защиты, строительства дорог, жилья, электрификации беднейших районов. За десять лет одновременно со всем этим он окончил вечерние курсы и получил диплом юриста, а его знание всех правил Сената просто вошло в поговорку. Мало того, он успел еще написать четырехтомную историю Сената, которую отличало не только глубочайшее знание предмета, но и искренняя любовь к тому месту, где он проработал практически всю жизнь. Про него говорили, что только жену он любит сильнее, чем Сенат (она долго болела и умерла в шестьдесят восемь лет); правда, не меньшее почтение он питал и к Конституции. При себе у него всегда был небольшого формата томик, и Берд имел обыкновение выхватывать его из кармана и размахивать им в пылу дебатов.

Я уже оставил в офисе сенатора Берда сообщение с просьбой о встрече, и тут мне представилась возможность увидеть его. Это произошло в тот день, когда мы приносили присягу. Мы все собрались в темном, богато украшенном Старом зале заседаний Сената, где над председательским местом висит балдахин темного, почти кроваво-красного бархата, а огромный орел похож на фантастическую средневековую горгулью. Эта мрачная обстановка вполне соответствовала нашему настроению, потому что фракция демократов собралась для решения организационных вопросов после нелегкой выборной кампании и потери своего лидера. После выборов нового руководства лидер меньшинства Гарри Рейд спросил у сенатора Берда, не хочет ли тот что-нибудь сказать. Худощавый сенатор с водянисто-голубыми глазами и внушительным орлиным носом медленно поднялся со своего места, опираясь на палку. Он помолчал немного, выбирая позу поудобнее, и, запрокинув голову, взглянул на потолок. Потом заговорил — торжественно, размеренно. Слышался намек на Аппалачи, как волнистая фактура дерева ощущается под слоем лака.

Уже не помню подробно, о чем он говорил, память сохранила лишь общее содержание речи, которая с шекспировской страстью звучала тогда в Старом зале заседаний Сената, — он сравнил устройство Конституции и Сената с часовым механизмом, указал на растущую год от года опасность, которой исполнительная власть подвергает драгоценную независимость Сената; напомнил, что каждому сенатору необходимо перечитывать основополагающие документы, чтобы оставаться верным духу республики и неуклонно следовать ему. Он говорил, и его голос звучал все сильнее, а указательный палец все чаще взмывал в воздух; казалось, Берд растворялся в сумраке зала и становился духом Сената, и те пятьдесят лет, что он провел в этих стенах, соединяются с такими же полувековыми звеньями длинной цепи, которая тянется ко временам Джефферсона, Адамса и Мадисона, которые работали здесь еще тогда, когда город только поднимался из лугов, полей и болот.

Когда ни я, ни похожие на меня ни при каких обстоятельствах не могли бы здесь заседать.

Слушая сенатора Берда, я думал о том, насколько противоречивое положение занимаю в этом новом месте, среди его мраморных бюстов, неписаных правил, традиций и легенд. Я раздумывал над тем фактом, о котором Берд рассказал в своей биографии, — первый опыт руководящей работы сенатор получил, когда ему было чуть за двадцать, и произошло это в отделении Ку-клукс-клана округа Роли. В этом его долго упрекали, да и сам он признавал свою ошибку, связывая ее — без сомнения, верно — с духом времени и места, где он рос, хотя на протяжении всей карьеры его буквально преследовали упреками. Я размышлял, как он работал вместе с другими гигантами Сената — Джеймсом Уильямсом Фулб-райтом из Арканзаса, Ричардом Расселом из Джорджии, как они, южане, сопротивлялись введению законодательства о гражданских правах. Я думал, важно ли это будет для тех либералов — *MoveOn.org* или наследников политической контркультуры, против которой Берд страстно выступал всю свою жизнь, — что сейчас превозносят сенатора за его принципиальную позицию относительно Ирака.

Я не понимал, почему с этим фактом так носятся. Жизнь сенатора Берда, как и любого из нас, полна противоречивых эпизодов, темных и светлых полос. И в этом отношении я воспринимал его живым символом Сената, правила и устройство которого отражают главный компромисс, лежащий в основе государственного устройства Америки: равновесие между северными и южными штатами, Сенат как надежное средство усмирения сиюминутных страстей, защиты прав меньшинства и независимости штатов, но еще и как инструмент защиты богатых от бедных и убеждения рабовладельцев не вмешиваться в деятельность этого особенного института. В плоть и кровь Сената, можно сказать, в его генетический код вошло то самое правило состязательности между властью и принципом, характеризовавшее наше государство в целом и выражавшее великий спор между людьми блестящего ума и горячего темперамента, который закончился созданием формы правления, уникальной в своем роде, но удивительно слепой и глухой к кнуту и цепям.

Речь тем временем закончилась; сенаторы громко аплодировали Берду и поздравляли его с блестящим выступлением. Я подошел, представился, он тепло пожал мне руку и сказал, что с нетерпением ждет встречи. Возвращаясь к себе, я думал, что первым делом надо раскопать старые учебники по конституционному праву и перечитать саму Конституцию. Ведь сенатор Берд был прав: чтобы понять, что творится в Вашингтоне в 2005 году, чтобы понять мою новую работу и самого сенатора Берда, мне нужно вернуться к истокам, к самым первым политическим дебатам в истории Америки, к нашим основополагающим документам, проследить, какую роль они сыграли в истории, и сделать свои выводы.

Если вы спросите мою восьмилетнюю дочь, чем я занимаюсь, то она, скорее всего, ответит, что я пишу законы. Да, это так, но самое удивительное в Вашингтоне — это уйма времени, которая тратится не столько на то, чтобы решить, что должно быть написано в законе, сколько на то, чтобы договориться, что же такое этот самый закон. Простейшая вещь — скажем, введение правила, согласно которому компании должны предоставлять своим рабочим-почасовикам обязательные перерывы для принятия душа, — может стать объектом совершенно разных толкований в зависимости от того, с кем вы разговариваете: с конгрессменом, который его поддержал, с сотрудником, который писал проект, с начальником отдела, который будет вводить его в действие, с юристом, клиенту которого это правило совсем не нравится, или с судьей, которому, возможно, придется его применять.

В чем-то это результат работы сложного механизма сдерживания и уравновешивания. Разделение власти не только между ветвями, но и между федеральным правительством и штатами означает, что ни один закон не принимается окончательно, что ни одна битва не утихает; всегда можно улучшить или ухудшить то, что кажется завершенным, спустить на тормозах любую норму или заблокировать ее введение, ограничить силу любого учреждения, урезав его бюджет, или поставить под контроль любой вопрос, где есть какая-нибудь неясность.

Отчасти это в природе самого закона. В основном он четок и ясен. Но в жизни возникают все новые и новые проблемы, и вот юристы, государственные служащие и простые граждане начинают спорить о том, что казалось совершенно ясным несколько месяцев или лет назад. Ведь, в конце концов, закон — это лишь слова, написанные на бумаге, а слова могут быть слишком общими, неясными, зависеть от контекста и понимания точно так же, как в стихотворении, рассказе или обещании кому-нибудь значение слов может размываться, а то и разрушаться прямо на ваших глазах.

Однако те юридические споры, которые в 2005 году сотрясали Вашингтон, выходили за рамки обыкновенных проблем юридического толкования. Речь шла о том, должны ли власти предержащие ограничиваться в своей деятельности вообще каким-либо законом.

При обсуждении вопросов национальной безопасности сразу же после событий 11 сентября Белый дом резко противился любому предложению об ответственности перед Конгрессом или судом. Во время слушаний по вопросу об утверждении Кондолизы Райс на пост государственного секретаря споры вспыхивали буквально обо всем, начиная с объема резолюции Конгресса в пользу войны в Ираке и заканчивая готовностью представителей исполнительной власти давать показания под присягой. Во время дебатов по поводу утверждения Альберто Гонсалеса я просматривал служебные записки, составленные в Министерстве юстиции, где утверждалось, что меры наподобие лишения сна или повторяющегося удушения не могут считаться пытками, так как не вызывали «сильной боли», сопровождающейся «разрушением органов, ослаблением телесных функций и даже смертью»; расшифровки совещаний, где предлагалось не распространять положения Женевской конвенции на «вражеских комбатантов», плененных в ходе афганской кампании; мнения, что Четвертая поправка не относится к гражданам США, сочтенным «вражескими комбатантами» и захваченным на территории США.

Такое отношение ни в коем случае не ограничивалось одним лишь Белым домом. Как-то раз в начале марта я спешил на этаж Сената, и тут меня остановил темноволосый молодой человек. Он подвел меня к своим родителям и рассказал, что они приехали из Флориды в последней надежде спасти молодую женщину по имени Терри Шайво, которая находилась в глубокой коме. Муж собирался отключить ее от аппарата жизнеобеспечения. История была просто душераздирающая, но я, как мог, объяснил несчастным, что Конгресс в такие дела почти не вмешивается, не зная тогда еще, что Том Делей и Билл Фрист уже создали свой прецедент.

Объем президентской власти в военное время, этический аспект решений о прекращении жизни — это очень непростые вопросы. Так же как я резко не соглашался с политической линией республиканцев, я был твердо убежден, что они заслуживают серьезного разговора. Меня очень беспокоил процесс или, вернее, его отсутствие, при помощи которого Белый дом и его союзники в Конгрессе избавлялись от противоположных мнений; казалось, что законы власти больше не действуют и что больше нет ни норм, ни правил, которыми можно было бы руководствоваться. Возникало такое ощущение, будто власти предержащие вдруг решили, что приказ о доставлении в суд и разделение властей — это всего лишь милые пустячки, которые только мешают, что они лишь усложняют очевидные вещи (например, необходимость борьбы с терроризмом) или искажают истинный смысл понятий (неприкосновенность жизни), а следовательно, их можно игнорировать или по крайней мере брать под строгий контроль.

Парадокс на самом деле в том, что много лет консерваторы обвиняли либералов именно в игнорировании правил и манипулировании смыслами для достижения определенной цели. Это послужило основанием контракта с Америкой Ньюта Гингрича — вожди от демократов, которые контролировали тогда Палату представителей, намеренно злоупотребляли законотворческим процессом для достижения своих интересов. Именно это послужило основанием для процедуры импичмента относительно Билла Клинтона; все презрение выразилось в одной печальной фразе: «Все зависит от того, каково есть значение слова „есть"». На этом основывалась критика консерваторами либеральных ученых, этих верховных жрецов политкорректности, которые, как доказывалось, не признают вечных истин или ступеней познания и прививают американской молодежи очень опасный вирус морального релятивизма.

Именно на этом основывались все обвинения консерваторов в адрес федеральных судов.

Контроль над всеми судами вообще и над Верховным судом в частности стал прямо-таки навязчивой идеей не одного поколения консерваторов, и не только потому, что они будто бы видели в судах последний бастион за-

щитников абортов, компенсационной дискриминации, гомосексуалистов, преступников, законников, антирелигиозной либеральной элиты. Если верить этим деятелям, либеральные судьи поставили себя выше закона и основывают свои решения не на Конституции, а на собственных представлениях и желаемом результате, находят упоминания о праве на аборт или содомию, которых не существует в тексте, тормозят демократический процесс и извращают первоначальный замысел отцов-основателей. Чтобы вернуть судам их истинное предназначение, они предлагали назначать в федеральный суд «строгих толкователей», то есть таких людей, которые понимают разницу между толкованием закона и его созданием, которые будут держаться истинного смысла слов основателей. Таких людей, которые будут следовать правилам.

Представители левых смотрели на всю ситуацию совершенно иначе. Если консервативные республиканцы набирали очки на президентских и парламентских выборах, то либералы рассматривали суды как единственное препятствие на пути радикального отката по вопросам о гражданских правах, правах женщин, гражданских свобод, экологическом законодательстве, отделении Церкви от государства и вообще всем историческом наследии времен «Нового курса». Во время назначения Борка группы поддержки и демократические лидеры подошли к организации оппозиции невероятно серьезно, впервые за все время назначения на юридический пост. Этот кандидат не был утвержден, и консерваторы поняли, что им нужно заручиться поддержкой рядовых избирателей.

С тех пор каждая из сторон говорила о движении то вперед (Скалия и Томас у консерваторов, Гинзбург и Брейер у либералов), то назад (у консерваторов широко разрекламированное движение к центру О'Коннор, Кеннеди и, в особенности, Сутера; у либералов назначение в низшие федеральные суды ставленников Рейгана и Буша-старшего). Демократы громко жаловались, когда республиканцы употребили власть Юридического комитета, чтобы заблокировать шестьдесят одну кандидатуру, предложенную Клинтоном в апелляционные и окружные суды, а демократы, в свою очередь, оказавшись на короткое время в большинстве, воспользовались той же тактикой против кандидатур Джорджа Буша.

Но после того как в 2002 году демократы потеряли большинство в Сенате, у них в запасе остался лишь один прием, который можно описать одним словом, боевой клич, который сплотил всех истинных демократов: «Обструкция!»

Такого слова — «обструкция» — нет в Конституции. Это правило Сената, которое восходит к самым ранним временам работы Конгресса. Идея его проста: так как вся работа Сената основана на принципе единодушного согласия, любой сенатор может остановить слушания, воспользовавшись правом неограниченного обсуждения и отказываясь перейти к следующему пункту повестки дня. Другим словами, он получает право говорить. И говорить столько, сколько ему заблагорассудится. Он может говорить о содержании рассматриваемого законопроекта или о тех мотивах, по которым он должен быть принят. Он может читать весь семисотстраничный проект закона об обороне, строчку за строчкой, да еще требовать внесения этого в протокол, увязывать статьи законопроекта с величием и упадком Римской империи, полетом колибри или телефонной книгой города Атланты. И пока такой оратор или его коллеги желают оставаться на трибуне и говорить, всем остальным надо набираться терпения и ждать, то есть каждый сенатор имеет в своем распоряжении мощнейший рычаг и эффективное в руках большинства право вето, которое может затормозить практически любой закон.

Единственный способ противостоять обструкции состоит в том, что три пятых членов Сената могут прибегнуть к процедуре прекращения прений. На деле это означает, что любой вопрос, представляемый на рассмотрение Сената, — будь то законопроект, резолюция или назначение — должно поддержать не простое большинство, а ровно шестьдесят сенаторов. Со временем сформировался целый комплекс правил, который позволяет как обструкционистам, так и их противникам действовать без лишнего шума: всего одной угрозы обструкциониста зачастую бывает достаточно, чтобы привлечь внимание лидера большинства, а голосование по прекращению прений можно будет потом организовать так, что никому не придется вечером дремать в своих креслах. Но в современной истории Сената практика обструкции остается тщательно охраняемой прерогативой, которая, наряду с шестилетним сроком и назначением двух сенаторов от каждого штата, независимо от количества жителей в нем, как считается, отделяет Сенат от Палаты представителей и служит барьером против давления большинства.

Но с обструкцией связана и еще одна, гораздо более печальная история, которая для меня лично имеет особое значение. Почти сто лет обструкция была излюбленным оружием южан в их попытках оградить расовую дискриминацию от вмешательства федерального центра, создавая прочный юридический заслон от Четырнадцатой и Пятнадцатой поправок. Долгие десятилетия любезные, образованные люди вроде сенатора Ричарда Рассела от штата Джорджия (в честь которого названо самое элегантное здание Сената) пользовались обструкцией для того, чтобы не пропустить в Сенат любой закон, относящийся к области гражданского права, — о правовых отношениях, условиях найма на работу, запрете линчевания. Словами, правилами, процедурами и прецедентами, то есть силой закона, сенаторы-южане многие годы подавляли черных так, как этого не смогло бы сделать никакое насилие. Обструкция не только тормозила законотворчество. Во многих чернокожих на Юге она убила последнюю надежду.

В первый срок правления Джорджа Буша демократы нечасто прибегали к обструкции: из двух с чем-то сотен назначенцев на судейские посты только десяти не удалось попасть в списки на голосование. При этом все десять были назначены в Апелляционный суд, то есть были далеко не последним звеном в судебной системе; все они являлись видными фигурами в стане консерваторов; и если, как говорили консерваторы, демократы устроили обструкцию этим десяти отличным юристам, что их остановит от того, чтобы забаллотировать будущих кандидатов в Верховный суд?

Итак, случилось, что президент Буш — при поддержке серьезного республиканского большинства в Сенате и своего мандата — решил в первые же недели своего второго срока повторно выдвинуть кандидатуры семерых судей, ранее подвергшихся обструкции. В пику демократам это возымело желаемый эффект. Лидер демократов Гарри Рейд назвал это «поцелуй взасос с крайне правыми» и вновь пригрозил обструкцией. Группы поддержки левых и правых принялись рассылать во все стороны предупреждения, электронные послания и письма, чтобы

спонсоры начали давать деньги под грядущие баталии. Республиканцы, почуяв, что настало время ввязаться в схватку, объявили, что, если демократы продолжат свою порочную практику обструкции, им не останется ничего другого, как потребовать введения «крайней меры» — новомодного политического маневра, при котором председатель Сената (а то и сам вице-президент Чейни) может игнорировать мнение парламентариев и двухсотлетнюю историю практики заседаний Сената и одним ударом своего молотка навсегда запретить применение обструкции, по крайней мере в случаях назначений на юридические должности.

Для меня эта попытка ограниченного применения обструкции стала еще одним примером того, как республиканцы склонны менять правила по ходу игры. Более того, можно поспорить, что голосование по юридическим на значениям и есть как раз такой случай, когда обструкция квалифицированного большинства имеет смысл: так как федеральные судьи получают пожизненное назначение и часто занимают свой пост несколько президентских сроков подряд, президенту следует — и нашей демократии это лишь на пользу — найти умеренного кандидата, который будет готов поддерживать самые разные политические силы. Но среди кандидатов Буша лишь немногие попадали в категорию «умеренных»; скорее уж они были образцовыми противниками гражданских свобод, неприкосновенности частной жизни и проверок исполнительной власти, что передвинуло их даже правее большинства судей-республиканцев (один особенно ретивый кандидат пренебрежительно называл социальную защиту и другие программы «Нового курса» «триумфом нашей собственной социалистической революции»).

Помню, как я саркастически хмыкнул, впервые услышав об этой «крайней мере». Она стала лучшим доказательством полнейшего отсутствия перспективы, которая стала характерной для назначений на судейские должности, той шумихи в средствах массовой информации, которая позволяла левым группам выпускать рекламные ролики со сценами из фильма «Мистер Смит едет в Вашингтон» с участием Джеймса Стюарта, умалчивая, что в реальной жизни этого самого мистера Смита играли Стром Термонд и Джим Истланд; бесстыдного мифотворчества, которое позволяло южанам-республиканцам выступать в Сенате и обрушиваться на непристойную практику обструкции, не упоминая при этом, что именно политики из их штатов, их прямые предшественники в политике, и возвели обструкцию в ранг опасного искусства.

Не многие из моих товарищей-демократов заметили этот парадокс. Как только процесс назначения на судейские должности начал набирать обороты, в разговоре с одной своей знакомой я сказал, что мне не нравятся некоторые способы, которыми мы пробуем дискредитировать и блокировать кандидатов. Я не сомневался, что некоторые назначенцы Буша могут принести больше вреда, чем пользы; я бы даже поддержал их обструкцию, лишь бы дать сигнал Белому дому, что следующие кандидатуры должны быть более умеренными. Ей я сказал, что эти выборы определенно имеют смысл. Вместо того чтобы полагаться на сенатские процедуры, надо было сделать так, чтобы избранные судьи разделяли наши ценности. А этого можно было добиться, только выиграв все выборы.

Она помотала головой и спросила:

— Ты что же, думаешь, что, если бы положение было диаметрально противоположным, республиканцы хоть на секунду задумались, применять им обструкцию или нет?

Я так не думал. И все-таки меня грызли сомнения, что использование обструкции может нанести ущерб имиджу демократов, которые всегда занимали оборонительные позиции, — это ощущение, будто мы использовали суды, юристов и разные процедурные увертки, чтобы нам не пришлось бороться за общественное мнение. Ощущение было не совсем верным: республиканцы не меньше, чем демократы, часто просили суды отменять те демократические решения (например, законы о финансировании предвыборных кампаний), которые были им не по вкусу. Но меня удивляло, как, при всей нашей уверенности в том, что суды готовы защищать не только наши права, но и ценности, прогрессисты могли настолько разувериться в демократии.

Точно так же и консерваторы, по-моему, отказывались понимать, что демократия должна быть больше чем просто воля большинства. Мне вспомнился вечер за несколько лет до этого, когда, будучи членом Законодательного собрания Иллинойса, я выступал за включение оговорки о здоровье матери в республиканский законопроект о запрете прерывания беременности на поздних сроках. Она провалилась на партийном голосовании, и поеле этого я вышел в коридор с одним из моих коллег-республиканцев. Я сказал ему, что без этой оговорки суды будут опротестовывать этот закон как неконституционный. Он же ответил, что разницы нет, с поправкой ли, без поправки, — судьи будут все равно решать так, как сочтут нужным.

— Политика, — сказал он, собираясь уходить. — Ну а теперь пошли голосовать.

Какой смысл во всех этих политических дрязгах? Для многих из нас споры вокруг сенатских процедур, разделения властей, назначения на судейские должности, правил толкования Конституции представляются какой-то китайской грамотой, весьма далекой от повседневной жизни, — так, мышиная возня, и больше ничего.

И все же смысл в них есть. Не только потому, что процедурные нормы нашего государства помогают вынести решение по любому вопросу — от регулирования работы источников загрязнения до прослушивания вашего телефона, — но и потому, что они определяют нашу демократию точно так же, как и выборы. Наша система самоуправления весьма сложна; но именно при помощи этой системы, уважая эту систему, мы формируем наши ценности и общие цели.

Конечно, я сужу предвзято. Десять лет перед тем, как оказаться в Вашингтоне, я преподавал конституционное право в Чикагском университете. Мне очень нравились занятия на юридическом факультете: своего рода момент истины, когда ты стоял перед целой аудиторией, не имея ничего, кроме мела и доски, а студенты смотрели, оценивали, кто с искренним интересом, кто с демонстративной скукой, мой вопрос, заданный, чтобы разрядить напряжение: «Ну и что же это за случай?» — медленно поднимающиеся руки, первые ответы, мои доводы против выдвинутых аргументов, и вот мало-помалу слова отпадали, точно шелуха, и оживало то, что минуту назад представлялось сухим и мертвым, и загорались глаза студентов, и учебник становился для них не только прошлым, но и их настоящим и будущим.

Иногда моя работа казалась мне схожей с лекциями профессоров богословия, которые читали там же, в

университете, потому что, подобно тем, кто преподавал Писание, я обнаружил, что моим студентам казалось, будто они знают Конституцию назубок, хотя на самом деле они в нее даже не заглядывали. Они привыкли оперировать фразами, которые где-то слышали, подтверждали ими доводы, которые казались им верными, и игнорировали положения, противоречившие их взглядам.

Наши основополагающие документы за два века ничуть не устарели. Это я больше всего ценил в конституционном праве и это же приучал ценить своих студентов. Им я мог служить поводырем, но не посредником, потому что, в отличие от Послания к Тимофею или Евангелия от Луки, эти документы — и Декларацию независимости, и «Записки федералиста», и Конституцию — писали люди, а не святые. Я говорил своим студентам, что все это — свидетельства намерений отцов-основателей, их споров, их закулисных интриг. Пусть мы и не всегда знаем, что творилось в их душах, мы можем по крайней мере рассеять туман времени и увидеть те идеалы, которые двигали их работой.

Как же должны мы понимать свою Конституцию и что говорит она о тех противоречиях, которые окружают сегодня работу наших судов? Внимательно прочтя основополагающие документы, мы увидим, что во многом наши воззрения были сформированы уже ими. Возьмем идею неотчуждаемых прав. Прошло больше двух столетий с написания Декларации независимости и принятия «Билля о правах», а мы все спорим о том, что такое обоснованный обыск, подразумевает ли Вторая поправка запрет на все виды оружия, можно ли оскорбление флага приравнять к политическому заявлению. Мы спорим о том, признаются ли Конституцией, прямо или косвенно, такие элементарные вещи из общего права, как право на заключение брака или право на сохранение физического здоровья, и можно ли руководствоваться этими правами в таких личных решениях, как аборт, пожизненная медицинская помощь или гомосексуальные связи.

Но при всех наших разногласиях в сегодняшней Америке нам трудно будет найти консерватора или либерала, республиканца или демократа, ученого мужа или простого рабочего, который не подписался бы под основными личными свободами, определенными отцами-основателями, закрепленными в Конституции и в общем праве: правом высказывать свое мнение; правом исповедовать любую религию или не исповедовать никакой; правом мирных собраний с целью обращения к правительству; правом владения, покупки и продажи частной собственности и невозможности ее конфискации без соответствующей компенсации; правом свободы от необоснованных обысков и захватов; правом не быть преследуемым государством без должной процедуры; правом на скорый и справедливый суд; правом, лишь с минимальными ограничениями, принимать решения относительно своей семейной жизни и воспитания детей.

Мы полагаем эти права всеобщими, воплощением самого смысла слова «свобода», пронизывающими все уровни власти и распространяющимися на всех людей, находящихся в границах нашего политического сообщества. Мы также признаем, что сама идея этих универсальных прав предполагает равную ценность любого индивидуума. В этом отношении, независимо от того, в какой части политического спектра мы находимся, мы все согласны с учением отцов-основателей.

Мы понимаем также, что Декларация — это еще не власть; одного только кредо еще не достаточно. Основатели признавали, что в идее личной свободы таится определенная угроза анархии, что в идее равенства есть нечто отравляющее, ибо, если все действительно равны, без скидок на место рождения, должность или унаследованное положение в обществе, если мое понимание веры ничем не хуже и не лучше вашего, а мои представления об истине, добре и красоте так же истинны, прекрасны и красивы, как ваши, то как же мы тогда создадим общество, способное к слиянию? Мыслители эпохи Просвещения — Гоббс, Локк — считали, что свободные люди должны формировать правительство на основе договора, так, чтобы свобода одного не стала тиранией для другого; что они должны жертвовать личной свободой во имя сохранения свободы всех. Основываясь на этой посылке, политические теоретики времен, предшествующих американской революции, приходили к выводу, что исключительно демократия может обеспечить как свободу, так и порядок, а демократия — это такая форма правления, при которой управляемые дают свое согласие и законы, ограничивающие свободу, всеобщи, понятны, прозрачны и распространяются как на управляющих, так и на управляемых.

Основатели глубоко впитали эти теории, но был один факт, против которого они ничего не могли возразить: мировая история к тому моменту знала всего несколько примеров удачно функционировавших демократий, да и те ограничивались лишь городами-государствами Древней Греции. В тринадцати штатах, раскинутых на огромной территории, с пестрым населением в три-четыре миллиона, афинскую модель демократии применить было нельзя, а прямые выборы на городском собрании, которыми пользовались в Новой Англии, грозили обернуться хаосом. Республиканская форма правления, при которой народ выбирает своих представителей, казалась наиболее оптимальной, но даже самые оптимистичные республиканцы сходились в том, что она хороша для географически компактного или более-менее однородного политического сообщества, в котором общая культура, общая вера и надежно сформированный набор гражданских добродетелей останавливали бы разногласия и споры.

Решение, к которому после долгих споров и многочисленных вариантов пришли отцы-основатели, несомненно, стало их вкладом во всемирную историю. Основные положения конституционной концепции Мадисона столь просты, что их может пересказать даже школьник: не только власть закона и представительного правления, не только «Билль о правах», но еще и разделение власти на три равноценные ветви, двухпалатный Конгресс, федерализм, при котором сохраняется самостоятельность правительств штатов, — все это вместе рассредоточивает власть, контролирует фракции, уравновешивает интересы и предохраняет от тирании как меньшинства, так и большинства. Более того, наша история подтвердила один из основных постулатов основателей: республиканское самоуправление гораздо более эффективно в большом и разнообразном обществе, где, говоря словами Гамильтона, «столкновение партий» и разнообразие мнений могут «обеспечить осмотрительность и обдуманность». При нашем понимании Декларации мы спорим о деталях построения Конституции; мы можем возражать против слишком уж расширенных прав Конгресса в области регулирования торговли в ущерб интересам штатов или слишком уж размытом праве Конгресса на объявление войны. Но все мы

уверены в незыблемости заложенного основателями фундамента и возведенного на нем здания демократии. Консерваторы и либералы — мы все конституционалисты.

Итак, если все мы верим в личные свободы и в эти правила демократии, в чем тогда суть современных споров между консерваторами и либералами? Если быть честными перед самими собой, мы должны признать, что в основном мы спорим о результатах — о решениях, которые суды и законодательная власть принимают по основным, зачастую непростым вопросам, из которых и состоит наша жизнь. Должны ли мы позволять учителям вставать на молитву вместе с большинством детей, допуская, что вероисповедание меньшинства при этом не уважается? Или мы должны запретить молитву и вынудить верующих родителей по восемь часов в день выпускать своих детей в нечестивый мир? Порядочно ли поступает руководство университета, когда вспоминает об истории расовой дискриминации, заполняя ограниченное количество мест на медицинском факультете? Или же этика требует, чтобы университет принимал заявление у любого абитуриента, независимо от цвета его кожи? Мы устроены так, что если какое-нибудь процедурное правило — скажем, обструкция или толкование Конституции Верховным судом — помогает нам в споре и приводит к желаемому результату, по крайней мере, в тот момент это правило представляется нам прекрасным. Если же оно не помогает нам победить, то нравится уже куда меньше.

В этом смысле мой коллега по Законодательному собранию Иллинойса был прав, когда сказал, что споры о Конституции сегодня невозможно отделить от политики. Но в этих дебатах о Конституции и роли судов важны не только и не столько их результаты. Мы спорим и о том, как надо спорить — шумно, громогласно, у всех на виду или тихо договариваясь между собой. Мы хотим идти своим путем, но большинство из нас признают необходимость стабильности, предсказуемости и объединения. Мы нуждаемся в справедливых правилах, управляющих нашей демократией.

Следовательно, спорим ли мы об абортах или о сожжении флага, мы апеллируем к высшему авторитету — отцам-основателям или авторам Конституции, чтобы они указали нам верное направление. Судья Скалия, например, считает, что необходимо следовать исходному смыслу, и если мы будем строго придерживаться этого правила, значит, будем уважать демократию.

Другие, как судья Брейер, не оспаривают важности исходного смысла понятий. Но они настаивают, что исходный смысл иногда ставит слишком жесткие рамки и что в особо сложных случаях, в особо жарких спорах мы должны учитывать контекст, историческую обстановку и практические последствия принимаемого решения. Если придерживаться этой точки зрения, нужно согласиться, что отцы-основатели разъяснили нам, как надо думать, но вот что надо думать — это уже наше дело. Ведь у нас своя голова на плечах, наши доводы и наши мнения, на которые мы и должны полагаться.

Кто же прав? Я вовсе не против позиции судьи Ска-лии; действительно, во многих случаях язык Конституции абсолютно ясен и вполне применим. Нет нужды спорить о частоте проведения выборов, о возрасте президента или о том, что избранные на должность судьи обязаны как можно строже придерживаться ясного значения того или иного текста.

Более того, я разделяю почтение, которое строгие конституционалисты питают к отцам-основателям; я и сам думаю, понимали ли основатели важность того, что они совершили? Ведь они не просто написали Конституцию вскоре после революции; они обосновали ее в «Записках федералиста», провели через процедуру ратификации, дополнили «Биллем о правах», и все это за каких-то несколько лет. Мы сейчас читаем эти документы, и они кажутся настолько незыблемо верными, что легко поверить, будто они созданы если не божественным вдохновением, то уж по крайней мере естественным правом. Поэтому я уважаю убеждение судьи Скалии, и не его одного, что наша демократия должна рассматриваться как нечто окончательное и незыблемое; а также мнение фундаменталистов о том, что если мы будем неуклонно следовать первоначальному смыслу нашей Конституции и сохраним верность правилам, принятым еще отцами-основателями, то добьемся успеха и все наши старания будут вознаграждены.

И все же я разделяю взгляд судьи Брейера — наша Конституция не застывший, а живой документ и должна рассматриваться в контексте постоянно изменяющегося мира.

Да и может ли быть иначе? Текст Конституции содержит основополагающий принцип о том, что правительство не имеет права подвергать нас незаконному обыску. Но она ничего не говорит о взглядах основателей на обоснованность извлечения информации из компьютера, что широко практикуется в Управлении национальной безопасности. Текст Конституции требует защищать свободу слова, но он не объясняет нам, как эту свободу следует понимать во времена существования интернета.

Далее, хотя Конституция в основном написана совершенно четко и ясно, наше понимание ее важнейших положений, таких как пункты о надлежащей правовой процедуре или о равной защите законом, со временем сильно изменилось. Буквальное толкование Четырнадцатой поправки, скажем, совершенно определенно допускает дискриминацию по половому признаку и даже расовую сегрегацию, а к такому равенству вряд ли захочет вернуться кто-нибудь из нас.

И наконец, тот, кто пожелает разрешить наши современные споры, прибегнув к строгому толкованию Конституции, обязательно столкнется с еще одной проблемой: ведь и сами основатели, и те, кто принимал Конституцию, яростно спорили о значении своего шедевра. Не успели высохнуть чернила в рукописи Конституции, как заговорили не только о менее важных положениях, но и о самых первых статьях, и не только второстепенные, но и виднейшие деятели революции. Спорили о том, сколько власти должно иметь общенациональное правительство, чтобы управлять экономикой, чтобы отменять законы штатов, чтобы формировать действующую армию, чтобы управлять долгом. Спорили о роли президента в заключении договоров с зарубежными странами, о роли Верховного суда в законотворческом процессе. Спорили о значении таких элементарных прав, как свобода слова и свобода собраний, а в некоторых случаях, когда какому-нибудь штату угрожала опасность, все эти права легко и просто игнорировались. С учетом того, что мы знаем обо всех этих словесных баталиях, когда бесконечно перезаключались союзы и тактика борьбы менялась прямо на ходу, трудно представить себе, что двести лет тому

назад какой-нибудь судья мог быть уверен, что точно знает намерения отцов основателей.

Некоторые историки и теоретики права идут еще дальше в своих возражениях против строгого толкования Конституции. Они утверждают, что Конституция появилась на свет совершенно случайно, что она составлялась не строго методично, а горячо и не слишком обдуманно; что мы никогда не узнаем «истинных намерений» отцов-основателей по той простой причине, что намерения Джефферсона были совершенно другими, чем намерения Гамильтона, а намерения Гамильтона сильно отличались от намерений Адамса; и так как правила Конституции соответствовали времени, месту и целям людей, их создававших, то наше толкование этих правил будет неизбежно отражать те же обстоятельства, те же яростные споры, те же императивы, пусть и облеченные в высокопарные фразы, которые характерны для фракций, правящих до сих пор. И точно так же, как я признаю все достоинства строгого толкования, я вижу определенную привлекательность в разрушении мифа, в убеждении, что текст Конституции не так уж жестко ограничивает нас, что мы можем защищать наши собственные ценности, не особо привязываясь к дремучим традициям давнего прошлого. Это свобода релятивиста, нарушителя правил, подростка, который открыл для себя, что его родители не образец совершенства, и научился дурачить и того и другого, — то есть свобода отступника.

Но даже и такое отступничество совсем меня не удовлетворяет. Может, я слишком привязан к мифу основания, чтобы с легкостью его отвергнуть. Может, подобно тем, кто отвергает Дарвина и придерживается теории разумного замысла, я предпочитаю верить, что кто-то всем рулит. В конце концов, я не перестаю задавать себе один и тот же вопрос: допустим, в Конституции речь идет только о власти, а не о принципах и мы только поправляем и дополняем ее со временем. Почему же тогда наша собственная республика не только оказалась жизнеспособной, но и стала, так сказать, типовой моделью для многих процветающих ныне государств?

Ответ, к которому я прихожу и который отнюдь не оригинален, требует некоторого сдвига метафор, чтобы демократия представлялась не домом, который надо построить, а беседой, которую надо провести. Под этим углом зрения гениальность замысла Мадисона не в том, что он снабдил нас расписанным порядком действий, наподобие того как архитектор последовательно создает проект дома. Он наметил лишь общие контуры, дал общие правила, и следование этим правилам совершенно не гарантирует построения справедливого общества и единодушного мнения о том, что верно, а что нет. Эти правила не решают, хорош или плох аборт, должен ли он быть решением женщины или регулироваться законодательством. Точно так же они не утверждают, что школьная молитва перед уроками — это лучше, чем вообще никакой молитвы.

Рамки, установленные нашей Конституцией, лишь упорядочивают те методы, которые мы используем в спорах о будущем. Весь хитроумный механизм — разделение властей, сдержанность и уравновешенность, федеративные принципы и «Билль о правах» — волей-неволей вынуждает нас к беседе, к «совещательной демократии», в которой все граждане вовлекаются в процесс проверки своих идей жизнью, убеждения других в своей точке зрения, создания союзов. Так как власть в нашем обществе сильно размыта, процесс законотворчества в Америке вынуждает нас принять как данность, что мы не всегда бываем правы и иногда необходимо поменять решение; он заставляет нас постоянно пересматривать наши мотивы и наши интересы и предполагает, что как отдельное, так и общее мнение одновременно и точны, и весьма ошибочны.

Факты истории подтверждают эту точку зрения. Ведь если основателями и двигал какой-нибудь единый порыв, это наверняка было отрицание любого абсолютного властителя — короля, теократа, генерала, олигарха, диктатора, большинства, кого бы то ни было, в общем, любого, кто делает выбор за нас. Джордж Вашингтон именно поэтому отказался от короны Цезаря и не стал переизбираться на третий срок. Гамильтон не последовал этому порыву и поэтому не смог возглавить Новую армию; после принятия законов об иностранцах и подстрекательстве к мятежу из-за этого же пострадала и репутация Адамса. Именно Джефферсон, а не какой-нибудь либеральный судья шестидесятых годов призывал к возведению стены между Церковью и государством, и если мы отказались следовать этому призыву и избежали тем самым революций через каждые два-три поколения, то только потому, что Конституция уже обеспечивала надежную защиту против тирании.

Отцы-основатели выступали не только против абсолютной власти. В самой структуре, в самой идее упорядоченной свободы содержался отказ от абсолютной истины, от непогрешимости любой идеи, идеологии, теологии или «-изма», тиранического общества, которое повернет будущие поколения на единый, неизменный курс, подтолкнет большинство и меньшинство к инквизиции, погромам, тюрьмам, джихаду. Основатели, конечно же, верили в Бога, но в согласии с духом Просвещения верили в разум и чувства, которыми Бог наделил их. Они с подозрением относились к любой абстракции и любили задавать вопросы, поэтому в нашей ранней истории теория всегда поверялась фактом и целесообразностью. Джефферсон способствовал усилению власти нашего общегосударственного правительства даже тогда, когда он призывал к разрушению и уничтожению этой власти. Адамсовский идеал политики, основанной исключительно на общественном интересе, по сути политики без политики, устарел раньше, чем Вашингтон оставил свой пост. Да, взгляды основателей вдохновляют нас до сих пор, но именно их реализм, их практичность, гибкость и любознательность обеспечили жизнеспособность Соединенных Штатов.

Признаю, что все эти мои рассуждения о Конституции и нашем демократическом процессе весьма и весьма умеренны. Может показаться, что я пою хвалу компромиссу, умеренности и продуманности, что я оправдываю принцип «ты — мне, я — тебе», соглашательство, эгоизм, казенные кормушки, паралич и неэффективность власти — всю эту малоаппетитную политическую кухню, о которой никто не желает знать и которую наши журналисты всегда называли коррупцией. Но, думаю, мы ошибались, предполагая, что осмотрительность в демократии подразумевает отказ от наших высоких идеалов или от стремления к общему благу. Ведь Конституция гарантирует нам свободу слова не только для того, чтобы мы орали как можно громче, не слушая при этом своего собеседника (хотя у нас есть и такое право). Она дает нам возможность подлинного обмена идеями, когда «столкновение партий» происходит в целях «обеспечения осмотрительности и продуманности», своего рода рынка, на котором в спорах и прениях мы можем расширить свои горизонты, изменить свою точку зрения и в конце концов достигнуть не просто соглашения, но соглашения разумного и честного.

Конституционная система сдерживания и уравновешивания, федерализма и разделения властей вполне может привести к образованию групп, преследующих свои узкие интересы, но этого не происходит. Размывание власти может заставить эти группы учитывать интересы других и вообще со временем поменять представление о собственных интересах.

Отказ от абсолютизма, заключенный в самой структуре нашей Конституции, иногда играет с нашими политиками злую шутку — кажется, что у них нет вовсе никаких принципов. Но почти во всей нашей истории именно Конституция поощряла сам процесс сбора и анализа информации, а также споры, в которых рождался пусть не самый лучший, но верный выбор не только средств для достижения наших целей, но и самих этих целей. Выступаем ли мы за или против компенсационной дискриминации, за или против молитвы в школах, мы должны сверять наши идеалы, взгляды и ценности с реалиями повседневной жизни, чтобы в свое время их сменили пересмотренные, улучшенные новые идеалы, уточненные взгляды, углубленные ценности. Как писал Мадисон, именно этот процесс и привел к появлению Конституции — воззрение, что «человек обязан придерживаться своих убеждений постольку, поскольку он уверен в их правильности и истинности, и должен быть всегда открыт силе аргумента».

В общем и целом Конституция представляет собой своего рода ориентир, по которому мы сверяем чувства и разум, идеал личной свободы и требования общественной жизни. Удивительно, сколько лет она уже прослужила нам. В первые дни союза, в годы депрессий и мировых войн, в годы радикальной перестройки экономики, продвижения на Запад, в годы, когда миллионы иммигрантов высаживались на наших берегах, наша демократия выжила и теперь процветает. Конечно, годы войн и упадка становились для нее временем испытаний и, без сомнения, множество испытаний предстоит ей и в будущем.

Но всего по одному вопросу общий язык не был найден, и более того, отцы-основатели вообще отказывались говорить об этом.

Если говорить словами историка Джозефа Эллиса, то Декларация независимости, возможно, и была «переломным моментом мировой истории, когда все законы и взаимоотношения между людьми, основанные на принуждении, были навсегда уничтожены». Но этот дух свободы, по мысли основателей, не распространялся на рабов, которые обрабатывали их поля, заправляли их постели, нянчили их детей.

Совершенный механизм Конституции был призван охранять права граждан, достойных членов политического сообщества Америки. Но те, кто не входил в этот круг, никак не защищались, — ни коренное население, договоры с которым оказались бессильными перед судом завоевателей, ни чернокожий Дред Скотт, который вошел в Верховный суд свободным человеком, а вышел из него рабом.

Дальновидность демократов могла быть достаточной для распространения права голоса на белых, не имеющих собственности, и впоследствии на женщин; логика, аргументы и американский прагматизм, может быть, и облегчили боли роста экономики великой нации и уменьшили религиозные и классовые трения, ставшие настоящим бичом других стран. Но одна лишь дальновидность не могла предоставить свободу рабам или освободить Америку от ее первородного греха. В конце концов цепи пришлось разрубать мечом.

Что же это говорит о нашей демократии? Существует научная школа, которая видит в отцах-основателях только лицемеров, а в Конституции — предательство великих идеалов, заявленных в Декларации независимости, и которая согласна с первыми аболиционистами в том, что Великий компромисс между Севером и Югом был чуть ли не договором с дьяволом. Сторонники более привычных взглядов настаивают, что все компромиссы Конституции, касающиеся рабства, — например, искоренение духа аболиционизма из первого варианта Декларации, пункт о трех пятых, о беглых рабах, об импорте, о запрещении прений, которые ввел двадцать четвертый Конгресс по любому вопросу, касающемуся рабовладения, сама структура федерализма и Сената — были необходимостью, насущным требованием для создания союза; что, не сказав ни слова о рабстве, отцы-основатели хотели только оттянуть то, что, как они были убеждены, станет его концом; что эта единственная их ошибка не может умалить гениальности Конституции, которая разрешила аболиционистам высказывать свою точку зрения, дебатировать, после Гражданской войны создала условия для принятия Тринадцатой, Четырнадцатой и Пятнадцатой поправок и окончательного формирования государства.

Как же могу я, американец, в жилах которого течет африканская кровь, принять какую-либо сторону в этом споре? Никак. Я очень люблю Америку, вложил и свою лепту в ее процветание, очень привязан к ее устройству, красоте и даже безобразию, и я, в общем, мало сосредотачиваюсь исключительно на обстоятельствах ее рождения. Но я не могу сбрасывать со счетов ни масштаб совершенных здесь злодеяний, ни призраков прошлого, ни открытых ран и болезней, которые все еще терзают нашу страну.

Перед лицом нашей истории я могу, пожалуй, напоминать себе, что не всегда свобода создавалась лишь прагматизмом, доводами разума или силой компромисса. Упрямые факты говорят мне, что несгибаемые идеалисты вроде Уильяма Ллойда Гаррисона первыми возвысили свой голос в защиту справедливости; что именно рабы и освобожденные рабы, такие как Денмарк Визи и Фредерик Дугласе, женщины, как Гарриет Табман, утверждали, что власти ничего не уступят без борьбы. Страстные речи Джона Брауна, его готовность не только словами, но и кровью защищать свои взгляды помогли осознать, что наша власть не сможет постоянно пребывать в состоянии полурабства-полусвободы. История напоминает мне, что осмотрительность и конституционный порядок бывают иногда привилегией власть имущих, но за новый порядок чаще всего борются чудаки, фанатики, пророки, агитаторы, безрассудные, то есть люди крайних взглядов. Именно поэтому я не могу отмахнуться от тех, кто сегодня выступает так же горячо, — ни от противников абортов, которые пикетируют мою встречу с общественностью, ни от защитников прав животных, которые громят какую-нибудь лабораторию, — пусть даже в душе я их совсем не поддерживаю. Я лишен даже уверенности в неуверенности, ведь иногда и абсолютные истины могут быть действительно абсолютными.

Я согласен с Линкольном, который, как никто ни до, ни после него, хорошо понимал, что наша демократия имеет и совещательную функцию, и границы этой совещательное™. Мы помним твердость и глубину его убеждений, его категорическое неприятие рабства и уверенность в том, что, если дом разделится сам в себе, не сможет

устоять дом тот. Но практические стороны его президентства могли бы сегодня показаться неприемлемыми; сама жизнь заставляла его идти на договоренности с южанами, чтобы сохранить союз без войны, назначать и снимать генералов, пробовать то одну, то другую стратегию, когда война все же разразилась, безразмерно растягивать положения Конституции, чтобы война наконец успешно завершилась. Мне нравится думать, что Линкольн никогда не менял своих убеждений в интересах целесообразности. Скорее в душе ему необходимо было сохранить равновесие между двумя противоположными стремлениями — во-первых, что нам нужно достичь взаимопонимания путем переговоров именно потому, что никто из нас не совершенен и не может действовать с такой уверенностью, как будто сам Господь Бог на его стороне; но, во-вторых, иногда нужно все-таки действовать так, как будто мы уверены, что только Провидение способно защитить нас от ошибок.

Это самосознание, эта сдержанность позволили Линкольну сохранить свои принципы в условиях нашей демократии, среди речей и споров, среди таких аргументов, которые взывали к лучшим сторонам натуры любого человека. Когда договоренность между Севером и Югом стала невозможной, а война неизбежной, эта сдержанность позволила ему уберечься от соблазна очернения тех семей, которые сражались на другой стороне, и от преуменьшения ужасов войны, пусть даже и справедливой. Кровь рабов напоминает нам, что прагматизм иногда оборачивается трусостью. Линкольн и те, кто похоронен в Геттисберге, напоминают нам, что мы должны отстаивать наши абсолютные истины, только если признаем, что можем заплатить ужасную цену.

Все эти полуночные размышления оказались необязательными, когда я быстро принял решение о кандидатурах, предложенных Джорджем Бушем на посты в Федеральном апелляционном суде. В конце концов кризис в Сенате удалось если не преодолеть, то хотя бы оттянуть: семеро сенаторов-демократов согласились не подвергать обструкции троих из пятерых предложенных Бушем сомнительных кандидатов и пообещали, что будут прибегать к обструкции лишь при более «чрезвычайных обстоятельствах». В ответ на это семеро республиканцев согласились проголосовать против «крайнего средства», которое могло бы навсегда покончить с обструкцией, — опять же с оговоркой, что могут и передумать в случае «чрезвычайных обстоятельств». Какие это такие «чрезвычайные обстоятельства», толком никто не мог сказать, но активные деятели как республиканцев, так и демократов, которым не терпелось ринуться в схватку, жаловались на капитуляцию своих партий.

Я отказался присоединяться к тому, что можно было бы назвать «бандой четырнадцати»; с учетом личностей судей, которые в ней участвовали, было трудно представить, какая кандидатура может быть настолько хуже, что создаст «чрезвычайные обстоятельства», при которых может потребоваться обструкция. Но я не мог обвинять своих коллег за их ошибки. Демократам все же удалось принять достойное решение — без договоренности «крайняя мера» вполне могла бы пройти через Сенат.

Больше всех радовался такому повороту событий сенатор Берд. В тот день, когда объявили, что договоренность достигнута, он с видом триумфатора прошел по залам Капитолия вместе с республиканцем Джоном Уорнером, депутатом от Виргинии, а на почтительном расстоянии за этими старыми львами следовали более молодые члены их команды. «Мы сохранили республику!» — громко объявил Берд группе репортеров, а я улыбнулся, вспомнив о том визите, для которого мы оба выкроили наконец время пару месяцев назад.

Я пришел в небольшой офис сенатора, расположенный на первом этаже Капитолия и зажатый между красиво отделанными комнатами, где в свое время регулярно заседали сенатские комитеты. Секретарь провел меня в его кабинет, заполненный книгами, какими-то старыми рукописями, фотографиями и сувенирами, сохраненными на память о разных кампаниях. Сенатор Берд спросил, не буду ли я возражать против того, чтобы сфотографироваться, и мы сделали несколько снимков. Репортеры и секретарь ушли, и мы с сенатором уселись в основательно уже потрепанные кресла. Я спросил его, как здоровье жены, поскольку слышал, что ей стало хуже, поинтересовался, что за люди изображены на фотографиях, и задал вопрос: что бы он посоветовал мне как вновь избранному сенатору?

— Заучите наизусть все правила, — ответил он, — не только правила, но еще и прецеденты.

Он указал на ряды толстых папок за его спиной с написанными от руки наклейками.

— Мало кто это сейчас читает. Все торопятся, времени у сенаторов совсем нет. Но эти правила — ключ к дверям Сената.

Мы поговорили об истории Сената, о президентах, с которыми он работал, о законопроектах, которые продвигал. Берд сказал, что в Сенате у меня все может получиться, только не надо спешить, — сколько сенаторов рвутся сегодня в Белый дом как оголтелые, забывая, что по Конституции верховная власть принадлежит Сенату, что он есть сердце нашего государства.

— Конституцию сейчас почти никто не читает, — продолжал сенатор, вынимая из пиджака томик карманного

формата. — А я всегда говорил, что мне нужны только эта книга да еще Библия.

Перед моим уходом он попросил секретаря принести написанную им историю Сената, желая сделать мне подарок. Он не спеша положил великолепно изданные книги на стол и потянулся за ручкой, чтобы сделать дарственную надпись. Я заметил, как ему повезло, что он нашел время для такого серьезного труда.

— Да-да, повезло, — ответил он, задумчиво покачивая головой. — Есть за что сказать спасибо. Пожалуй, я бы не так много поменял...

Тут он приостановился, пристально взглянул мне в глаза и закончил:

— Об одном только жалею. Если бы молодость знала, понимаете ли...

Мы помолчали, явственно ощутив разделяющие нас годы и опыт.

— У всех есть о чем жалеть, сенатор, — сказал я. — Нужно лишь молиться, чтобы в самом конце благодать Божия не оставила нас.

Он еще раз пристально посмотрел на меня, тонко улыбнулся и открыл первый том:

— Благодать Божия... Ну конечно, конечно... Дайте-ка я вам подпишу.

И, придерживая одну руку другой для уверенности, медленно вывел на странице свое имя.

ГЛАВА 4 Политика

Одно из моих любимейших занятий на посту сенатора — встречи с общественностью. За все время работы я провел их тридцать девять, по всему Иллинойсу, в крошечных городишках наподобие Анны и в процветающих пригородах, таких как Нейпервилл, в черных церквях Са-утсайда и колледжах Рок-Айленда. Проходят они обычно без всякой шумихи. Для начала мои сотрудники звонят в местную среднюю школу, библиотеку или колледж и интересуются, не желают ли там организовать такую встречу. Где-то за неделю до намеченной даты мы даем объявление в местной газете, церковной общине и на радиостанции. В сам день встречи я прихожу пораньше, примерно за полчаса, знакомлюсь с местным руководством и расспрашиваю о том, что волнует здесь людей больше всего, — допустим, о ремонте дорог или о строительстве нового дома престарелых. После обязательного фотографирования мы заходим в зал, где уже собрались слушатели. По пути к сцене я пожимаю протянутые мне руки; на самой сцене практически ничего нет — только трибуна, микрофон, бутылка воды и американский флаг. И здесь почти час, а иногда и дольше отвечаю на вопросы тех, кто послал меня в Вашингтон.

Количество участников таких встреч может быть самым разным: приходило и пятьдесят человек, и больше двух сотен. Но, сколько бы их ни было, я всегда благодарен этим людям. Они — срез населения тех округов, куда мы ездим: республиканцы и демократы, старые и молодые, полные и не очень, водители-дальнобойщики, профессора колледжей, матери-домохозяйки, ветераны, школьные учителя, страховые агенты, аудиторы, секретари, врачи, социальные работники. Как правило, они вежливы и внимательны, даже если не согласны со мной (или друг с другом). Они расспрашивают меня об отпуске лекарств по рецепту, дефиците бюджета, правах человека в Мьянме, этаноле, птичьем гриппе, финансировании школьного образования, космических программах. Частенько они меня удивляют: молодая блондинка где-нибудь на далекой ферме может страстно обсуждать положение в Дарфуре, а чернокожий джентльмен почтенного возраста в самом центре города с полным знанием дела говорит об охране почвенных ресурсов.

Когда я выступаю перед такими простыми людьми, то всегда волнуюсь. В их манере держать себя видно трудолюбие. Они обращаются со своими детьми так, что видно, как они на них надеются. Такие встречи — как прыжок в холодную реку. После них я всегда как будто чисто вымытый, всегда радуюсь, что избрал именно эту работу.

В конце люди подходят ко мне, пожимают руку, фотографируются или подводят детишек, чтобы те взяли у меня автограф. В руках у меня оказываются газетные статьи, визитные карточки, записки, военные медальоны, предметы религиозных культов, талисманы. И обязательно кто-нибудь, взяв меня за руку, скажет, что они очень на меня надеются, но боятся, как бы Вашингтон не изменил меня и я не стал таким же, как все, кто находится у власти.

Не меняйтесь, пожалуйста, говорят мне.

Не разочаровывайте нас.

Американцы привыкли объяснять проблемы политической жизни личными качествами политиков. Временами они просто не выбирают выражений: президент — болван, а сенатор такой-то — бездельник. Бывает, вынесут и целый приговор: «Да все они там продаются!» Большинство избирателей считает, что в Вашингтоне лишь играют в политику, что все обсуждения и голосования происходят без всякого зазрения совести, что все делается в угоду интересам предвыборной кампании, рейтингу, верности партии, но вовсе не по-честному. Очень часто по первое число достается политику из своей же партии, демократу, «который ничего не защищает», или республиканцу, «который только так называется». Отсюда следует, что, если мы хотим что-нибудь изменить в Вашингтоне, необходимо избавиться от непорядочных людей.

Но год за годом они сохраняют свои места — количество переизбранных членов Палаты представителей доходит до девяноста шести процентов.

Политологи представят вам множество объяснений этого феномена. В сегодняшнем мире, где все тесно переплетено, трудно воззвать к чувствам вечно занятых и куда-то спешащих избирателей. Следовательно, политическая победа сводится к тому, чтобы тебя узнали. Поэтому большинство деятелей тратят неимоверное количество времени между выборами на то, чтобы их имя оставалось на слуху, — перерезают ленточки на открытиях чего-нибудь, участвуют в парадах в День независимости или в утренних ток-шоу по воскресеньям. Есть еще и хорошо известный прием по сбору средств, которым многие охотно пользуются, потому что группы по интересам — не важно, правые или левые, — стремятся набрать очки, когда речь заходит о пожертвованиях. Нельзя забывать и о роли политических махинаций в изолировании членов палаты от сколько-нибудь серьезных угроз: в наше время почти каждый избирательный округ по выборам в Конгресс руководящая партия рисует с компьютерной точностью, чтобы обеспечить явное большинство республиканцев или демократов на своей территории. Без преувеличения можно сказать, что избиратели теперь не выбирают своих представителей, скорее наоборот — представители выбирают избирателей.

Существует и еще один фактор; о нем не часто говорят, но именно он и объясняет, почему опросы показывают, что граждане терпеть не могут Конгресс, но при этом любят своих конгрессменов. В это трудно поверить, но политики, оказывается, милейшие люди.

Безусловно, я скажу то же самое о своих коллегах по Сенату. Когда мы один на один, о лучшей компании остается только мечтать — редко встретишь таких рассказчиков, как Тед Кеннеди или Трент Лотт, таких острословов, как Кент Конрад или Ричард Шелби, таких радушных, как Дебби Стебнау или Мел Мартинес. Как правило, все они умны, вникают в любую проблему, трудолюбивы и готовы без устали трудиться в интересах своих штатов. Да, были и такие, которые полностью соответствовали стереотипу, которые могли уболтать любого собеседника и грубить своим сотрудникам; и чем дольше я работал в Сенате, тем чаще во всех сенаторах замечал недостатки, более-менее свойственные всем нам, — несдержанность, необъяснимое упрямство или непомерное тщеславие. Но надо сказать, процент этих недостатков оказался в Сенате не выше, чем в любом другом произвольно выбранном сегменте нашего общества. В разговорах даже с теми коллегами, с которыми я расходил-

ся буквально по всем пунктам, я отмечал про себя их искренность, их желание работать и сделать страну лучше и сильнее, их стремление представлять своих избирателей и оставаться верным своим ценностям настолько, насколько это позволяют обстоятельства.

Так почему же в глазах общественного мнения эти мужчины и эти женщины предстают мрачными, жесткими, беспринципными, подлыми личностями, какими их рисуют вечерние новости? Почему принято думать, что разумные, совестливые люди не могут прорваться к управлению государством? Чем дольше я работал в Вашингтоне, тем внимательнее друзья приглядывались ко мне, то ли ища на моем лице следы высокомерия, то ли готовности к спору или, напротив, обороне. Я и сам задавался такими же вопросами; я стал замечать в себе те же черты, что видел в своих коллегах, и боялся, как бы не уподобиться стереотипному политику из не менее стереотипного телефильма.

Я начал с того, что решил разобраться в природе амбициозности, потому что, по крайней мере в этом отношении, все сенаторы отличаются друг от друга. Мало кто попадает в число сенаторов США случайно. Как минимум для этого требуется своего рода мания величия, искренняя вера в то, что среди всех способных людей нашего штата только у вас есть какой-то особый, необыкновенный дар и вы можете выступать от их имени. Кроме всего прочего, вы должны твердо знать, что выдержите временами возвышающий, иногда унижающий, но неизменно чуть смешной процесс, который мы называем кампаниями.

Но и одних амбиций тоже недостаточно. Среди множества мотивов, и возвышенных, и приземленных, которые побуждают нас стремиться к сенаторскому креслу, те, кто хочет преуспеть, должны продемонстрировать почти фанатическую прямоту, часто при этом жертвуя своим здоровьем, отношениями, душевным спокойствием и достоинством. После того как закончились предварительные выборы, я, помню, посмотрел в календарь и увидел, что за полтора года у меня набралось ровно семь выходных дней. Все остальное время я работал по двенадцать — шестнадцать часов в сутки. Гордиться здесь особенно нечем. Мишель во время той кампании не раз говорила мне, что это просто ненормально.

Поведение сенатора, однако, зависит не только от его амбиций или прямоты. Есть еще одна эмоция, вездесущая и разрушительная, эмоция, которая начиная с головокружительного дня, когда вас объявляют кандидатом, буквально хватает вас за шкирку и не отпускает до самого дня выборов. Эта эмоция — страх. Но не просто страх поражения — это еще полбеды, — а страх полного, абсолютного унижения.

К примеру, я до сих пор с ужасом вспоминаю один свой разгром, буквально наголову, полученный в 2000 году от Бобби Раша, тогда сенатора от Демократической партии. Это была настоящая охота, где все, что только можно, шло неправильно и мои ошибки превращались сначала в трагедию, а потом в фарс. Через две недели после объявления меня кандидатом, собрав всего несколько тысяч долларов, я попросил организовать первый опрос общественного мнения и обнаружил, что мистер Раш набрал почти девяносто процентов голосов, тогда как я — всего одиннадцать. Его деятельность одобрили примерно семьдесят процентов опрошенных, а мою — восемь. Так жизнь научила меня одному из главных правил современной политики: проводить опросы перед тем, как выставляешь свою кандидатуру.

С того дня все пошло вразнос. В октябре, собираясь на встречу, где я должен был заручиться поддержкой одного из немногих деятелей партии, который еще не поддержал моего оппонента, я услышал по радио, что взрослого сына конгрессмена Раша неподалеку от дома застрелили двое торговцев наркотиками. Сочувствуя ему, я приостановил кампанию на месяц.

Потом, когда начались рождественские каникулы и я на пять дней съездил на Гавайи в гости к бабушке и наконец-то выкроил время для Мишель и Малий, которой тогда было всего восемь месяцев, Законодательное собрание штата собралось на специальную сессию для голосования по законопроекту об ограничении продажи оружия и усилении контроля над ними. Малия заболела, мы не смогли вылететь, я пропустил голосование, проект не прошел. Через два дня мы прилетели ночным рейсом в аэропорт О'Хара, Малия хныкала, Мишель со мной не разговаривала, и первое, что я прочел, была статья на первой полосе «Чикаго трибюн», из которой я узнал, что законопроект не добрал всего нескольких голосов и что мистер Обама, сенатор и кандидат в Конгресс, «предпочел работе» отдых на Гавайях. Позвонил руководитель моей избирательной кампании и сообщил еще одну новость. К выпуску готовился рекламный ролик — среди пальм в пляжном кресле сидит человек с бокалом коктейля майтай в руке и соломенной шляпе на голове, переливчато играет гавайская гитара, а голос за кадром объясняет: «В то время когда Чикаго переживает высочайший в своей истории всплеск преступности, Барак Обама...»

Тут я прервал его — все было ясно и так.

И вот, пройдя меньше половины предвыборной кампании, я интуитивно понял, что начинаю проигрывать. Каждое утро с того самого дня я просыпался в ужасе с мыслью, что опять придется пожимать руки, улыбаться и делать вид, что все идет нормально. За несколько недель до предварительных выборов дела пошли чуть лучше: я удачно провел дебаты, которые не особенно освещались в прессе, получил поддержку своих предложений в области здравоохранения и образования и даже одобрение в «Трибюн». Но уже сработало правило «кто не успел, тот опоздал». Я пришел отпраздновать победу и обнаружил, что отстаю.

Не хочу сказать, что такие черные полосы случаются только у политиков. Дело в том, что, в отличие от большинства людей, которые имеют возможность залечивать свои раны в тишине, политик проигрывает у всех на виду. Зал полупустой, и ты радостно читаешь заявление о признании поражения, невозмутимо утешаешь сотрудников и сторонников, звонишь тем, кто тебе помогал, говоришь слова благодарности и робко забрасываешь удочку насчет того, не согласятся ли они и дальше с тобой работать — конечно, с выплатой всех накопившихся долгов. Ты делаешь все это как можно лучше, но, как ни стараешься подбодрить себя, объясняя поражение непродуманным планом действий, невезением или нехваткой денег, в какой-то момент все равно приходит чувство, что общество тебя отталкивает, что ты просто не дотягиваешь до его ожиданий и что, где бы ты теперь ни появился, на тебе будет висеть ярлык «неудачник». Многие испытывали такое чувство последний раз только в средней школе, когда девочка, по которой ты с ума сходишь, вдруг жестоко вышучивает тебя на глазах своих подруг, или

когда ты пропускаешь пару бросков в ответственной игре, — а ведь взрослые люди мудро стараются избегать подобного в своей жизни.

И вот представьте себе, что такие эмоции обрушиваются на известного политика средних лет, который (не то что я) вообще редко проигрывал, который еще со средней школы привык руководить, который от имени всего класса произносил прощальную речь, отец которого был сенатором или адмиралом и которому с детства твердили, что его ждут великие дела. Как-то я говорил с членом правления крупной корпорации, который горячо поддерживал вице-президента Альберта Гора в президентской кампании 2000 года. Мы сидели в его роскошном кабинете, выходившем окнами на Мидтаун, и он заговорил со мной о встрече, которая состоялась примерно через полгода после выборов, когда Гор искал спонсоров для своей тогда еще новой телевизионной компании.

— Так было странно... — вспоминал этот человек, — ведь он был вице-президентом, всего несколько месяцев назад почти самым могущественным человеком на планете. Когда шла его кампания, он мог звонить мне в любое время суток, и ради него я без звука менял все свои планы. Но после выборов, когда он вошел в кабинет, я не мог отделаться от чувства, что эта встреча была ему крайне неприятна. Мне неловко об этом вспоминать потому, что Гор на самом деле мне нравился. Но теперь он не был вице-президентом. Передо мной стоял просто посетитель, один из тех, которые по сто раз на дню приходят ко мне и просят денег. Вот тогда я и понял, на каком опасном обрыве стоите вы, политики.

Когда стоишь на обрыве, жди падения. За последние пять лет Гор доказал, что жизнь после политики вовсе не кончается, и, я думаю, тот член правления еще не раз и с удовольствием отвечал на звонки бывшего вице-президента. Но, наверное, после поражения в 2000 году Гор заметил перемену в своем друге. Сидя в этом же самом кабинете, рассказывая о своей телевизионной компании, старательно сохраняя хорошую мину при плохой игре, он наверняка думал, что оказался в смехотворном положении; что он проиграл дело всей своей жизни из-за итогов какого-то жалкого голосования, а вот его приятель, руководитель, который сидит сейчас напротив и снисходительно улыбается, может позволить себе год за годом занимать второе место в своем бизнесе, видеть падение акций своей компании или неудачно вложить деньги и все-таки считаться преуспевающим, наслаждаться признанием, щедрым вознаграждением за труды, данной ему властью. Конечно, в этом была некая несправедливость, но против фактов бывший вице-президент не мог возразить. Как большинство избравших для себя общественное поприще, Гор прекрасно понимал, что его ждет. В политике может быть второй акт, но не может быть второго места.

Множество мелких политических грешков следуют из этого, самого крупного греха — стремления победить, а также стремления не проиграть. Дело здесь не только и не столько в больших деньгах. Были такие времена, до принятия законов о финансировании предвыборных кампаний и вездесущих репортеров, когда политические вопросы легко и просто решались при помощи взяток, когда политик мог обращаться со своим предвыборным фондом, точно с личным банковским счетом, и разъезжать по стране за казенный счет, когда солидные суммы от заинтересованных лиц были самым обычным делом и закон писался в расчете на того, кто больше заплатит. Если верить сообщениям в выпусках новостей, эти скрытые формы коррупции до сих пор не исчезли; конечно же, в Вашингтоне есть люди, которые видят в политике средство обогащения и которые, хотя, конечно же, не принимают из рук в руки пачки наличных денег, с радостью окажут всяческую помощь спонсорам и будут спать спокойно, пока не придет время порочной практики лоббирования тех, кем они когда-то управляли.

Чаще всего, однако, деньги влияют на политику по-другому. Мало кто из лоббистов так открыто предлагает выбранным политикам взаимовыгодную сделку. Им это просто не нужно. Влияние их состоит в другом — им легче, чем рядовым избирателям, выйти на этих политиков, у них больше информации и очень много выдержки для того, чтобы провести сомнительное положение налогового законодательства, которое сулит их клиентам миллионные прибыли и которое никого, кроме них, не волнует.

Деньги для большинства политиков отнюдь не являются средством обогащения. Большинство сенаторов богаты и так. Дело тут, скорее, в поддержании определенного статуса и сохранении власти, в устрашении противников и преодолении страха. Деньги не обеспечивают победу — ведь не купишь же страстность, харизму или дар рассказчика. Но без денег, без рекламы, которая стоит уйму денег, ты оказываешься верным кандидатом на выбывание.

Деньги здесь крутятся огромные, особенно в крупных штатах с хорошо развитыми средствами массовой информации. Работая в Законодательном собрании штата, я никогда не тратил на избирательные кампании более ста тысяч долларов и даже стяжал сомнительную славу ретроградa, как только речь заходила о сборе средств. Так, я выступил соавтором первого за двадцать пять лет Закона о финансировании предвыборных кампаний, неизменно отказывался от обедов с лоббистами, возвращал чеки от королей игорных центров и табачных корпораций. Когда я решил баллотироваться в Сенат США, мой консультант по работе со СМИ Дэвид Аксельрод вынужден был открыть мне глаза на суровую правду жизни. План нашей кампании требовал не такого уж большого бюджета, в основном сформированного за счет добровольных пожертвований и «оплаченной прессы», то есть способности делать собственные новости. Но Дэвид рассказал мне, что неделя телевизионной рекламы только в одном Чикаго обойдется примерно в полмиллиона долларов. За неделю рекламы по всему штату придется доплатить еще двести пятьдесят тысяч. Итак, четыре недели телевизионной рекламы, административные и накладные расходы на кампанию по всему штату обошлись бы нам в сумму около пяти миллионов. А если бы я выиграл предварительные выборы, то нужно было бы добавить еще миллионов десять — пятнадцать на выборы всеобщие.

Я пришел домой и в столбик выписал фамилии тех, кто мог бы меня спонсировать. Рядом с фамилиями я проставлял максимальные суммы, которые, как я считал, мне будет удобно у них просить.

Подбив итог, я получил пятьсот тысяч.

За исключением солидного личного капитала, существует практически единственный способ собрать деньги, необходимые для участия в сенатских выборах, — надо обращаться к богатым людям. В первые три месяца своей кампании я закрывался в кабинете вместе с помощником по сбору средств и методично обзванивал спон-

соров Демократической партии. Приятным это занятие назвать было никак нельзя. Кто-то клал трубку, даже не дослушав до конца. Чаще всего мне отвечали секретари, записывали, как положено, мое сообщение, но никто не перезванивал, и я вынужден был звонить по два, а то и по три раза, пока не сдавался сам или не получал наконец вежливый, но недвусмысленный отказ. Я научился хитроумному искусству отсутствовать на работе в нужное время — то устраивал перерыв, чтобы принять душ или выпить кофе, то предлагал своим помощникам в третий или четвертый раз перечитать и поправить речь по вопросам образования. Иногда в этой круговерти я думал о дедушке, который уже в зрелом возрасте работал страховым агентом, но не слишком преуспел на этом поприще. Я вспоминал, как он сердился, когда приходилось назначать встречу с человеком, который больше радовался встрече с зубным врачом, чем со страховым агентом, и как неодобрительно на него поглядывала бабушка, которая работала всю жизнь и всегда получала больше, чем он.

Вот тогда я хорошо понимал, что чувствовал в такие моменты мой дед.

За три месяца мы собрали таким образом всего лишь двести пятьдесят тысяч долларов, то есть гораздо меньше того, что требовалось для солидной кампании, способной внушить доверие. Потом произошло самое страшное: в кампанию включился богатый кандидат, который вовсе не нуждался в стороннем финансировании. Звали его Блэр Халл, и год назад он за пятьсот тридцать один миллион долларов продал свою трейдинговую компанию инвестиционной группе «Голдман Сакс». Без сомнения, им двигало желание, может быть даже неосознанное, принести пользу обществу, и он был выдающимся по всем статьям человеком. Но в роликах своей кампании он выглядел болезненно застенчивым и скованным, как человек, который почти все свое время проводит в одиночестве, глядя в экран компьютера. Я подозреваю, что, подобно многим, он думал, что профессия политика — в отличие, скажем, от профессии врача, летчика или сантехника — не требует никакой специальной подготовки и что бизнесмен, такой, как он, может справиться с ней не хуже любого профессионального политика, которых он во множестве видел по телевидению. Мистер Халл с цифрами в руках доказывал, что это занятие — своего рода нематериальный актив. Он представил репортерам формулу, выведенную им для победы в любой кампании. Начиналась она так:

$$\text{вероятность} = \frac{1}{1+e^{-1x}\ (-3{,}9659056 + \text{вес общих выборов} \times 1{,}92380219\ )\ldots}$$

а заканчивалась еще несколькими таинственными множителями.

Казалось, мистера Халла не стоило считать серьезным противником, но, как-то апрельским или майским утром выехав из своего жилого комплекса в офис, я заметил громадные красные, белые и синие буквы рекламных плакатов, развешанные по всему кварталу. Плакаты гласили: «БЛЭР ХАЛЛ - В СЕНАТ США», и целых пять миль я созерцал их на каждой улице, каждой крупной магистрали, на каждом углу, в окне каждой парикмахерской, на заброшенных зданиях, автобусных остановках, бакалейных лавках — Халл лез отовсюду, как одуванчики весной.

Среди иллинойских политиков бытует поговорка: «Подписи не голосуют», и означает она, что нельзя судить об успехе кампании по количеству подписей, собранных кандидатом. Но никто и никогда в Иллинойсе еще не видел, чтобы развешивали столько плакатов и собирали столько подписей, сколько мистер Халл умудрился за один день. С пугающей быстротой всего за один вечер целые бригады нанятых им сотрудников срывали плакаты других кандидатов и вешали на их место плакаты мистера Халла. К нам начали поступать сведения о каких-то активистах негритянских районов, которые вдруг решили, что мистер Халл кинется защищать их права, каких-то людях, которые утверждали, что мистер Халл будет поддерживать семейные фермы. За этим последовала массированная реклама по телевидению, полгода рекламы без единого перерыва до самого дня выборов, круглосуточно, на каждом канале, по всему штату: Блэр Халл со стариками, Блэр Халл с детьми, Блэр Халл готов вычеркнуть Вашингтон из своих особых интересов. К январю 2004 года мистер Халл во всех опросах занимал лидирующие позиции, и мои сторонники оборвали у меня все телефоны, призывая к действиям, настаивая, чтобы я немедленно выступил по телевидению, иначе все, конец.

Что мне оставалось делать? Я объяснял, что, в отличие от мистера Халла, не располагаю собственным капиталом. Даже допуская развитие событий по наилучшему сценарию, нам хватит денег ровно на четыре недели телевизионной рекламы, и, учитывая это, надо оттянуть всю кампанию до августа. «Потерпите немного, — говорил я своим сторонникам, — верьте в нас, не паникуйте». Я опускал трубку, выглядывал из окна и, бывало, видел автофургон, в котором 'Халл разъезжал по штату. Это была огромная машина размером чуть ли не с океанский лайнер, оборудованная, как говорили, по последнему слову техники, и я иногда поддавался общему настрою и думал, что, может, и действительно мне уже пора паниковать.

Во многих отношениях мне повезло больше, чем другим кандидатам в подобных обстоятельствах. По неведомым причинам начиная с какого-то момента моя кампания словно начала заряжаться энергией, получила второе дыхание; среди состоятельных спонсоров стало модно поддерживать меня, а более мелкие спонсоры со всего штата вдруг с бешеной скоростью начали присылать мне чеки по интернету. Удивительно, но этот статус «темной лошадки» защитил меня от многих подводных камней: большинство комитетов политических действий в крупных корпорациях избегали иметь со мной дело, поэтому я никому ничего не был должен; а те, которые все же поддержали меня, как, например, Лига избирателей — защитников окружающей среды, разделяли мои воззрения, за которые я очень долго боролся. В конечном счете мистер Халл потратил на свою кампанию в шесть раз больше, чем я. Но, к его чести (хотя, возможно, и к его сожалению), он не сказал ни единого слова против меня. Цифры наших опросов разительно отличались, и на самом финише, когда мои ролики появились на телевидении, а рейтинг стал расти, его кампания окончательно захлебнулась, особенно после того, как стало известно о его безобразных ссорах с бывшей женой.

Итак, по крайней мере, для меня недостаток средств или поддержки крупных корпораций не стали серьезным препятствием на пути к победе. Но не могу не признать, что эта охота за деньгами повлияла на меня. Ска-

жем, я стал меньше стесняться, когда приходилось просить большие суммы денег у совершенно незнакомых людей. К концу кампании, разговаривая по телефону, я перестал шутить и вести милые беседы ни о чем, как имел обыкновение раньше. Я говорил только по делу и старался добиться от собеседника положительного ответа.

Меня тревожили и другие перемены в работе. Я заметил, что стал проводить все больше времени с состоятельными людьми — партнерами юридических фирм и инвестиционными банкирами, менеджерами хеджевых фондов и венчурными инвесторами. Все это, в общем, были умные, интересные люди, весьма осведомленные в вопросах государственной политики, либеральные в своих взглядах и желавшие только, чтобы в обмен на их чеки прислушались к их мнению. Но все до одного они представляли интересы своего класса — примерно одного процента населения с доходом, который позволял им выписать чек на две тысячи долларов политическому кандидату. Они верили в свободный рынок и образованную элиту; им было трудно представить, что существуют такие болезни общества, которые нельзя излечить высоким баллом теста на проверку академических способностей. Они терпеть не могли протекционизм, жаловались, что профсоюзы не дают им жить спокойно, и не особенно жалели тех, чья жизнь пошла под откос из-за перемещений мирового капитала. Большинство твердо выступали в поддержку права на аборт и против ношения оружия и с подозрением относились к глубокому религиозному чувству.

И хотя наше с ними мироощущение во многом совпадало — все мы учились в одних и тех же школах, читали одни и те же книги, одинаково тревожились за своих детей, — я поймал себя на том, что во время разговора старательно избегаю некоторых тем, сглаживаю противоречия, стараюсь предугадать их ожидания. Я был откровенен в принципиальных вопросах и не скрывал от своих богатых собеседников, что налоговые льготы, которые им предоставил Джордж Буш, надо бы уменьшить. При первой же возможности я рассказывал им то, о чем говорили мне избиратели из других слоев общества: о серьезной роли веры в политике или о глубоком культурном смысле ношения оружия в сельских районах штата.

Да, я знаю, что, собирая деньги для кампании, уподобился свои богатым спонсорам — в том смысле, что стал проводить все меньше времени в обычном мире, в мире, где люди голодают, отчаиваются, боятся, не доверяют разумным доводам, где девяноста девяти процентам населения живется совсем не просто, — то есть в том мире, ради которого я и пришел в политику. В той или иной степени это правило распространяется на всех сенаторов: чем дольше работаешь в Сенате, тем уже становится круг общения. Можно делать попытки прорвать его, можно проводить встречи с общественностью и разговаривать со старенькими соседками. Но график жизни таков, что просто уводит вас в сторону от тех людей, которых вы же и представляете.

С приближением каждой следующей гонки внутренний голос подсказывает, что вам уже не хочется начинать заново и клянчить мелкие суммы, чтобы набрать нужное количество денег. Вы понимаете, что вас уже знают, а это отнюдь не преимущество; вам не удалось изменить Вашингтон, и более того, множество людей недовольны трудной предвыборной кампанией. Путь наименьшего сопротивления — сборщики средств, специально организованные в группы, корпоративные комитеты политических действий, ведущие лоббистские конторы — начинает казаться ужасно соблазнительным, и, если мнения и взгляды всех участников этого процесса не слишком согласуются с теми, которые были когда-то у вас, вы начинаете оправдывать все эти перемены соображениями реальности, компромисса, необходимостью вовремя сориентироваться. Голоса простых людей, жителей городка в северном промышленном районе или сельской глубинки, начинают казаться скорее отзвуком, чем настоящей жизнью, неким миражом, которым надо управлять, а не проблемами, требующими решений.

Работу сенатора движут и другие силы. Деньги, конечно, играют огромную роль в кампании, но не только сбор средств выносит кандидата наверх. Если вы хотите победить — по крайней мере, если не хотите проиграть, — то должны помнить, что организация важна не менее, чем банкноты, особенно при низкой явке избирателей на предварительных выборах, которые, кстати, с учетом постоянного перекраивания избирательных округов и разделения электората часто оказываются самым важным этапом для любого кандидата. В наши дни находится все меньше людей, имеющих время и желание поработать добровольцем в политической кампании, в частности, потому, что такая работа сводится обычно к заклеиванию конвертов и хождению от дома к дому; до написания программных речей и выдвижения масштабных идей дело, как правило, не доходит. И если вам, кандидату, нужны работники или избиратели, вы идете туда, где люди уже организованы. Для нас, демократов, это профсоюзы, объединения защитников окружающей среды, группы, выступающие за право женщины на аборт. Для республиканцев это религиозные правые, местные торговые палаты, отделения Национальной стрелковой ассоциации, сторонники движения против увеличения налогов.

Мне никогда особо не нравился термин «специальные интересы», который валит в одну кучу «Эксон-Мобил» и каменщиков, лоббистов фармацевтических гигантов и родителей умственно отсталых детей. Большинство политологов, скорее всего, не согласятся, но, мне кажется, есть большая разница между корпоративным лобби, работающим исключительно за деньги, и сообществом людей, объединенных общими интересами, будь то работники текстильной промышленности, страстные любители оружия, ветераны, владельцы семейных ферм; между теми, кто пользуется экономическими рычагами для распространения политического влияния далеко за пределы своего круга, и теми, кто стремится голосами повлиять только на своих представителей. Первые извращают саму идею демократии. Вторые выражают ее суть.

Впрочем, влияние заинтересованных групп на избираемых кандидатов — это далеко не всегда приятно. Для сохранения в своих рядах активистов, постоянного поступления денежных средств, наконец, для того, чтобы их услышали, группы, влияющие на политиков, не должны действовать так, как будто выражают национальные интересы. Они не рвутся поддерживать самого умного, самого компетентного или самого либерального кандидата. Вместо этого они занимаются конкретными вопросами — пенсиями, защитой урожая, какими-то другими проблемами. Проще говоря, они ведут свою игру и хотят, чтобы вы, их представитель, помогали им в этой игре.

Во время моей кампании по предварительным выборам я заполнил, наверное, не меньше полусотни разных анкет. Они не сильно отличались одна от другой. Как правило, в каждой анкете было десять — двадцать вопросов

вроде такого: «В случае избрания можете ли Вы обещать, что отмените закон Скруджа, по которому вдов и сирот можно выкидывать на улицу?»

Время требовало, чтобы я заполнял только анкеты от организаций, которые действительно могли меня поддержать (с учетом итогов голосования по моей кандидатуре Национальная стрелковая ассоциация или движение «Право на жизнь», которое выступает против абортов, к ним никак не относились). Поэтому я не слишком внимательно вчитывался и отвечал «да» на большинство вопросов. Некоторые из них, однако, заставляли задуматься. Я мог соглашаться с каким-нибудь профсоюзом, что в наше трудовое законодательство необходимо ввести более жесткие стандарты охраны труда и окружающей среды, но вот считал ли я, что Североамериканское соглашение о свободной торговле пора отменить? Я мог соглашаться, что общенациональная программа здравоохранения должна стать одним из самых главных наших приоритетов, но следовало ли из этого, что для достижения данной цели необходимо принять очередную поправку к Конституции? Я заметил за собой, что долго раздумываю над этими вопросами, пишу на полях, объясняю, как трудно сделать тот или иной выбор. Мои сотрудники только качали головами. Мне говорили: «Один неверный ответ, и все сторонники, работники и избиратели достанутся другому». «Да уж, послушаешь вас, — думал я про себя, — и начнешь как раз такую тупую фанатичную борьбу, которой обещал положить конец».

Говорите одно во время кампании и совсем другое после избрания — и сразу станете типичным двуличным политиком.

На некоторые вопросы я отвечал не так, как надо, и поэтому потерял нескольких сторонников. А бывало и наоборот — к нашему удивлению, несмотря на неверный ответ, группа выражала мне поддержку.

Иногда вообще не имело значения, что именно я писал в той или иной анкете. Кроме мистера Халла, моим самым серьезным соперником в предварительных выборах демократов в Сенат оказался главный финансовый контролер Иллинойса Дэн Хайнс, прекрасный человек и способный государственный служащий, отец которого, Том Хайнс, был в свое время президентом Сената штата, работал в налоговых органах округа Кук, входил в комитет городского избирательного округа, трудился в Национальном комитете Демократической партии и вообще был одной из самых заметных фигур в политической жизни штата. Еще не начав свою кампанию, Дэн уже получил поддержку восьмидесяти пяти из ста двух глав округов штата, большинства моих коллег по Законодательному собранию и Майка Мэдигана, в то время совмещавшего обязанности спикера Палаты представителей и председателя иллинойского отделения Демократической партии. Просматривать список сторонников на сайте Дэна было все равно что читать титры после фильма — дойти до конца просто не хватало терпения.

Несмотря на это, я рассчитывал привлечь голоса и на свою сторону, особенно из числа членов профсоюзов. Семь лет я был их союзником в Законодательном собрании штата, поддерживал их законопроекты и выставлял их проблемы на обсуждение. Я знал, что традиционно Американская федерация труда — Конгресс производственных профсоюзов поддерживает своих союзников. Но в ходе той кампании начало твориться нечто непонятное. Профсоюз водителей грузовиков созвал свой съезд в Чикаго в тот же день, когда я поехал в Спрингфилд для голосования; они отказались перенести дату съезда, и мистер Хайнс получил их поддержку, не дав им даже встретиться со мной. Нас пригласили на прием, организованный профсоюзом во время традиционной ярмарки штата, но предупредили, что реклама кампании строжайше запрещена; придя туда, мы увидели, что плакатами Хайнса увешан весь зал. Вечером, когда шел съезд АФТ—КПП, я заметил, что многие мои сторонники отвели глаза, когда я вошел в зал. Пожилой председатель одного из крупнейших местных отделений профсоюза подошел ко мне и дружески хлопнул меня по плечу.

— Дело не в тебе, Барак, — сказал он с грустной улыбкой. — Понимаешь, мы с Томом Хайнсом знаем друг друга почти полвека. Мы вместе росли, ходили в одну церковь... Да что там говорить, я Дэнни еще мальчишкой помню...

Я ответил, что все прекрасно понимаю.

— Может, ты согласишься избираться на место Дэна, когда он попадет в Сенат? Как думаешь? Уж из тебя-то контролер получился бы отличный.

Я вернулся к своим сотрудникам и сказал им, что, похоже, поддержки АФТ—КПП мы не дождемся.

Но опять все обернулось не так. Лидеры нескольких крупнейших профсоюзов — Иллинойской федерации учителей, Межнационального союза работников сферы обслуживания, Американской федерации государственных, окружных и муниципальных служащих, Профсоюза работников швейной и текстильной отраслей промышленности, представляющего, вдобавок, и служащих гостиниц и работников сферы общественного питания, — спутали все карты и поддержали меня, а не Хайнса, и это придало моей кампании так необходимый ей вес. С их стороны это было весьма рискованно; в случае моего проигрыша они теряли и деньги, и поддержку, и доверие своих членов.

Так я стал должником профсоюзов. Когда их лидеры звонят мне, я откладываю все свои дела и решаю их вопросы. Я никогда не назову наши отношения коррумпированными; я чувствую свои обязательства и перед сиделкой, которая за символическую плату подкладывает судно под лежачего больного, и перед учителями в отдаленных сельских школах, которые перед началом учебного года за свои деньги покупают ученикам тетрадки и карандаши. Я пошел в политику, чтобы отстаивать интересы этих людей, и я только рад, что профсоюз напоминает мне об их нелегкой жизни.

Но я понимаю, что не за горами те времена, когда одни обязательства столкнутся с другими — например, с обязательствами перед неграмотными детьми, которые живут в бедных городских районах, или перед еще не рожденными младенцами, которым мы оставим в наследство огромный государственный долг. Сложности уже дают о себе знать — я, например, предложил провести эксперимент с введением системы доплат для учителей и ужесточить систему оценки эффективности работы, несмотря на возражения друзей из Объединенного профсоюза рабочих автомобильной и аэрокосмической промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Америки. Я постоянно напоминаю себе, что буду ставить вопрос о доплатах снова и снова — точно так же, как, я надеюсь, мой коллега-республиканец будет последовательно выступать за снижение налогов или против

исследований стволовых клеток, как он это делал перед кампанией, потому что это лучше для страны, пусть даже его избиратели против. Я надеюсь, что всегда смогу прийти к своим друзьям в профсоюзах и объяснить им, почему я отстаиваю именно такую позицию, как она соотносится с моими ценностями и их долгосрочными интересами.

Но, как я подозреваю, профсоюзные лидеры не всегда будут придерживаться таких взглядов. Возможно, придет время, когда они усмотрят в этом измену. Они могут убедить своих членов в том, что я их продал. Ко мне могут прийти сердитые письма, а в офис будут звонить разгневанные избиратели. Может, в следующий раз они меня и не поддержат.

Если такое случается с вами не впервые и вы почти проигрываете гонку, потому что необходимое для победы большинство недовольно вами или вам приходится отражать нападки соперника по предварительным выборам, который обвиняет вас в измене, то вы можете потерять вкус к борьбе, к противостоянию. Вы начинаете прислушиваться к внутреннему голосу: что лучше — не позволить заинтересованным группам надавить на себя или сохранить хорошие отношения с друзьями? Ответ, между прочим, не так уж очевиден. И вот вы начинаете действовать бездумно, как будто заполняете анкету — ставите себе галочки в квадратиках, обозначенных «да», и все.

Политики стали заложниками своих крупных спонсоров, на них оказывают давление заинтересованные в них группы — это непреложный факт нашей современности, о котором упоминает любой анализ проблем нынешней демократии. Но для политика, озабоченного сохранением своего места, существует еще и третья сила, которая заставляет его действовать, задает тон политическим дебатам, определяет границы его возможностей, положения, которое он может или не может занимать.

Лет сорок — пятьдесят назад такой силой был партийный аппарат: большие боссы, политические ветераны, вашингтонские воротилы, которые могли запустить или, наоборот, сломать карьеру всего одним телефонным звонком. Сегодня этой силой стали средства массовой информации.

Здесь необходимо пояснение: в течение трех лет, начиная с выставления своей кандидатуры в Сенат и до конца первого года моей работы там, пресса относилась ко мне удивительно, иногда даже незаслуженно лояльно. Конечно, я был обязан этим не только своему статусу непроходного кандидата на предварительных выборах, но и тем, что был своего рода новинкой — чернокожим кандидатом экзотического происхождения. А может быть, дело было еще и в моем стиле речи — горячем, непоследовательном, иногда многословном (о чем мне постоянно напоминают и Мишель, и мои сотрудники), который вызывает сочувственный отклик среди образованных кругов.

Более того, даже когда я оказывался героем нелицеприятных политических репортажей, их писали люди, которые всего лишь делали свою работу. Они записывали наши беседы на диктофон, подбирали нужный контекст для моих заявлений и звонили мне всякий раз, когда меня критиковали, чтобы узнать, что я об этом думаю.

Так что мне как частному лицу грех жаловаться. Конечно, это не означает, что я могу позволить себе роскошь полностью игнорировать прессу. Именно потому, что я увидел, как быстро она возвела меня на пьедестал, я всегда помню, что и сбросить с пьедестала она может стремительно.

Давайте решим простую задачку. За первый год работы я провел тридцать девять встреч с общественностью, в каждой из которых участвовало человек четыреста — пятьсот, то есть всего тысяч пятнадцать—двадцать. Если бы я продолжал в том же темпе, то до дня выборов смог бы лично встретиться с девяносто пятью — сотней тысяч своих избирателей.

А вот трехминутный ролик не на самом рейтинговом местном канале новостей в Чикаго могут одновременно увидеть двести тысяч зрителей. Получается, я, как и любой другой политик федерального уровня, целиком и полностью завишу от средств массовой информации в отношении привлечения к себе сторонников. Это своего рода лаборатория, в которой рассматриваются под микроскопом мои слова, анализируются заявления, проверяются убеждения. Для широкой публики, по крайней мере, я таков, каким подают меня средства массовой информации. Я говорю то, что, по их словам, я говорю. Я становлюсь тем, кем, по их словам, я уже стал.

Влияние СМИ на нашу политику проявляется весьма разнообразно. Сегодня только ленивый не говорит о пристрастности и полном отсутствии всяких принципов: новости по радио, «Фокс ньюс», редакционные статьи газет, ток-шоу по кабельному телевидению, а в особенности блоггеры — все оскорбляют друг друга, бросают обвинения, сплетничают круглосуточно, беспрерывно. Многие замечали, что такой стиль уже далеко не нов; он обозначает возврат к преобладавшей некогда традиции американской журналистики, к таким классикам жанра, как Уильям Рандольф Херст и полковник Маккормик. Только после Второй мировой войны яда в статьях поубавилось, а объективности, наоборот, стало больше.

Трудно отрицать, что словесная трескотня, многократно увеличенная телевидением и интернетом, очень огрубляет нашу политическую культуру. Она воспитывает неуравновешенность, порождает недоверие. Нравится это политикам или нет, словесный яд медленно, но верно отравляет наш дух. Удивительно, но чем откровеннее нападки, тем меньше они задевают; если слушателям Раша Лимбо нравится, что он в эфире называет меня «Осама-Обама», мне, грубо говоря, плевать. Гораздо больнее могут ужалить более изощренные противники, потому что им быстрее верит публика и они прекрасно умеют извращать слова и делать из человека идиота.

Так, в апреле 2005 года я оказался на открытии Библиотеки имени президента Линкольна в Спрингфилде. В своей пятиминутной речи я сказал, что именно человеческие качества Авраама Линкольна, его такие понятные недостатки и делают его привлекательным для всех нас. «Восхождение Линкольна из бедности, его самообразование, мастерское владение словом, уважение к закону, способность подняться выше личных потерь и оставаться спокойным перед лицом многочисленных угроз — все это черты, которые составляют фундамент американского характера, веру в то, что для достижения больших целей мы можем постоянно самосовершенствоваться», — говорил я тогда.

Через несколько месяцев ко мне обратились из журнала «Тайм» с просьбой написать очерк для специального выпуска, посвященного памяти Линкольна. Времени у меня было мало, поэтому я спросил, не подойдет ли

моя речь. Журнал ответил согласием, но попросил, чтобы я немного добавил, написав о том, как Линкольн повлиял на мою жизнь. Между многочисленными совещаниями я внес необходимые изменения, в том числе и в процитированное предложение. Оно получилось таким: «Восхождение Линкольна из бедности, его самообразование, мастерское владение словом, уважение к закону, способность подняться выше личных потерь и оставаться спокойным перед лицом многочисленных угроз напоминают мне, что трудности встречаются в жизни каждого, а не только в моей».

Не успел журнал выйти из печати, как последовала реакция Пегги Нунен, бывшего спичрайтера Рейгана, а тогда корреспондента «Уолл-стрит джорнал». В статье под заглавием «Самомнение правительства» она написала: «На этой неделе вечно осторожный сенатор Барак Обама вдруг распустил крылья и заявил, что он — ни больше ни меньше — улучшенный вариант Авраама Линкольна. Ничего страшного в претензиях сенатора Обамы нет, но ему не стоит сбиваться на такой кичливый тон. Право же, это не добавляет сенатору величия. Так и будет, если Обама продолжит говорить о себе подобным образом». Вот так вот!

Трудно сказать, серьезно ли миссис Нунен считает, что я решил уподобиться Линкольну, или просто ей нравилось так элегантно меня пинать. Но признаться, по сравнению с другими ударами прессы это так, щекотка.

Так я получил урок, который давным-давно вызубрили мои старшие коллеги, — каждое мое слово будет толковаться и перетолковываться, и я никак не смогу на это влиять, в нем будут выискивать ошибки, разночтения, противоречия, которыми могла бы воспользоваться противная сторона или которые можно будет засунуть в какую-нибудь телевизионную антирекламу. В обстановке, когда любое неосторожное замечание может наделать больше вреда, чем годы непродуманной политики, мне не стоило удивляться, что на Капитолийском холме каждая шутка тщательно продумывается, ирония вызывает подозрение, непосредственность выходит из моды, а горячность относится к категории особо опасных явлений. Я думал, сколько же времени потребуется, чтобы разобраться во всем этом; сколько, оказывается, в голове каждого человека сидит писателей, редакторов и цензоров; как тщательно готовятся «моменты искренности», когда вы гневаетесь и возмущаетесь именно в тех местах, где это предписано сценарием.

Ну что, давно вы научились говорить как политик?

Еще один урок был таким: как только появилась колонка миссис Нунен, она сразу же пошла бродить по интернету, на сайтах правых политических сил, как бы в доказательство того, насколько я высокомерный и притом поверхностный тип (при этом все сайты цитировали одно только это предложение, а не всю статью целиком). Этот эпизод стал симптомом очень скрытой, но необыкновенно опасной болезни современных СМИ — однаединствен-ная цитата повторяется снова и снова, мчится через ки-берпространство со скоростью света и входит в плоть и кровь реальности; политические карикатуры и перлы банальной мудрости входят в наше сознание исподволь, без всякого контроля с нашей стороны.

Например, сегодня ни одно упоминание о демократах не обходится без замечания, что мы «слабы» и «не можем ничего защитить». Республиканцы, конечно же, «сильны» (пусть даже иногда и злобны), а Буш так просто образец решительности, даже если он меняет свои решения по десять раз на дню. Любое слово или выступление Хилла-ри Клинтон, которое не укладывается в привычные рамки, назовут заранее продуманным и холодно рассчитанным; если то же самое проделает Джон Маккейн, скажут, что он все такой же — настоящий возмутитель спокойствия. Как едко заметил один наблюдатель, мое имя «по определению» должно сопровождаться эпитетом «восходящая звезда», хотя статья Нунен предлагает другой, не менее традиционный вариант знакомой сказочки: молодой, никому не известный человек приезжает в Вашингтон, совершенно теряет голову от свалившейся на него известности и в конце концов становится либо сухарем, либо фанатиком (если только не исхитрится примкнуть к лагерю нарушителей спокойствия).

Конечно, пиар-машины политиков и их партий работают без остановки, и в последних предвыборных кампаниях республиканцы преуспели в подобном «цитировании» гораздо сильнее, чем мы, демократы (клише, к несчастью демократов, совершенно обоснованное). Сплетни, однако, циркулируют именно потому, что пресса всегда готова сплетничать. Каждый репортер в Вашингтоне работает под давлением своих редакторов и продюсеров, которые, в свою очередь, несут ответственность перед издателями и владельцами кабельных сетей, которые уже зависят от рейтингов прошлой недели, от прошлогодних цифр подписки и всячески стараются победить в борьбе с «Плейстейшн» и реалити-шоу. Чтобы успеть к сроку, чтобы сохранить свою долю на рынке и задобрить чудовище кабельных новостей, репортеры начинают передвигаться стаями, выдавать одинаковые выпуски новостей, снимать в одинаковых местах, с одними и теми же героями. При этом для вечно занятых и потому неприхотливых потребителей новостей старая, навязшая на зубах история не так уж и противна. Думать о ней не надо, тратить на нее время — тоже; переваривается она легко и быстро. Сплетня проще, удобнее для всех.

Это удобство объясняет, почему даже самые дотошные репортеры зачастую понимают объективность всего лишь как публикацию мнений противоположных сторон без всяких указаний, чье мнение ближе к истине. Обычно статья начинается так: «Из Белого дома сегодня сообщают, что, несмотря на недавнее уменьшение налоговых сборов, сокращение дефицита бюджета наполовину произойдет не ранее 2010 года». Эту сенсационную новость потом комментируют либеральный аналитик, критикующий цифры, названные Белым домом, и консервативный аналитик, наоборот, защищающий их. Кому верить — тому или другому? Найдется ли независимый аналитик, который возьмется объяснить нам значение этих цифр? Кто знает? Репортеру недосуг уделять внимание подобным мелочам; ведь дело не в преимуществах уменьшения налога и не в опасностях дефицита, а именно в споре между двумя сторонами. После нескольких абзацев читатель приходит к выводу, что республиканцы и демократы опять поцапались, и раскроет спортивную страницу, где все более или менее предсказуемо и по счету сразу видно, кто победил.

Сопоставление противоположных точек зрения так привлекательно для репортеров еще и потому, что обозначает их любимое детище — личный конфликт. Нельзя не отметить, что за последнее десятилетие политическая вежливость сильно упала в цене и партии придерживаются диаметрально противоположных взглядов по серьезным политическим вопросам. В какой-то мере это произошло потому, что с точки зрения прессы полити-

ческая вежливость невыносимо скучна. Если вы скажете: «Я понимаю точку зрения своего оппонента» или «Вопрос действительно непростой», этого никто не заметит. Но попробуйте пойти в наступление, и от камер вам уже не удастся скрыться. Часто репортеры переходят всякие границы и как будто специально задают такие вопросы, которые могут вызвать вспышку гнева. В Чикаго был один репортер, который славился умением так вести интервью, что его собеседник чувствовал себя участником комического дуэта Эбботта и Костелло, известного в пятидесятые годы.

— Считаете ли вы, что своим вчерашним решением губернатор вас предал? — начинал, бывало, он.

— Нет. Я беседовал с губернатором и уверен, что до конца сессии мы сумеем преодолеть свои разногласия.

— Без сомнения... Но считаете ли вы, что своим вчерашним решением губернатор вас предал?

— Я бы не сказал «предал». Он считает...

— Но разве со стороны губернатора это не предательство?

И так далее и тому подобное...

Слухи, раздувание конфликтов, безудержная охота за скандалами и промахами нацелены на размывание общепринятых стандартов и понятий о том, что такое истина. Существует чудесная, хотя, может быть, и мифическая история о Дэниеле Патрике Мойнихане, покойном сенаторе от штата Нью-Йорк, человеке острейшего ума и горячего нрава. Говорят, Мойнихан горячо спорил о чем-то со своим коллегой, и тот, чувствуя, что начинает проигрывать, бросил в сердцах: «Пат, можешь со мной не соглашаться, но я имею право на собственное мнение». Мойнихан тут же холодно парировал: «На собственное мнение — да, но не на собственные факты».

Позиции Мойнихана больше никто не придерживается. У нас нет авторитетов, подобных Уолтеру Кронкайту или Эдуарду Роско Марроу, к которым мы могли бы прислушаться и доверить разбор наших противоречий. Вместо этого картина, рисуемая средствами массовой информации, распадается на тысячу фрагментов; каждый представляет собственную версию происходящего и клянется в верности расколотой мнениями нации. В зависимости от ваших взглядов глобальное потепление ускоряется угрожающе или не очень угрожающе, бюджетный дефицит увеличивается или, напротив, уменьшается.

Это явление не ограничивается только лишь сложными вопросами. В начале 2005 года «Ньюсуик» опубликовал статью о том, что охрана и следователи из лагеря в Гуантанамо обозлили содержащихся там военнопленных и оскорбили их чувства тем, что спустили Коран в унитаз. Белый дом заявил, что эта история — ложь от первой до последней буквы. Не имея надежных доказательств, на фоне яростных выступлений против статьи, которые начались в Пакистане, «Ньюсуик» был вынужден напечатать покаянную статью. Несколько месяцев спустя Пентагон опубликовал доклад, в котором указывалось, что ряд сотрудников Гуантанамо действительно были не раз замечены в недостойном поведении — например, женщины во время допросов делали вид, будто мажут задержанных своей менструальной кровью, а охранник, один раз точно, помочился на Коран и на своего охраняемого. Сообщение в вечернем выпуске «Фокс ньюс» гласило: «Пентагон не нашел доказательств того, что Коран смыли в унитаз».

Я понимаю, что голые факты не всегда способны устранить наши политические разногласия. Наши взгляды на проблему аборта не определяются тем, что наука знает о развитии зародыша, а мнение о том, пора или нет выводить войска из Ирака обязательно должно опираться на реальную оценку возможностей. Но иногда ответы могут быть лишь более или менее точными; существуют и факты, о которых не поспоришь; скажем, спор о том, идет дождь или нет, решить легко — стоит только выйти на улицу. Отсутствие пусть даже самого общего согласия по поводу фактов создает равные условия для каждого мнения и тем самым уменьшает базу возможного компромисса. В самом благоприятном положении оказывается не тот, кто прав, а тот, кто, подобно пресс-службе Белого дома, кричит громче всех, чаще и назойливее других повторяет свои аргументы и пользуется при этом крепкой поддержкой.

Политик наших дней прекрасно это понимает. Может, он и не врет, но отдает себе отчет в том, что говорить правду — себе дороже, особенно если правда эта низка и горька. Правда может напугать; на правду могут напасть; у средств массовой информации не будет ни терпения, ни желания разбираться с фактами, и широкая публика так и не узнает, где правда, а где ложь. Особое значение, следовательно, приобретает уместность — заявления по тому или иному вопросу должны избегать острых углов, а общие рассуждения должны немедленно обнародоваться, все слова должны вписываться в тот образ, который создает пресс-служба отдельного политика, и одновременно не противоречить тем болванкам, которые пресса создает для всех политиков вообще. Политик может, конечно, заупрямиться, не желая влезать в эти рамки, и продолжать резать правду так, как он ее понимает. Но он прекрасно понимает и то, что его искренняя вера значит гораздо меньше, чем игра в искреннюю веру, и что прямой разговор — ничто, если он при этом не транслируется по телевидению.

По моим наблюдениям, множество политиков обоего пола умудрились обойти эти ловушки, сохранив свою внутреннюю целостность, собрать средства для своей кампании и остаться при этом неподкупными, получить поддержку и избежать давления заинтересованных групп, контролировать средства массовой информации, оставаясь самими собой. Но одна, последняя ловушка подстерегает всех без исключения обитателей Вашингтона, в той или иной степени беспокоящая их совесть; и эта ловушка — совершенно неудовлетворительная процедура законотворчества.

Не знаю ни одного законодателя, кто постоянно не жаловался бы на решения, которые они вынуждены принимать. Бывает, что законопроект настолько очевидно правилен, что он практически не обсуждается (первое, что приходит на ум, — поправка Джона Маккейна о запрете пыток). Бывает и другое — законопроект явно однобок или так плохо составлен, что только диву даешься, как это его составитель не сгорит от стыда при обсуждении.

Чаще всего, однако, обсуждение — штука довольно муторная, собрание сотен маленьких и больших компромиссов, смесь высоких политических устремлений, позерства, составленных на скорую руку схем согласования и старомодных казенных кормушек. Очень часто в первые месяцы работы в Сенате я читал законопроект и ловил себя на том, что его главная цель вовсе не так ясна, как мне показалось сначала, и что

любое голосование — что «за», что «против» — будет не совсем чистосердечным. Голосовать ли мне за законопроект по энергетике, в который включено мое предложение о развитии альтернативных видов топлива, что, без сомнения, улучшит статус-кво, но полностью противоречит стремлению Америки к независимости от иностранной нефти? Голосовать ли против изменений в Законе о контроле над загрязнением воздуха, которые ослабят законодательные нормы в одних областях, ужесточат в других и этим создадут более понятную систему определения соответствия корпораций? Что, если этот законопроект усилит загрязнение окружающей среды, но предусмотрит выделение средств на развитие технологий обогащения угля и поможет создать рабочие места для бедных жителей Иллинойса?

Снова и снова я размышляю над очевидным, взвешиваю все «за» и «против», стараюсь уложиться в жесткие временные рамки. Мои сотрудники сообщают мне, что почта и телефонные звонки распределяются равномерно, а заинтересованные группы обеих сторон набрали равные очки. Когда подходит моя очередь голосовать, мне на ум часто приходит отрывок из «Рассказов о мужестве», написанных Джоном Кеннеди полвека назад:

Мало кто сталкивается со столь ужасной необходимостью принятия окончательного решения, как сенатор, которому предстоит голосовать за какой-нибудь важный законопроект. Может быть, ему нужно чуть-чуть времени, чтобы обдумать свое решение, может быть, он считает, что стороны еще не все сказали, может быть, он уверен, что небольшие изменения устранят все трудности, но, когда подходит его очередь, он уже не может скрыться, не может увильнуть, не может медлить; он чувствует, что его избиратель сидит рядом, на его сенаторском кресле и, как ворон в поэме Эдгара По, кричит: «Никогда», в то время как сенатор, голосуя, определяет свое политическое будущее.

Может быть, здесь есть некоторое преувеличение. И все же ни один законодатель, ни государственный, ни федеральный, никогда еще не избегал этой непростой участи, всегда гораздо худшей для той партии, которая не находится в данный момент у власти. Будучи в большинстве, вы имеете больше возможностей изменить важный для себя законопроект еще до того, как его поставят на голосование. Вы можете попросить председателя комитета добавить в него слова, которые помогут вашим избирателям, или, наоборот, убрать то, что им не понравится. Вы можете даже обратиться к лидеру большинства и договориться с ним о том, чтобы попридержать законопроект, пока не придете к компромиссу, который устраивает вас больше.

Если же вы в меньшинстве, то таких возможностей у вас нет. Вы должны голосовать «за» или «против» по любому законопроекту и при этом прекрасно знаете, что вряд ли возможен разумный компромисс, который одобрили бы и вы сами, и ваши сторонники. В наше время, когда торжествует принцип «ты — мне, я — тебе», когда принимаются комплексные затратные законопроекты, некоторое успокоение приносит мысль о том, что хотя в них множество неудачных статей, но есть и такие — скажем, о финансировании изготовления армейских бронежилетов или небольшом увеличении пенсии ветеранам, — против которых нечего возразить.

По крайней мере, в первый срок Буша члены его кабинета показали себя мастерами высокого класса в этой юридической игре. Есть поучительная история о том, как в первом раунде уменьшения налогов, предпринятого Бушем, проходили переговоры Карла Роува с сенатором от демократов о возможной поддержке им пакета предложений президента. На предыдущих выборах Буш играючи победил в штате сенатора, в частности, и за счет предложений об уменьшении налогов; сам сенатор, в принципе, тоже поддерживал эту идею. Его смущало лишь то, в какой степени налоговые льготы отразятся на состоятельных гражданах, и он предложил внести некоторые изменения, чтобы сделать законопроект более справедливым в этом отношении.

— С этими изменениями, — сказал сенатор Роуву, — я гарантирую, что «за» проголосую не только я сам, но и еще семьдесят сенаторов.

— Семьдесят «за» нам не нужны, — как говорят, ответил Роув. — Хватит и пятидесяти одного.

Роув, может, и не находил законопроект Белого дома особо удачным, но быстро сообразил, кто в данном случае победит. Или сенатор голосует «за» и способствует принятию президентской программы, или он голосует «против» и становится очень уязвимым на следующих выборах.

В конце концов, тот сенатор, как и некоторые другие демократы от «красных штатов», проголосовал «за», что, конечно же, отражало отношение его избирателей к вопросу об уменьшении налогов. Но подобные случаи показывают, с какими сложностями сталкивается меньшинство в системе двухпартийной политики. Сама идея межпартийного сотрудничества всем нравится. Средства массовой информации, например, просто души не чают в этом словосочетании, потому что оно очень хорошо контрастирует с другим — «межпартийные склоки», излюбленной темой репортажей с Капитолийского холма.

Подлинное межпартийное сотрудничество, однако, подразумевает честный компромисс, причем качество этого компромисса определяется тем, насколько он способствует достижению общей цели, будь то улучшения в системе образования или уменьшение бюджетного дефицита. Это, в свою очередь, подразумевает, что большинство будет ограничено в своих возможностях добросовестного обсуждения как придирчивой прессой, так и в основном хорошо информированным электоратом. Если не соблюдать эти условия, то есть если никого за пределами Вашингтона особенно не интересует содержание законопроекта, если сумма сокращений по налогам тонет в бухгалтерских хитросплетениях и занижается на триллион с чем-нибудь долларов, то партия большинства может начинать любые переговоры с того, чтобы потребовать стопроцентного выполнения своих условий, согласиться потом на десять процентов, а затем обвинять всех членов партии меньшинства в обструкционизме, потому что они не согласились пойти на предложенный им «компромисс». В этих условиях для партии меньшинства «межпартийное сотрудничество» обозначает просто хронический силовой нажим, хотя отдельные сенаторы могут получить свои политические дивиденды, сотрудничая с большинством и приобретая таким образом репутацию «умеренных» или «центристов».

Неудивительно, что есть и такие, кто настаивает, что сенаторы-демократы должны сегодня из принципа стоять насмерть против любой республиканской инициативы, даже такой, которая имеет определенные достоинства. Об этих людях можно точно сказать, что они никогда не баллотировались от демократов на высокую

должность в штате, где симпатии отданы республиканцам, и никогда не были мишенью многомиллионной антирекламы по телевидению. Каждый сенатор хорошо понимает, что за тридцать секунд такой рекламы можно легко и просто представить любой сложный законопроект источником зла, а вот чтобы внятно объяснить достоинства этого же законопроекта, понадобится минут двадцать, не меньше. Каждый сенатор знает еще и то, что за один срок своей работы он будет голосовать за несколько сотен законопроектов. Так что когда настанет время выборов, объяснять придется долго и упорно.

Во время моей сенатской кампании мне крупно повезло, что ни один из кандидатов не запустил адресованную мне антирекламу. Это связано с необычными обстоятельствами моего быдвижения, а вовсе не с отсутствием компрометирующего материала. До выдвижения я успел проработать в Законодательном собрании уже семь лет, шесть из которых оказывался в меньшинстве, и принимал участие в голосовании по почти тысяче непростых законопроектов. Согласно обычной сегодня практике, Национальная республиканская партия еще до моего выдвижения подготовила на меня увесистое досье, а мои аналитики потратили не один десяток часов, чтобы найти материалы, которые с успехом можно было бы противопоставить антирекламе, которой, вероятнее всего, запаслись республиканцы.

Много они не нашли, но все равно им хватило материала, чтобы разыграть нужную карту, — обнаружилось с десяток законопроектов, которые, без учета контекста, можно посчитать просто жуткими. Когда Дэвид Аксельрод, мой консультант по работе со СМИ, провел соответствующий опрос, мой рейтинг тут же упал на десять пунктов. Среди них оказался законопроект по уголовному праву, который должен был покончить с торговлей наркотиками в школах, но его так плохо составили, что я признал его и неэффективным, и не соответствующим Конституции. В опросе это было сформулировано так: «Обама проголосовал за смягчение наказания наркоторговцам, которые предлагают свой товар прямо в школах». Другой законопроект поддерживали противники абортов, и на фоне предыдущего он выглядел более-менее нормально — он предусматривал меры по спасению Жизни недоношенных детей (умалчивая при этом, что такие меры давным-давно закреплены в законодательстве), но приписывал некую «индивидуальность» плоду на раннем сроке беременности и этим противоречил прецеденту «Роу против Уэйда». В опросе говорилось, что я «проголосовал за отказ в спасении жизни недоношенных детей». Прочитав весь список до конца, я узнал, что, работая в Законодательном собрании штата, я проголосовал против закона, защищающего наших детей от сексуальных домогательств.

— Подожди-ка! — воскликнул я, вырывая листок из рук Дэвида. — Тогда я случайно нажал не ту кнопку. Я хотел проголосовать «за», и это, между прочим, тут же внесли в протокол!

Дэвид улыбнулся в ответ и взял у меня бумажку обратно:

— Знаешь, мне кажется, этот протокол в рекламу республиканцев не попадет. Да ладно, не вешай нос. Уверен, тебе это поможет, когда будет голосование по сексуальным преступлениям.

Иногда я думаю, что произошло бы, появись на телевидении такая реклама. Дело было бы даже не в том, проиграю я или нет, — предварительные выборы уже прошли, и я с перевесом в двадцать один голос победил своего республиканского оппонента, — нет, я уверен, что избиратели стали бы относиться ко мне по-другому и, работая в Сенате, я имел бы гораздо меньший кредит доверия. Именно это происходит со многими моими коллегами, республиканцами и демократами, когда об их ошибках трубят на всех углах, слова извращаются, а мотивы действий ставятся под сомнение. Для них это как боевое крещение; они помнят об этом каждый раз, когда голосуют, делают сообщение для печати или выступают с заявлением; они боятся не только вылететь из политической гонки, но, самое главное, потерять доверие тех, кто послал их в Вашингтон, тех, кто в свое время сказал им: «Мы надеемся на вас. Пожалуйста, не подведите».

Конечно, в нашей демократии существуют инструменты, которые могут ослабить непомерное давление на политиков, существуют и структуры, которые усиливают связь между избирателями и избираемыми. Внепартийные округа, регистрация в один и тот же день, выборы, организованные в выходные, — все это усиливает соревновательность и должно, по идее, привлекать больше электората, ведь чем больше электорат заинтересован, тем лучше достигается единство. Государственное финансирование кампаний, бесплатное время в телевизионном и радиоэфире отобьют вкус к поискам денег и уменьшат влияние заинтересованных групп. Изменения в процедуре Палаты представителей и Сената усилят позиции меньшинства, сделают работу законодателей более прозрачной, а отчеты — более тщательными.

Но все это не произойдет само по себе. Необходимо изменить отношение к этим вопросам тех людей, которые находятся у власти. Необходимо сделать так, чтобы каждый отдельный политик ополчился на существующий порядок; чтобы на политиков перестал давить груз занимаемой должности; чтобы они боролись не только с врагами, но и с друзьями во имя тех абстрактных идей, которые мало интересуют широкую публику. Необходимо рискнуть тем, что вы имеете.

Для всего этого требуется качество, которое в начале своей карьеры попробовал определить Джон Кеннеди, выздоравливая после тяжелой операции; он был героем войны, но, думая о более амбициозных целях, которые стояли перед ним, он признавал, что для этого нужно обладать большим мужеством. Некоторым образом чем дольше вы работаете в политике, тем легче вам обрести это мужество. Ведь что бы вы ни делали, всегда найдется недовольный; как бы вы ни голосовали, на вас будут нападать; рассудительность могут принять за трусость, а само мужество — за бесчувственный расчет; осознавая это, вы становитесь удивительно свободным. Я нахожу успокоение в мысли о том, что чем дольше я занимаюсь политикой, тем менее привлекательной становится популярность, что гонка за властью, положением и славой означает предательство моих собственных устремлений и что я держу ответ прежде всего перед своей собственной совестью.

А мои избиратели... После одной встречи в Годфри ко мне подошел пожилой джентльмен и возмущенно спросил, почему, выступая против войны с Ираком, я до сих пор не призвал к полному выводу оттуда войск. Мы немного поспорили, и я объяснил, что слишком поспешный вывод войск может закончиться не только гражданской войной, но и полномасштабным международным конфликтом на Ближнем Востоке. После разговора он пожал мне руку и сказал:

— Я все же не согласен с вами, но мне кажется, что вы хотя бы об этом думали. Да что там говорить — мне бы не понравилось, если бы вы кивали и во всем со мной соглашались.

— Спасибо, — ответил я.

Он ушел, а я вспомнил слова судьи Луиса Брандейса: самая важная должность в демократии — это должность гражданина.

ГЛАВА 5 Возможности

Когда становишся сенатором США, начинаешь много летать. Не меньше раза в неделю приходится летать в Вашингтон и обратно, летаешь также в разные штаты, чтобы произнести речь, собрать деньги или поддержать кампанию своих товарищей. Если вы представляете большой штат, такой как Иллинойс, приходится летать еще и по всему штату, чтобы встретиться с общественностью, перерезать ленточку и делать все, чтобы люди не подумали, будто о них забыли.

Я летаю обычными рейсами, сажусь в экономкласс на место у прохода или у окна и надеюсь только, что сидящий впереди пассажир не захочет откинуться в своем кресле.

Но бывает, что приходится летать на частном самолете — например, если надо посетить несколько мест на Западном побережье или попасть в тот город, куда только что улетел последний на сегодня рейс. Поначалу я не очень-то часто прибегал к этому способу, так как опасался, что цена будет непомерно высока. Но во время кампании мои сотрудники объяснили мне, что по действующим в Сенате правилам сенатор или кандидат может пользоваться частными самолетами, оплатив билет первого класса. Просмотрев график своих встреч и прикинув, сколько времени я могу на этом сэкономить, я решился попробовать.

Оказалось, что полеты на частном самолете — совсем другое дело. Частные самолеты отправляются с частных терминалов, а в залах ожидания, украшенных фотографиями старых самолетов, к вашим услугам уютные кожаные диваны и широкоэкранные телевизоры. В туалетах пусто и чисто, стоят автоматы для чистки обуви, бутылочки с жидкостью для полоскания рта и мятными таблетками. В таких терминалах никто никуда не спешит; самолет подождет, если вы опаздываете, и будет готов к вылету, если вы появитесь раньше. Очень часто в зал ожидания вы вообще не заходите, а машина провозит вас прямо на взлетную полосу. Или в зале ожидания вас встречают пилоты, забирают ваш багаж и сопровождают прямо к самолету.

Такие самолеты — сплошное удовольствие. Первый мой полет проходил на «Сайтейшн X» — быстрой, компактной, сверкающей машине с деревянными панелями и кожаными креслами, которые легко раскладывались в кровать, если вдруг захотелось поспать. Рядом со мной на столике стоял салат с креветками и тарелка с разными видами сыра; впереди располагался бар с напитками на все вкусы. Пилоты повесили мое пальто на вешалку, предложили газеты и спросили, хорошо ли мне. Мне было очень хорошо.

Самолет взлетел, и двигатели фирмы «Роллс-Ройс» загудели так же мерно, как у хорошей спортивной машины, под колесами которой лежит асфальтовая лента дороги. Самолет пробивался сквозь облака, а я включил небольшой монитор, расположенный прямо перед сиденьем. Появилась карта Соединенных Штатов, на которой символ, изображавший наш самолет, двигался на запад, и указывалась наша скорость, высота полета, расчетное время прибытия и температура воздуха за бортом. Набрав сорок тысяч футов, самолет перешел в горизонтальный полет, я смотрел на дугу горизонта, разбросанные по небу облака, а передо мной развертывалась карта нашей страны — сначала плоские, расчерченные клеточками полей равнины Западного Иллинойса, потом мощные, змеиные изгибы Миссисипи, затем поля и пастбища и, наконец, зубцы Скалистых гор, покрытые снегом; солнечный свет тем временем угасал, оранжевый закат сузился до тонкой красной полосы, которую потом сменили ночь, луна и звезды.

Я понял, как люди могли к такому привыкнуть.

Тогда я летел, чтобы собрать деньги для подготовки ко всеобщим выборам, — друзья организовали мне нужные встречи в Лос-Анджелесе, Сан-Диего и Сан-Франциско. Но больше всего в тот раз мне запомнилась поездка в город Маунтин-Вью в штате Калифорния. Город этот находится в нескольких милях к югу от Стэнфордского университета и Пало-Альто, в самом сердце Силиконовой долины, и там располагается штаб-квартира «Гугла».

К середине 2004 года компания «Гугл» уже достигла высочайшего статуса, символизируя не только растущую мощь интернета, но и стремительную трансформацию глобальной экономики. По дороге из Сан-Франциско я еще раз перечитал историю компании: два выпускника компьютерного факультета Стэнфордского университета, Ларри Пейдж и Сергей Брин, начали создавать свою поисковую систему в комнате общежития; в 1998 году, заработав миллион долларов на разных контрактах, они создали систему «Гугл» с тремя сотрудниками, которые работали в гараже; со временем «Гугл» разработал модель контекстной рекламы, которая не была навязчива и имела прямое отношение к тому, что ищет пользователь, и это сохранило прибыльность фирмы даже когда дотком-пузырь лопнул; а через шесть лет после основания биржевой курс ее акций стал таким, что сделал мистера Пейджа и мистера Брина одними из богатейших людей в мире.

Маунтин-Вью имел вид самого обычного калифорнийского городка — тихие улицы, новенькие, блестящие офисные здания, скромные домики, которые, с учетом покупательной способности обитателей Силиконовой долины, тянут не меньше чем на миллион. Мы остановились перед комплексом современных зданий, где нас уже ждал главный консультант Дэвид Драммонд, афроамери-канец примерно моих лет, который и организовал для меня эту встречу.

— Когда Ларри и Сергей обратились ко мне с предложением о работе, я думал, что они просто смышленые парни, которые хотят начать свое дело, — сказал Дэвид. — Но такого я не ожидал.

Он провел меня по главному зданию, больше похожему на студенческий центр в колледже, чем на офис, — на первом этаже кафе, где шеф-повар, который до работы в компании «Гугл» готовил для членов группы «Грейтфул Дэд», наблюдал за приготовлением изысканных блюд для всех сотрудников; там же располагался зал

для видеоигр, столы для настольного тенниса и полностью оборудованный спортивный зал («Люди проводят здесь много времени, так пусть им будет хорошо»). На втором этаже мы шли мимо молодых мужчин и женщин, чуть за двадцать, одетых в джинсы и майки, некоторые сосредоточенно смотрели на экраны компьютеров, некоторые, сидя на диванах и больших резиновых гимнастических мячах, оживленно беседовали.

Наконец мы дошли до Ларри Пейджа, который обсуждал с инженером какой-то сбой в программном обеспечении. Он был одет так же, как и его сотрудники, и по виду ничем не отличался от них, кроме нескольких прядей ранней седины в волосах. Мы поговорили о цели «Гугла» — организовать всю мировую информацию в общедоступной, нефильтрованной, удобной для пользования форме — и о количестве сайтов, которое уже тогда составляло больше шести миллиардов веб-страниц. Только что компания запустила новую систему электронной почты со встроенной функцией поиска. Разрабатывалась технология голосового поиска при помощи телефона, начиналась работа над проектом «Поиск книг», в рамках которого должны были сканироваться и переводиться в веб-формат все когда-либо опубликованные книги и в перспективе получилась бы виртуальная библиотека, сокровищница всех знаний, накопленных человечеством.

В конце экскурсии Ларри привел меня в комнату, где трехмерное изображение нашей планеты вращалось на большом мониторе с плоским экраном. За компьютером работал молодой инженер-индеец, и Ларри попросил его объяснить мне, что это такое.

— Этими огоньками отмечены все поисковые процессы, которые сейчас ведутся, — сказал инженер. — Каждый язык обозначен своим цветом. Переключаете вот так, — тут он поменял картинку на экране, — и вы видите модели трафика всего интернета.

Картинка завораживала, она казалась живой, не механической, как будто я смотрел на ранние стадии ускоряющегося процесса эволюции, в котором все границы между людьми — национальность, раса, религия, богатство — вдруг сделались невидимыми и незначимыми, так что физик из Кембриджа, биржевой трейдер из Токио, ученик из какой-нибудь далекой индийской деревни, менеджер универмага в Мехико находились в непрерывном, постоянном живом общении, которому не препятствовали ни время, ни пространство, в мире, залитом светом. Потом я заметил широкие полосы темноты на вращавшемся вокруг своей оси земном шаре — множество в Африке, несколько в Южной Азии и даже в Америке, где мощные лучи света распадались на тонкие нити.

Созерцание прервал Сергей, человек небольшого роста, чуть моложе Ларри. Он пригласил меня присоединиться к их общему собранию, потому что визит мой пришелся на пятницу. С самого основания компании эта традиция неукоснительно соблюдалась — все сотрудники «Гугл» собирались вместе и за едой и пивом говорили обо всем, о чем хотели. Мы вошли в большой зал, где уже сидели молодые люди, — кто-то пил, смеялся, кто-то что-то печатал на палмтопах или ноутбуках, стоял гул оживленных голосов. Человек пятьдесят вели себя немного тише. Дэвид объяснил, что это новые сотрудники, выпускники последипломного курса; сегодня их должны были представить коллективу «Гугла». Каждого нового сотрудника представили лично, и их лица появлялись на большом экране вместе с информацией об их образовании, увлечениях, интересах. Не меньше половины выпускников были выходцами из Азии, у многих белых имена и фамилии были восточноевропейские. Насколько я заметил, черных и латиноамериканцев среди них не оказалось. Я сказал об этом Дэвиду, когда мы шли обратно к машине, и он кивнул.

— Мы знаем, что есть такая проблема, — согласился он и сказал, что «Гугл» делает многое, чтобы на математических и естественно-научных факультетах училось больше представителей меньшинств и девушек.

Но, чтобы оставаться конкурентоспособным, «Гугл» должен привлекать лучших математиков, инженеров и программистов, питомцев Массачусетского и Калифорнийского технологических институтов, Стэнфорда и Беркли. А в этих заведениях, как выразился Дэвид, черных и латиноамериканских студентов можно было пересчитать по пальцам на одной руке.

Но это еще не все. По словам Дэвида, все труднее становилось найти инженера любой расы, рожденного в Америке, — вот почему все компании Силиконовой долины активно привлекают на работу иностранных студентов. Недавно лидерам бизнеса высоких технологий пришлось изрядно поволноваться: после 11 сентября многие иностранцы стали задумываться, стоит ли ехать учиться в Америку, потому что получить визу было довольно сложно. Первоклассным инженерам и разработчикам программного обеспечения теперь не нужно было приезжать в Силиконовую долину в поисках работы или финансирования для новой компании. Хайтек-бизнес стремительно разворачивался в Индии и Китае, а венчурные фонды работали по всему миру; они готовы были инвестировать и в Бомбей, и в Шанхай, и в Калифорнию. А в долгосрочной перспективе, сказал Дэвид, это может серьезно подорвать американскую экономику.

— Мы и дальше будем привлекать способных ребят, — говорил он, — ведь мы уже раскрученный бренд. Но начинающие, молодые компании могут создать свой «Гугл», и что тогда? Я все-таки надеюсь, что в Вашингтоне понимают, насколько сейчас усилилась конкуренция. Наше господство не бесконечно.

Примерно в то же время у меня была еще одна поездка, которая заставила задуматься о том, что происходит с американской экономикой. Я ехал на машине по пустому шоссе, в город под названием Гейлсберг, расположенный в Западном Иллинойсе, километрах в сорока пяти от границы с Айовой.

Гейлсберг был основан в 1836 году как университетский город, но некоторое время спустя пресвитериане и конгрегационалисты из Нью-Йорка решили, что пора продвинуть реформы и практическое образование к западной границе. Созданный ими колледж Нокс в годы Гражданской войны стал центром движения аболиционистов; один из маршрутов Подземной железной дороги пролегал как раз через Гейлсберг, а до переезда в Миссисипи в подготовительной школе колледжа учился первый черный сенатор США Хайрам Роде Ревеле. В 1854 году в Гейлсберге построили станцию железной дороги Чикаго — Берлингтон — Куинси, что вызвало резкий рост торговли. Через четыре года десять тысяч человек слушали здесь пятые дебаты Линкольна и Дугласа, в ходе которых Линкольн впервые сформулировал свое отношение к рабству как к моральной проблеме.

Однако не богатое историческое наследие привело меня в Гейлсберг. Здесь я должен был встретиться с

лидерами профсоюзов завода корпорации «Мейтэг», потому что руководство объявило об увольнении тысячи шестисот сотрудников и перебазировании предприятия в Мексику. Как и все города Центрального и Западного Иллинойса, Гейлсберг сильно страдал от перевода производства за рубеж. В последние годы уже закрылись заводы деталей для тяжелой промышленности и резиновых шлангов; во время моего приезда сворачивала производство сталелитейная компания «Батлер мэнюфэкчуринг», которую купили австралийцы. Безработица в Гейлсберге составляла почти восемь процентов. А после закрытия «Мейтэга» город терял еще пять — десять процентов рабочих мест.

В зале профсоюза машинистов на откидных металлических сиденьях сидели семь или восемь мужчин и две или три женщины, тихо переговаривались между собой, некоторые курили. Всем им было около пятидесяти, все были одеты в джинсы или хлопчатобумажные брюки, майки, простые клетчатые рубашки. Председатель профсоюза, Дейв Бевард, крупный мужчина с могучим торсом, темной бородой, в черных очках и шляпе, напоминал музыканта из группы «Зи-Зи-Топ». По его словам, союз испробовал все тактики, чтобы руководство изменило свое решение, — встречи с прессой, беседы с акционерами, обращение за помощью к властям города и штата. Ничего не помогало, руководство «Мейтэга» стояло на своем.

— Эти ребята получают свою прибыль! — горячился Дейв. — Вот спросите их, вам скажут, что наш завод — один из самых лучших в компании. Рабочие квалифицированные, брака почти нет. А зарплаты урезают, льготы отбирают, производство останавливают. Штат и город за восемь лет дали «Мейтэгу» почти на десять миллионов налоговых льгот, лишь бы он остался здесь. Но им все мало! Большой начальник, и так уже миллионер, решил, что ему нужно повысить курс акций компании, чтобы вложить деньги в какие-то свои дела. А как это проще всего сделать? Перевести завод в Мексику и платить там одну шестую того, что мы получаем здесь.

Я спросил их, предлагали ли федеральные и местные власти переобучить рабочих, но в ответ раздался горький смех.

— Переобучить, скажете тоже! — произнес Даг Ден-нисон, заместитель председателя профсоюза. — На кого переучивать, когда здесь нет рабочих мест.

Инспектор биржи труда посоветовал ему освоить профессию санитара, с зарплатой чуть больше, чем у уборщицы магазина «Уол-март». Один молодой человек рассказал свою, совсем уж невеселую историю: он решил переучиться на компьютерщика, но после недели обучения «Мейтэг» затребовал его обратно. Работать надо было неполную неделю, но по правилам завода, если бы он отказался, ему не оплатили бы курс переобучения. Если бы он, наоборот, согласился, вернулся на завод и перестал ходить на курсы, то Федеральное агентство посчитало бы, что он уже один раз прошел курс переобучения, и не оплатило бы следующий.

Я пообещал людям, что расскажу об их проблемах в ходе своей кампании, и познакомил с предложениями, выработанными моим предвыборным штабом, — изменить налоговое законодательство в части уменьшения налоговых льгот для тех компаний, которые переводят производство за рубеж, пересмотреть и усилить финансирование федеральных программ переобучения. Я уже собрался уходить, когда со своего места поднялся высокий, крепкий мужчина в бейсболке. Он назвал свое имя — Тим Уилер — и сказал, что он возглавляет профсоюз на сталелитейном заводе «Батлер». Там рабочих уже известили об увольнении, и Тим в то время получал пособие по безработице и раздумывал над тем, что делать дальше. Больше всего он волновался из-за медицинской страховки.

— Моему сыну Марку нужна пересадка печени, — хмуро сказал он. — Мы записались в лист ожидания донора, но медицинское пособие по уходу за больным мы уже израсходовали и теперь прикидываем, хватит ли нам «Медик-эйда», чтобы все оплатить. Никто мне ничего не говорит, знаете, я ради Марка все продам, залезу в долги, но я не...

Тим замолчал; его жена, которая сидела рядом, склонилась и закрыла лицо руками. Я пообещал им, что мы узнаем, сколько расходов покроет «Медикэйд». Тим кивнул и положил руку на плечо жены.

По дороге домой, в Чикаго, отчаяние Тима не выходило у меня из головы: работы нет, сын болеет, деньги кончаются...

О таком вы не услышите в частном самолете, на высоте сорок тысяч футов над землей.

В наши дни ни левые, ни правые не спорят о том очевидном факте, что мы проходим через фундаментальную трансформацию экономики. Прорыв в цифровых технологиях, волоконная оптика, интернет, спутники, развитие транспортной сети решительно смели экономические барьеры между странами и континентами. Потоки капитала растекаются по миру в поисках лучшего приложения, несколько щелчков клавиш перемещают миллиарды долларов через границы. Распад Советского Союза, рыночные реформы Индии и Китая, устранение помех на пути развития торговли, появление огромных гипер-маркетов вроде «Уол-марта» втянули несколько миллиардов людей в прямое соревнование с американскими компаниями и американскими рабочими. Не знаю, стал ли уже весь мир плоским, как выразился журналист и писатель Томас Фридман, но что он становится плоским — это точно.

Нет сомнений, что глобализация принесла американским потребителям много пользы. Снизились цены на товары, некогда считавшиеся предметами роскоши, от широкоэкранных телевизоров до персиков зимой, увеличилась покупательная способность американцев с низким уровнем дохода. Удалось взять инфляцию под контроль, увеличить выплаты миллионам американцев, торгующим на фондовой бирже, открыть новые рынки для американских товаров и услуг, а такие страны, как Индия и Китай, сумели решительно повести борьбу с бедностью, что в конечном счете сделает мир более стабильным.

Но нельзя отрицать и того, что глобализация значительно усилила экономическую нестабильность миллионов обычных американцев. Чтобы остаться конкурентоспособными и не сердить инвесторов на мировом рынке, компании, расположенные в США, вынуждены были автоматизироваться, уменьшаться, перебазироваться в менее дорогие регионы, уходить в другие страны. С тех пор они держат курс на увеличение заработной платы и заменили пенсионные и медицинские планы с фиксированными выплатами планом 401 (к), то есть договоренностью об уплате наличными, что обходится работникам гораздо дороже и дает меньше гарантий.

Результатом всего этого стала экономика, построенная, как кто-то выразился, на принципе «победитель получает все», когда прилив поднимает далеко не все лодки. Прошедшее десятилетие было отмечено стабильным экономическим ростом, но вялым ростом занятости; скачком производительности труда, но сохранением размера заработной платы; небывалыми прибылями корпораций, но уменьшением доли прибыли, причитающейся рабочим. Для таких, как Ларри Пейдж и Сергей Брин, для одаренных, талантливых людей, для квалифицированных специалистов — инженеров, юристов, консультантов, маркетологов, — которые облегчают их работу, возможности, предоставляемые мировым рынком, никогда еще не были столь благоприятны. Но для рабочих завода «Мейтэг», которых можно заменить автоматами, станками с ЧПУ (или компания вообще закроет завод и переведет производство в страны с более дешевой рабочей силой), последствия могут оказаться губительными — растущий рынок низкооплачиваемых рабочих мест в сфере обслуживания, крайне ограниченный набор льгот, риск финансовой катастрофы в случае болезни, невозможность подкопить денег к пенсии или на обучение детей.

Со всем этим надо что-то делать. С начала девяностых годов, когда все эти тенденции только еще начинали проявляться, то крыло Демократической партии, которое возглавлял Билл Клинтон, взяло курс на новую экономику, поощряло свободу торговли, налоговую дисциплину, реформы образования и обучения, которые со временем должны были помочь рабочим успешно конкурировать в борьбе за высокооплачиваемую, престижную работу. Но в своей массе демократы, особенно активисты рабочих профсоюзов, такие как Дейв Бевард, воспротивились этим благим намерениям. В их понимании свобода торговли служила прежде всего интересам Уолл-стрит, но не могла остановить сокращение хорошо оплачиваемых рабочих мест в Америке.

Республиканцы тоже страдают от разногласий. В свете недавней кампании против нелегальной иммиграции, например, консервативные взгляды Пата Бьюкенена о первенстве Америки получили второе рождение в рядах «Великой старой партии» и стали противовесом курсу администрации Буша на свободу торговли. В кампании 2000 года и в начале своего первого срока Джордж Буш предложил усилить законодательную роль правительства, ввести так называемый «сострадательный консерватизм», который, как настаивает Белый дом, выразился в реформе медицинского страхования, реформе образования под лозунгом «Внимание к каждому ребенку» и вызвал настоящий приступ изжоги у консерваторов более мелкого ранга.

Но для большинства экономическая программа республиканцев при президенте Буше свелась к уменьшению налогового бремени, ослаблению законодательства, приватизации государственных служб и... еще большим налоговым льготам. Администрация говорит об «обществе самостоятельных людей», но большинство из основных положений этой программы перекликаются с лозунгами либеральной экономики образца тридцатых годов: уверенность в том, что резкое сокращение — или, в некоторых случаях, уменьшение — налога на доходы, крупную недвижимость, прирост капитала и дивиденды будут способствовать образованию капитала, повышению экономической эффективности, увеличению капиталовложений, усилению экономического роста; убежденность, что правительственный контроль только вредит нормальному функционированию рынка; искренняя вера в то, что правительственные программы адресной помощи изначально неэффективны, порождают лишь зависимость, безответственность, безынициативность и не дают никакого выбора.

Как лаконично выразился Рональд Рейган: «Правительство — это не решение наших проблем; правительство само — проблема».

Пока что администрация Буша решила лишь половину этого уравнения; Конгресс под контролем республиканцев нескольких раз обсуждал вопрос об уменьшении налогов, но отказался принять непростое решение о контроле над расходами — ассигнования на поддержку «групп по интересам», которые называются еще «резервными деньгами», за годы президентства Буша возросли до шестидесяти четырех процентов. В то же время законодатели-демократы (и вместе с ними широкая общественность) ощутили значительное сокращение жизненно важных инвестиций и немедленно отклонили предложение администрации о приватизации программы социального страхования. Непонятно, действительно ли администрация убеждена, что последующий за этим дефицит федерального бюджета и национальный долг, который растет в геометрической прогрессии, — это несерьезно. Но ясно, что большая задолженность никак не поможет будущей администрации осуществить новые вложения для борьбы с экономическими проблемами глобализации или для укрепления общеамериканской сети всеобщей безопасности.

Не хочу преувеличивать последствия этой тупиковой ситуации. Политика ничегонеделания и попустительства глобализации не приведет к немедленному коллапсу экономики США. Американский ВНП пока еще больше, чем У Китая и Индии, вместе взятых. Пока что, по крайней мере, компании, расположенные в США, удерживают первенство в разработке программного обеспечения и фармации, а нашим университетам и колледжам завидуют во всем мире.

Но в перспективе ничегонеделание создаст совершенно другую Америку, непохожую на ту, в которой мы выросли. Экономически и социально население расслоится значительно сильнее, чем сейчас: все более процветающий класс ученых мужей будет жить в неких эксклюзивных сообществах, будет иметь возможность приобретать на рынке все, что ему нужно, — частное образование, частную медицину, частную безопасность и частные самолеты, в то время как огромное количество их сограждан будет обречено на низкооплачиваемую работу в сфере обслуживания, постоянные переезды с места на место, увеличение рабочего времени, зависимость от плохо финансируемого, перегруженного, нереформированного государственного здравоохранения, пенсионного обеспечения и школьного образования.

Мы получим Америку, в которой так и будем закладывать свои активы иностранным кредиторам и зависеть от капризов нефтедобытчиков; Америку, где мы не сможем достаточно финансировать базовые научные исследования и обучающие программы, которые будут определять наши долгосрочные экономические перспективы, игнорируя при этом возможный вред окружающей среде. Америка станет еще более политически поляризованной и еще менее политически стабильной, так как недовольство экономическим курсом станет все сильнее и заставит людей обращать свой гнев друг на друга.

Хуже всего то, что это сильно ограничит возможности молодых американцев и приведет к резкому замедле-

нию мобильности, которая с самого основания двигала историю нашей страны.

Не такую Америку хотим мы оставить своим детям. Я твердо верю, что у нас есть способности и возможности, чтобы создать лучшее будущее, будущее с сильной экономикой и процветающим обществом. Строить такое будущее мешает нам вовсе не отсутствие хороших идей. У нас нет общенационального стремления к решительным шагам, чтобы сделать Америку более конкурентоспособной, как нет и единой точки зрения на роль правительства в рыночной экономике.

Чтобы встать на единую точку зрения, нам нужно совершить экскурс в историю развития нашей рыночной системы. Известно высказывание Калвина Кулиджа: «Основной бизнес Америки — это бизнес». И действительно, трудно найти другую такую страну, которая более отвечает логике рынка. Наша Конституция помещает владение частной собственностью в самый центр нашей системы свободы. Наши религиозные воззрения высоко оценивают трудолюбие и воспитывают в нас убеждение, что за добродетельную жизнь обязательно последует материальное вознаграждение. В богатых мы видим, скорее, не объект зависти и критики, а образец, и наша мифология изобилует историями о людях, которые достигли всего сами, — об эмигранте, который приехал сюда без гроша и выбился в люди, или о молодом человеке, который двинулся на Запад в поисках своей фортуны. Как удачно выразился Тед Тернер, деньги в Америке — это средство счета.

На этой почве культуры бизнеса страна расцвела так, как не удавалось еще ни одной стране в истории. Стоит выехать за границу, чтобы в полной мере оценить, насколько лучше в Америке; даже беднейшие слои населения получают бесплатно товары и услуги — электричество, чистую воду, элементарную домашнюю сантехнику, телефоны, телевизоры, бытовую технику, о которых во многих странах мира можно только мечтать. Америке исключительно повезло, что ее территория — одна из наиболее обеспеченных природными ресурсами в мире, но не только они способствуют нашим успехам в экономике. Наше величайшее достояние — наша система организации общества, система, которая вот уже не одну сотню лет поощряет непрерывное обновление, личную инициативу, эффективное использование ресурсов.

Поэтому не стоит удивляться, что мы склонны принимать нашу систему свободного рынка как данность, предполагая, что она исправно работает согласно закону спроса и предложения, управляемая невидимой рукой Адама Смита. Из этого следует, что не будет большой ошибкой считать, будто любое вторжение правительства в магию рыночного механизма — налогообложение, законодательство, судебные процессы, тарифы, меры по охране труда, расходы на адресную помощь — обязательно станет ударом по частному предпринимательству и затормозит экономический рост. Несостоятельность коммунизма и социализма как альтернативных систем экономической организации лишь подкрепила это убеждение. В любом нашем учебнике по экономике и в любом современном политическом споре невмешательство подразумевается по умолчанию; и тот, кто не согласится с этим, рискует плевать против ветра.

И все же полезно напомнить самим себе, что наша система свободного рынка возникла не сама по себе и не по Божьему промыслу. Она стала итогом долгого пути, проб и ошибок, трудным выбором между целесообразностью и справедливостью, переменами и привычками. И хотя преимущества нашей системы свободного рынка выросли из труда многих и многих людей, которые стремились воплотить в жизнь свои представления о счастье, во времена экономической нестабильности и потрясений необходимо вмешательство правительства, чтобы открыть новые возможности, поощрить конкуренцию, заставить рынок работать лучше.

В самом общем виде вмешательство правительства может принимать три основные формы. Во-первых, всю нашу историю именно правительство выстраивало инфраструктуру, обучало рабочую силу и создавало другие условия, необходимые для экономического роста. Все отцы-основатели признавали связь между частной собственностью и свободой, но Александр Гамильтон первым признал гигантский потенциал национальной экономики, основанной не только на сельскохозяйственном прошлом Америки, но и на ее торгово-промышленном будущем. Гамильтон утверждал, что для реализации этого потенциала Америке необходимо сильное и активное правительство, и, став первым в истории министром финансов США, сделал многое для воплощения своих идей в жизнь. Он национализировал долг, оставшийся после Войны за независимость, что не только объединило экономику всех штатов, но и помогло созданию общегосударственной кредитной системы и подвижного рынка капитала. От жесткого патентного законодательства до высоких тарифов — везде он последовательно проводил политику поощрения американского производителя и предлагал делать вложения в строительство дорог и мостов, чтобы способствовать движению товаров на рынке.

Гамильтон столкнулся с яростным сопротивлением Томаса Джефферсона, опасавшегося, что сильное правительство, привязанное к здоровым экономическим интересам, может нанести ущерб его представлению об уравнительной демократии, привязанной к земле. Но Гамильтон понимал, что, только освободив капитал от интересов местных землевладельцев, Америка привлечет самый могущественный ресурс — энергию и предприимчивость своего народа. Эта идея мобильного общества стала одним из самых первых достижений американского капитализма; промышленный и торговый капитал, может быть, и усилили нестабильность, но создали динамичную систему, в которой каждый энергичный и способный человек мог подняться к вершине. С этим Джефферсон соглашался — идея вытекала из его веры в потенциал общества равных возможностей, а не наследственной аристократии; именно Джефферсон поддержал создание государственного, финансируемого правительством университета, который давал бы образование талантам со всей страны, а основание Виргинского университета он вообще считал одним из главных своих деяний.

Достойным продолжателем этой традиции влияния правительства на инфраструктуру Америки и на ее народ стали Авраам Линкольн и первые республиканцы. Для Линкольна возможность являлась самой сутью Америки, а труд свободных людей — способом преуспеть в жизни. Линкольн полагал капитализм лучшим средством создать такую возможность, но он не закрывал глаза на то, что переход от аграрного к индустриальному обществу разрушит не одну жизнь и уничтожит не одно поселение.

В самый разгар Гражданской войны Линкольн предпринял ряд мер, которые не только заложили основы единой национальной экономики, но и предоставили новые возможности огромному количеству людей. Он

настоял на строительстве первой трансконтинентальной железной дороги. Он учредил Национальную академию наук для проведения фундаментальных исследований и изысканий, которые могли бы помочь в разработке новых технологий и иметь практическое применение. В 1862 году он принял исторический закон о гомстедах, который позволил выходцам из восточных штатов освоить огромные пространства американского Запада, а значит, помочь развитию молодой экономики Америки. После этого он не бросил фермеров на произвол судьбы, а учредил систему земельных наделов колледжам, где фермеры могли изучать последние достижения агротехники и получить такое образование, которое позволяло им мыслить шире, нежели только об интересах своей фермы.

Убежденность Гамильтона и Линкольна в том, что ресурсы и власть правительства скорее помогут, нежели воспрепятствуют развитию свободного, живого рынка, стала общей платформой республиканцев и демократов на ранних этапах американской истории. Плотина Гувера, Управление ресурсами бассейна Теннесси, общенациональная система шоссейных дорог, интернет, проект «Геном человека» — все это примеры того, как правительство проложило дорогу очень активной частной экономической деятельности. Создав систему государственных школ и учреждений высшего образования, приняв «солдатский Билль о правах», правительство предоставило своим гражданам возможность адаптироваться к постоянно меняющемуся миру и новым технологиям.

За исключением необходимых инвестиций, которые частный предприниматель не хочет или не будет делать самостоятельно, активно действующее правительство оказалось незаменимым в трудные для рынка времена — когда проявляются те неизлечимые болячки капиталистической системы, которые или снижают эффективность работы рынка, или наносят непоправимый вред обществу. Теодор Рузвельт понял, что власть монополий препятствует конкуренции, и сделал «борьбу с трестами» главным делом своей администрации. Вудро Вильсон учредил Федеральный резервный банк для управления денежными запасами и усмирения паники, периодически охватывающей финансовые рынки. Правительство страны и штатов разработали первые законы потребительского права — «О чистоте продуктов питания и лекарств», «О проверке качества мяса», которые защитили американцев от опасных продуктов.

Роль правительства в регулировании рынка проявилась особенно явно в 1929 году, когда обвалился фондовый рынок и разразилась Великая депрессия. Доверие инвесторов пошатнулось, крах банков чуть не погубил всю финансовую систему, потребительский спрос и инвестиции в бизнес стремительно падали, и в этих условиях Франклин Делано Рузвельт выработал ряд правительственных мер, которые остановили казавшийся очевидным развал экономики. В последующие за этим восемь лет администрация «Нового курса» экспериментировала с различными вариантами возрождения экономики, и, хотя не все они привели к ожидаемым результатам, они все же создали ту структуру регулирования, которая до сих пор ограничивает риск экономического кризиса: Комиссия по ценным бумагам и биржам отвечает за прозрачность финансовых рынков и защищает мелких инвесторов от махинаций и манипуляций, Федеральная корпорация страхования банковских вкладов гарантирует уверенность вкладчикам, а антициклическая налоговая и денежная политика — уменьшение налогового бремени, увеличение ликвидности, прямых государственных расходов — стимулирует спрос, когда бизнес и потребители отшатываются от рынка.

В конце концов, и это, пожалуй, наиболее неоднозначно, правительство помогло разработать общественный договор между бизнесом и рабочими Америки. В первые сто пятьдесят лет американской истории капитал сосредоточивался в основном в трестах и компаниях с ограниченной ответственностью, законодательство и руководство запрещало рабочим объединяться в союзы, которые сделали бы их более сильными. У рабочих почти не было защиты от тяжелых и бесчеловечных условий труда, не важно, в горячем цеху или на мясокомбинате. Американская культура не позволяла жалеть рабочих, доведенных до крайности периодическими вспышками так называемого «созидательного разрушения», — для достижения успеха нужно было больше трудиться, а не ждать помощи от государства. Ма-ло-мальские гарантии давал только ненадежный и скудный ручеек частной благотворительности.

Чтобы правительство устранило этот дисбаланс, понадобилась встряска Великой депрессии, когда треть населения оказалась без работы, не могла жить в хороших домах, хорошо одеваться и хорошо питаться. За два года работы Франклин Делано Рузвельт провел через Конгресс закон «О социальной защите» 1935 года, этот краеугольный камень нового государства всеобщего благосостояния, который поднял почти половину всех взрослых граждан из нищеты, гарантировал выплату пособия тем, кто лишился работы, обеспечивал скромные выплаты малоимущим пенсионерам и инвалидам. Рузвельт принял законы, которые в корне изменили отношения труда и капитала: о сорокачасовой рабочей неделе, об ограничении детского труда, о минимальном размере заработной платы; а Национальный закон о трудовых отношениях разрешил создание мощных объединений промышленных рабочих и заставил работодателей заключать добросовестные соглашения.

Принятие Рузвельтом этих законов стало логическим следствием кейнсианской теории, которая гласит, что единственное средство от экономической депрессии — увеличение чистого дохода американских рабочих. Но Рузвельт понимал еще, что капитализм в демократическом обществе требует согласия всего населения и что, наделяя рабочих большим куском экономического пирога, его реформы значительно уменьшат возможную привлекательность правительственного контроля и разного рода командных систем — фашистской ли, социалистической ли, коммунистической ли, которые как раз в то время набирали силы в Европе. Как он сказал в 1944 году, «диктатуры делаются из голодных и безработных».

Некоторое время казалось, что на этом все и закончится, что Рузвельт спасет капитализм от самого себя активной работой федерального правительства, которое делает вложения в людей и инфраструктуру, регулирует рынок и защищает труд от хронического ухудшения условий. И действительно, в последующую четверть века и при республиканских, и при демократических администрациях эта модель государства всеобщего благосостояния по-американски имела самую широкую поддержку. Некоторые правые жаловались на наступление ползучего социализма, и были левые, которые считали, что Рузвельт не довел свои реформы до конца. Но гигантский рост доли массового производства в американской экономике, невероятный разрыв между промышленным по-

тенциалом США и раздираемых войной стран Европы и Азии прекратили все словесные баталии. Не имея серьезных соперников, американские компании спокойно переносили высокие затраты на рабочую силу и регулирование на своих заказчиков. Полная занятость позволила объединенным в профсоюзы промышленным рабочим перейти в средний класс, содержать семью на одну заработную плату, пользоваться благами медицинских и пенсионных фондов. В этой обстановке растущих прибылей корпораций и повышения заработков политики почти не встретили сопротивления, когда увеличивали налоги и ужесточал регулирование в решении насущных проблем; при администрации Джонсона эту цель преследовала программа «Великого общества» — «Меди-кэр», «Медикэйд», страховка, а при Никсоне — Управление по охране окружающей среды и Управление охраны труда.

В этом триумфе либерализма было лишь одно уязвимое место — капитализм не стоял на месте. К семидесятым годам начал замедляться рост промышленного производства США, этот двигатель послевоенной экономики. ОПЕК уверенно становился на ноги, зарубежные нефтедобытчики захватывали все большую долю мировой экономики, и Америка стала страдать от перебоев с поставками энергоносителей. Американские компании получили конкурентов в лице азиатских компаний, поставлявших более дешевый продукт, а к восьмидесятым годам вал дешевого импорта — ткани, обувь, электроника и даже машины — начал захлестывать и внутренний рынок. Одновременно многонациональные корпорации, расположенные в США, начали выводить производство за границу — и для того, чтобы выйти на иностранные рынки, и для того, чтобы заполучить более дешевую рабочую силу.

В этой обстановке все более усиливающейся международной конкуренции перестала себя оправдывать старая формула работы корпораций со стабильной прибылью и неповоротливой системой управления. При меньших возможностях увеличения стоимости или изготовления дешевого товара корпоративные прибыли и доля рынка снизились, и акционеры корпораций стали требовать увеличения рыночной цены. Некоторые корпорации пошли по пути автоматизации и инноваций. Остальные резко сократили количество рабочих мест, запретили создание профсоюзов, продолжили вынесение производств за границу. Те управленцы, которые не приспособились к новым условиям, стали жертвами рейдерства и виртуозов поглощения, совершенно не думающих о простых сотрудниках, жизнь которых заходила в тупик, или о тех городках, которые прекращали свое существование. Так или иначе, американские корпорации адаптировались, и отрицательные последствия этой адаптации приняли на себя все промышленные рабочие старой школы и небольшие города вроде Гейлсберга.

Красноречивый Рейган любил преувеличивать расцвет государства всеобщего благосостояния за последние четверть века. В лучшие годы доля федерального бюджета в общем объеме экономики США значительно уступала аналогичному показателю в странах Западной Европы, даже если включить сюда гигантские суммы на развитие оборонной промышленности. Но все же та консервативная революция, которой помогал Рейган, имела множество сторонников потому, что главная мысль президента — о том, что либеральное государство всеобщего благосостояния получилось слишком самодовольным и чересчур бюрократизированным, о том, что политики-демократы кинулись делить экономический пирог, вместо того чтобы думать о том, как сделать его больше, — оказалась не столь уж далекой от истины. Слишком уж много менеджеров корпораций, надежно защищенных от конкуренции, перестали приносить прибыль, слишком уж много бюрократов в правительстве перестали интересоваться, не переплачивают ли их акционеры (то есть рядовые налогоплательщики) и их потребители (то есть пользователи правительственных услуг).

Далеко не каждая правительственная программа оказывалась столь эффективной, как от нее ожидали. С некоторыми функциями лучше справлялся частный сектор, так же как иногда рыночные меры приводят к тем же результатам, что и жесткое регулирование, причем с меньшими затратами и большей гибкостью. Высокие предельные ставки налога, которые действовали, когда Рейган пришел к власти, может быть, и не сдерживали стимулы к работе и инвестициям, но не в лучшую сторону влияли на решения инвесторов и в конечном счете привели к затратной экономике и появлению массы законных способов уменьшить суммы выплачиваемых налогов. И хотя система пособий определенно вытащила из нужды многих американцев, она же стала настоящей катастрофой для трудовой этики и стабильности семьи.

Рейган был вынужден договариваться с Конгрессом, где тогда в большинстве были демократы, и поэтому так и не осуществил свои далеко идущие планы по сокращению правительства. Но именно он радикально поменял условия политических дебатов. Протест среднего класса против налогов стал данностью общегосударственной политики и положил предел расширению правительственных структур. Для многих республиканцев невмешательство в деятельность рынка стало прямо-таки принципиальной позицией.

Конечно же, многие избиратели во времена экономических катаклизмов продолжали возлагать надежды на власть, и призыв Билла Клинтона к более активному вмешательству правительства в экономику помог ему пройти в Белый дом. После катастрофического провала его плана здравоохранения и выборов 1994 года в Конгресс, на которых выиграли республиканцы, Клинтон умерил свои амбиции, но сумел достичь некоторых целей, которые декларировал Рейган. Сказав «до свидания» эре большого правительства, Клинтон законодательно реформировал политику увеличения благосостояния, уменьшил налогообложение среднего класса и малоимущих рабочих, принял меры по уменьшению бюрократии и волокиты. И именно Клинтон довершил то, что так и не сделал Рейган, — он навел порядок в финансовой системе при одновременном уменьшении уровня бедности и скромном финансировании образования и профессионального обучения. К окончанию работы Клинтона казалось, что достигнуто некое равновесие — небольшое правительство, способное обеспечить социальные гарантии, которые первым ввел Франклин Делано Рузвельт.

Но капитализм не стоит на месте. Политические меры Рейгана и Клинтона стрясли жир с либерального «государства всеобщего благосостояния», но никак не могли изменить такие реалии, как международная конкуренция и технологическая революция. Рабочие места так и уплывают за границу — и не только в тяжелой промышленности, но и все больше в секторе обслуживания, как, например, компьютерное программирование. Бизнес продолжает бороться с высокими затратами на здравоохранение. Америка ввозит гораздо больше, чем

вывозит, занимает гораздо больше, чем отдает.

Не имея ясной концепции управления, администрация Буша и ее союзники в Конгрессе ответили тем, что довели консервативную революцию до логического конца, то есть до дальнейшего снижения налогов, либерализации законодательства и даже до урезания программ социального обеспечения. Но, избрав эту стратегию, республиканцы вышли на свой последний бой, который они начали и выиграли в восьмидесятые годы, а вот демократы вынуждены сражаться в арьегарде, отстаивая программы «Нового курса» тридцатых годов.

Ни одна из этих стратегий больше не годится. Только урезая расходы и уменьшая правительство, Америка все равно не станет соперником Индии и Китая. Нам необходимо покончить с равнодушным созерцанием стремительного падения жизненного уровня американцев, больших городов, задыхающихся от смога, и нищих, заполонивших наши улицы. Устранив торговые барьеры и подняв планку минимального заработка, мы тоже мало чего добьемся, если только не решим конфисковать все компьютеры в мире.

Но наша история убеждает нас, что не всегда нужно делать выбор между вялой, управляемой правительством экономикой и хаотичным, беспощадным капитализмом. Она доказывает, что из экономических потрясений мы можем выйти, став сильнее, а не слабее. Как и наши предшественники, мы должны постоянно спрашивать себя, какие самые разные политические меры создадут динамичный, свободный рынок и всеобщую экономическую безопасность, поощрят предпринимательскую инициативу и подвижность. В качестве ориентира мы можем принять простую максиму Линкольна: сообща, то есть при помощи правительства, нужно делать только то, что нельзя сделать так же хорошо поодиночке.

Другими словами, мы должны руководствоваться тем, что действует.

Какой вид может принять этот новый экономический консенсус? Я не скажу, что знаю все ответы на все вопросы, да и подробный анализ экономической политики США требует нескольких томов. Но я могу привести примеры, в каких случаях мы можем выйти из тупика; когда, по заветам Гамильтона и Линкольна, мы можем вкладывать в инфраструктуру и свой народ; как мы можем обновить и перестроить тот договор, которым в свое время скрепил общество Франклин Делано Рузвельт.

Начнем с тех вложений, которые могут сделать Америку конкурентоспособной на мировом рынке: вложений в образование, науку, технологии, энергетическую независимость.

Всю нашу историю образование было и остается стержнем договора между государством и его гражданами: лучшей жизни достойны трудолюбивые и ответственные. А в мире, где образование определяет вашу цену на рынке труда, где ребенок из Лос-Анджелеса должен соревноваться не только с ребенком из Бостона, но и с миллионами сверстников из Пекина и Бангалора, слишком многие американские школы не выполняют свои обязательства по этому договору.

В 2005 году я посетил школу в Торнтоне, южном пригороде Чикаго, в которой большинство учеников — темнокожие. Мои сотрудники вместе с учителям i I организовали встречу с молодежью города; в каждом классе не одну неделю анализировали, что больше всего волнует учеников, потом сформулировали вопросы и пер едали их мне. На встрече мы говорили о росте насилия в районе, о нехватке компьютеров в классах. Но самый главный вопрос оказался таким: школьный округ не мог обеспечить здесь учителям полную занятость, поэтому школа закрывалась в полвторого дня. Урезанное расписание не позволяло ни провести лабораторную работу, ни дополнительно заняться иностранными языками.

Меня спросили: «А почему нас так обделяют? Кажется, нас и в школе никто не ждет».

Они хотели учиться.

Мы уже привыкли к таким историям, к бедным ребятишкам из черных и латиноамериканских кварталов, где школы не могут подготовить их даже к жизни в старом индустриальном обществе, не то что в веке информации. Но проблемы нашего образования нельзя сводить только к школам в бедных районах. Сегодня у американцев высочайший среди развитых стран процент отсева из государственных школ. Ученики старших классов показывают худшие знания по математике и естественным наукам, чем их зарубежные сверстники. Половина подростков не имеет понятия об элементарных дробях, половина девятилетних не умеют ни делить, ни умножать, и, хотя количество поступающих в высшие учебные заведения в целом повысилось, только двадцать два процента абитуриентов достаточно подготовлены, чтобы пройти университетский курс английского языка, математики и естественных наук.

Не думаю, что правительство в одиночку способно изменить эту статистику. Главная ответственность лежит на родителях — именно они должны воспитать в своих детях трудолюбие и стремление к знаниям. Но и родители вправе ожидать, что правительство, через систему государственных школ, примет равное участие в образовательном процессе, точно так же, как оно делало это раньше.

К сожалению, вместо решительных перемен и коренных реформ нашей школы, которые позволили бы детям из Торнтона получить работу в компании «Гугл», правительство вот уже почти двадцать лет занималось мелким ремонтом и культивировало посредственность. Возможно, это результат идеологических баталий, одновременно и предсказуемых, и уже устаревших. Многие консерваторы утверждают, что в решении проблем образования деньги не играют решающей роли; что проблемы государственных школ вызваны исключительно неудачными бюрократическими мерами и бескомпромиссной позицией учительских профсоюзов; что единственным выходом может быть ликвидация государственной монополии при помощи ваучеров. В то же время левые часто защищают совершенно невозможное существующее положение дел и утверждают, что только деньги спасут систему образования от полного развала.

На самом деле неверны обе точки зрения. Деньги важны для образования, иначе разве стали бы родители столько платить, чтобы жить в хорошо финансируемых пригородных школьных округах? Множество городских и сельских школ страдают от переполненных классов, устаревших книг, допотопного оборудования, а учителя вынуждены на свои деньги покупать простейшие учебные пособия. Но нельзя отрицать, что управляются государственные школы так же из рук вон плохо, как и финансируются.

Словом, наша задача — такие реформы, которые повысят уровень образования, обеспечат его

финансирование на должном уровне и избавятся от программ, которые не приносят ожидаемых результатов. Мы, собственно, уже становимся свидетелями реформ в действии: более строгая и усложненная программа с упором на математику, естественные науки, навыки грамотности; увеличение количества учебных часов; раннее дошкольное образование для каждого ребенка, так что в школу он приходит уже подготовленным; более объективная оценка достижений каждого ученика, основанная на его успеваемости; приглашение на работу и обучение более прогрессивных директоров и более профессиональных учителей.

Этот последний пункт — профессиональная подготовка учителей — требует особого внимания. Недавние исследования показали, что хороший учитель, и только он, определяет успеваемость ученика. Цвет кожи и происхождение тут совершенно ни при чем. Увы, множество наших школ страдают от учительского непрофессионализма, когда педагог толком не может объяснить свой предмет; это настоящий бич и без того проблемных школ. Самое опасное, что эта ситуация отнюдь не улучшается: каждый год все больше учителей поколения «бума рождаемости» выходят на пенсию, и, чтобы заполнить их места, в следующем десятилетии понадобится два миллиона педагогов.

Дело не в том, что работа учителя вышла из моды; я знаю множество молодых людей, которые, окончив свои высшие учебные заведения, записывались на курсы «Учить для Америки» и потом отрабатывали два года в самых бедных школах. Работать им очень нравилось, да и детям шли на пользу молодость и энергия их новых учителей. Но к концу двухлетнего срока большинство или меняли работу, или уходили в школы получше — их не устраивала низкая зарплата, изматывала борьба со школьной бюрократией, угнетало чувство изоляции.

Если мы хотим построить образовательную систему, достойную двадцать первого века, мы просто обязаны пересмотреть свое отношение к профессии учителя. Надо изменить систему сертификации, чтобы выпускник химического факультета, который хочет работать в школе, не оплачивал дорогие курсы дополнительного обучения; надо, чтобы молодые учителя работали бок о бок с более опытными коллегами и не чувствовали себя в изоляции; надо, чтобы хорошие учителя могли лучше контролировать то, что творится в их классах.

Нужно платить учителям по их труду. Непонятно, почему опытный, квалифицированный, хороший педагог на пике своей карьеры не может получать сто тысяч долларов в год. Преподаватели таких основных предметов, как математика и естественные науки, а также те, кто хочет работать в лучших школах своего округа, могут и должны получать значительно больше.

Здесь есть только одно «но». Зарабатывая больше, учителя должны нести большую ответственность за качество своей работы, а школьные округа должны иметь возможность избавляться от нерадивых педагогов.

Пока профсоюзы учителей сопротивляются идее оплаты по труду, ведь здесь многое может зависеть от директора. Профсоюзы утверждают — и в этом, по-моему, они правы, — что школьные округа оценивают результативность работы учителя исключительно по результатам тестов, но учитель далеко не всегда может повлиять на эти результаты, так же как, скажем, от него не зависит, сколько в классе учеников из бедных семей или детей с задержкой развития.

Все эти проблемы можно решить. В сотрудничестве с учительскими профсоюзами, с руководством школьных округов можно выработать более совершенные методы оценки труда учителей, в которых тесты будут совмещены с экспертной оценкой (в любой школе учителя сойдутся во мнении, кто из их коллег работает хорошо, а кто из рук вон плохо). Нужно сделать все, чтобы горе-педагоги перестали вредить детям, которые хотят учиться.

Да-да, чтобы вкладывать в возрождение нашей школы, мы должны вспомнить давно известную истину, что учиться может каждый. Недавно я побывал в одной из начальных школ чикагского Уэстсайда, которая некогда опустилась ниже всякой критики, а теперь числится среди крепких середняков. Когда я говорил с педагогами той школы об их проблемах, одна молодая учительница заметила, что есть такое выражение — «эти дети». Общество готово предложить миллион объяснений, почему «эти дети» не могут учиться, ведь «эти дети» живут в бедных районах и они безнадежно отстали от всех других.

— Когда я слышу такое, то просто выхожу из себя, — сказала мне та учительница. — Что еще за «эти дети»? Они наши!

Нужно всем сердцем принять эту мудрость, чтобы обеспечить перспективы экономического роста Америки в ближайшие годы.

Наши вложения в образование не могут ограничиваться только начальными и средними школами. В экономике, основанной на знаниях, когда восемь из девяти самых популярных профессий нашего десятилетия требуют специальных навыков и умений, большинству работников необходима та или иная форма повышения уровня образования, чтобы со временем заполнить рабочие места. И точно так же, как в свое время, на заре двадцатого века, правительство создало сеть бесплатных обязательных средних школ, чтобы дать рабочим знания, необходимые в век индустриализации, наше правительство должно помочь современным рабочим приспособиться к реалиям двадцать первого века.

Вообще-то мы находимся в лучшем положении, чем наши предшественники сто лет назад. Ведь у нас уже существует множество университетов и колледжей, достаточно хорошо оснащенных, чтобы принимать все больше студентов. И бесспорно, американцев не нужно убеждать в ценности высшего образования — количество молодых людей, получающих степень бакалавра, стабильно растет с каждым десятилетием. В 1980 году их было шестнадцать процентов, а сейчас — уже почти тридцать три.

Вот в чем американцам нужна скорая помощь, так это в борьбе со все растущей стоимостью обучения — мы с Мишель испытали это на себе (в первые десять лет нашего брака сумма преддипломного обучения и полного курса юридического факультета значительно превысила размер взятого нами кредита). За последние пять лет средний размер платы за обучение в четырехлетних государственных колледжах с учетом инфляции возросла примерно на сорок процентов. Для того чтобы найти деньги, студенты вынуждены залезать в долги, и понятно, что немногие выпускники решатся заняться таким низкооплачиваемым деом, как преподавание. И еще примерно двести тысяч человек каждый год уходят из колледжей, потому что просто не могут позволить себе платить за обучение.

Мы можем сделать многое, чтобы взять цены под контроль и сделать образование более доступным. Штаты могут ограничить рост платы за обучение в своих государственных университетах. Средние учебные заведения и заочные курсы могут предложить выгодные варианты программ переобучения в условиях стремительно меняющейся экономики. Сами студенты могут потребовать, чтобы деньги, которыми распоряжается институтское руководство, направлялись на улучшение качества обучения, а не на строительство новых футбольных стадионов.

Но, что бы мы ни делали, пытаясь держать раскручивающуюся спираль цен под контролем, мы должны предоставить студентам и их родителям конкретную помощь в оплате обучения — гранты, ссуды под низкие проценты, освобождение сберегательных счетов на образование от налогов или же полный вывод обучения из-под налогообложения. Пока что Конгресс предпринимает совершенно противоположные шаги, поднимая процентные ставки по федерально гарантированным студенческим займам и отказываясь увеличить размер грантов для малообеспеченных студентов так, чтобы эти гранты соответствовали росту инфляции. Этой политике нет никакого оправдания — если только мы хотим оставить большие возможности и мобильность отличительными чертами американской экономики.

Есть и еще одна сторона образовательной системы, которая заслуживает самого пристального внимания и тесно связана с американским духом соревновательности. С тех пор как Линкольн подписал закон Моррилла и создал систему колледжей на дарованной земле, учреждения высшего образования стали основными научно-исследовательскими лабораториями нашего государства. Именно там мы подготовили всех будущих новаторов, когда федеральное правительство предоставляло всю инфраструктуру — от химических лабораторий до ускорителей элементарных частиц — и финансировало проекты, которые, может быть, и не имели моментального коммерческого эффекта, но подготавливали серьезные прорывы в фундаментальных науках.

И здесь мы движемся не в том направлении. В 2006 году на церемонии вручения дипломов выпускникам Северо-Западного университета я разговорился с доктором Робертом Лангером, профессором химических технологий Массачусетского технологического института, одним из крупнейших наших химиков. Лангер вовсе не книжный червь, у него, наверное, с полсотни патентов, а его исследования применяются в самых разных областях — от производства никотиновых пластырей до лечения рака мозга. Мы ждали начала церемонии, я расспрашивал, над чем он работает, а он рассказывал об исследованиях в инженерии тканей, которые предлагают простой, более эффективный способ доставки лекарств в организм. Вспомнив о неоднозначном отношении к исследованиям стволовых клеток, я спросил ученого, не затормозило ли его работу решение администрации Буша об ограничении этих исследований.

— Определенно, развитие этих исследований будет полезно, — сказал мне Лангер, — но главная проблема в том, что федеральные гранты сильно урезают.

Он рассказал мне, что пятнадцать лет назад процентов двадцать — тридцать исследовательских программ хорошо финансировались государством. Сейчас же этот процент еле дотягивает до десяти. Ученые и исследователи вынуждены тратить больше времени на поиски денег, а не на сами исследования. Еще одно следствие этого — каждый год сокращается количество перспективных направлений исследований, особенно в высокорисковых областях, которые могут принести наибольшие прибыли.

Не один доктор Лангер заметил это. По-моему, не проходит и месяца, чтобы в мой офис не приходили ученые и инженеры с жалобами на то, что правительство все меньше финансирует фундаментальные научные исследования. За последние тридцать лет федеральное финансирование физики, математики, технических наук в процентном содержании ВНП значительно уменьшилось, в то время как другие страны последовательно увеличивают долю финансирования науки в своих бюджетах. Как справедливо заметил доктор Лангер, уменьшение поддержки фундаментальных исследований прямо связано с тем, что все меньше молодых людей желают заниматься математикой, естественными науками, техникой, — понятно, почему в Китае ежегодно выпускают в восемь раз больше инженеров, чем у нас.

Если мы стремимся создать инновационную экономику, в которой компании, подобные «Гуглу», будут появляться каждый год, необходимо инвестировать в тех, кто будет создавать эту экономику, — в следующие пять лет удвоить финансирование фундаментальных исследований, в следующие четыре года подготовить не менее ста тысяч инженеров и ученых или предоставить новые исследовательские гранты самым способным молодым ученым в масштабах всей страны. Общая сумма поддержания должного научного и технологического уровня за пять лет составит примерно сорок два миллиарда долларов; да, эта цифра впечатляет, но она составляет всего пятнадцать процентов от федеральной программы финансирования дорожного строительства.

Другими словами, мы можем позволить себе делать то, что необходимо. Нам не хватает не денег, а понимания, что это действительно необходимо.

И наконец, еще одна область, в которой инвестиции насущно необходимы, — это энергетическая инфраструктура, потому что именно она делает Америку конкурентоспособной и энергетически независимой. В прошлом война или прямая угроза национальной безопасности не раз заставляли самодовольную Америку больше вкладывать в образование и науку с единственной целью — уменьшить уязвимость государства. Именно это произошло на пике холодной войны, когда СССР запустил первый в мире спутник и американцы испугались, что русские обогнали их технологически. В ответ президент Эйзенхауэр удвоил государственное финансирование образования и создал целому поколению ученых и инженеров такие условия обучения, которые позволили им совершить подлинно революционные открытия. В тот же год было создано Управление Министерства обороны по перспективным исследованиям и разработкам, проводившее многомиллиардные фундаментальные работы, результатом которых стали интернет, штрихкоды, персональные компьютеры. В 1961 году президент Кеннеди запустил государственную космическую программу «Аполлон», что еще больше поощрило молодежь всей страны к выдвижению на передний край науки.

Нынешнее положение дел требует такого же подхода и в энергетике. Трудно не заметить, насколько зависимость от нефти подрывает наше будущее. Согласно данным Национальной комиссии по энергетической политике, если энергетическая политика страны останется неизменной, потребность США в нефти в следующие

двадцать лет возрастет на двадцать процентов. В этот же период общемировая потребность вырастет, как ожидают, не меньше чем на тридцать процентов, потому что стремительно развивающаяся экономика Индии и Китая увеличит производственные мощности и выпустит на дороги еще сто сорок миллионов автомобилей.

Наша зависимость от нефти не просто влияет на экономику, но и подрывает национальную безопасность. Большая часть тех восьмисот миллионов долларов, которые мы ежедневно платим за иностранную нефть, направляются в самые сложные регионы — Саудовскую Аравию, Нигерию, Венесуэлу и, по крайней мере косвенно, в Иран. Не важно, что там, в этих странах, деспотические режимы с ядерными амбициями или тихие медресе, которые сеют семена террора среди своих учеников. Они получают наши деньги потому, что нам нужна их нефть.

Хуже того, существует большая вероятность прекращения поставок. В Персидском заливе «Аль-Кайда» вот уже много лет угрожает практически неохраняемым нефтеперегонным заводам; нападение хотя бы на один из крупных нефтедобывающих комплексов, расположенных в Саудовской Аравии, способно вогнать экономику Америки в ступор. Осама бин Ладен лично учит своих последователей «уделять особое внимание нефти, особенно в Ираке и в Персидском заливе, потому что так они быстрее вымрут».

Нельзя забывать и об экологических последствиях развития экономики, работа которой основана на ископаемом топливе. Любой ученый подтвердит, что изменение климата — это вполне серьезно и реально, а выбросы углекислого газа только ускоряют процесс. Если таяние ледников, подъем уровня моря, непривычная погода, частые ураганы, страшные торнадо, бесконечные пыльные бури, сокращение лесных площадей, вымирание коралловых рифов, увеличение числа заболеваний органов дыхательных путей и болезней, передаваемых насекомыми, не кажутся серьезной опасностью, то остается лишь развести руками.

Пока что политика администрации Буша сводится к субсидированию крупных нефтяных компаний и увеличению объемов бурения при одновременных весьма заметных вложениях в разработку альтернативных источников топлива. Это имело бы смысл, если бы Америка располагала неисчерпаемыми запасами нефти, которые полностью покрывали бы нужды страны (и если бы нефтяные компании не имели рекордных прибылей). Но такими запасами мы не располагаем. В Соединенных Штатах находится лишь три процента мировых запасов нефти. А используем мы двадцать пять процентов мировой нефти. Так что одним бурением проблему не решишь.

Для двадцать первого века мы можем создать возобновляемые, более чистые источники энергии. Вместо финансирования нефтедобычи мы должны покончить с системой налоговых льгот, которыми сейчас пользуется эта отрасль, и потребовать, чтобы один процент доходов этих компаний и более одного миллиарда ежеквартальных доходов направлялись на финансирование исследований в области альтернативных источников энергии и соответствующей инфраструктуры. Такой проект мог бы не только сильно повлиять на развитие экономической и внешней политики и улучшить состояние окружающей среды, но и стать средством воспитания нового поколения инженеров и ученых, способствовать развитию новых отраслей экспорта и высокооплачиваемых рабочих мест.

Это уже сделали такие страны, как Бразилия. За последние тридцать лет Бразилии удалось создать высокоэффективную биотопливную промышленность за счет прямых правительственных инвестиций и гибкого законодательства; семьдесят процентов их новых машин сейчас работают не на бензине, а на этаноле, добываемом из сахара. Не имея такой же поддержки правительства, американская индустрия этанола еще только делает первые шаги. Поборники свободного рынка возражают, что жесткие методы бразильского правительства не подходят для экономики Америки, более ориентированной на рынок. Но законодательство, гибко применяемое по отношению к участникам рынка, может стать мотором развития частного сектора и инвестиций в энергетический сектор.

Возьмем вопрос о стандартах оптимального расхода топлива. Если бы мы в последние двадцать лет, в годы дешевого топлива, стабильно поднимали эти стандарты, американские производители автомобилей, наверное, начали бы выпускать более экономичные модели, а не внедорожники, которые заглатывают бензин литрами, и, естественно, с ростом цен на топливо спрос на них упал. Конкуренты из Японии кругами ходят вокруг Детройта. «Тойота» в 2006 году собирается продать сто тысяч своих популярных «приусов», а гибрид «Дженерал моторс» появится на рынке не раньше 2007 года. Вполне вероятно, что такие компании, как «Тойота», обгонят американских производителей на развивающемся китайском рынке, потому что в Китае стандарты расхода топлива уже сейчас жестче, чем у нас.

Итак, энергосберегающие машины и альтернативные виды топлива, такие как E85, с восьмидесятипроцентным содержанием этанола, — это будущее автомобильной промышленности. Это будущее, которое может стать реальностью американских автомобильных компаний, если мы уже теперь сделаем нелегкий выбор. Многие годы автопроизводители и Объединенный профсоюз рабочих автомобильной и авиакосмической промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Америки сопротивлялись введению жестких стандартов, потому что переоборудование стоит денег, а Детройт уже теперь задыхается под гнетом пенсионных и медицинских выплат и безжалостной конкуренции. В первый год работы в Сенате я внес законопроект, который называл «Скорая помощь гибридам». Он предлагал производителям автомобилей сделку: в обмен на федеральное финансирование медицинских страховок и пенсий автомобильных рабочих «большая тройка» направит эти деньги на развитие производства энергосберегающих автомобилей.

Активное привлечение инвестиций в создание альтернативных источников топлива поможет создать тысячи новых рабочих мест. Лет через десять — двадцать тот старый завод «Мейтэг» в Гейлсберге сможет стать предприятием, производящим этанол. Со временем ученые в своих лабораториях будут исследовать свойства нового топливного элемента на водороде. А новые автомобильные компании смогут заняться разработкой новых гибридных машин. На новые рабочие места придут американские рабочие, обученные новым навыкам в образовательной системе мирового уровня — от начальной школы до колледжа.

Но раскачиваться уже некогда. Я понял, к чему может привести зависимость страны от иностранных источников энергии, в 2005 году, когда мы с сенатором Диком Лугаром побывали на Украине, где встречались с

вновь избранным президентом Виктором Ющенко. Выборы Ющенко в свое время стали мировой новостью номер один: выступив против правящей партии, которая целых десять лет только и делала, что подстраивалась под соседнюю Россию, Ющенко пережил попытку отравления, искажение результатов выборов, угрозы Москвы, и тогда весь украинский народ поднялся в «оранжевой революции» — мирных массовых демонстрациях, которые закончились избранием Ющенко на должность президента.

В бывшей советской республике тогда бурлили страсти, и действительно, где бы мы ни оказывались, разговор неизменно сворачивал на либерализацию демократии и экономические реформы. Но из бесед с самим Ющенко и его кабинетом мы вскоре поняли, что у Украины есть серьезная проблема — абсолютная зависимость от поставок натуральных нефти и газа из России. Тогда Россия уже ясно дала понять, что не собирается продавать энергоносители Украине по ценам ниже мировых, что означало увеличение тарифов на отопление в зимние месяцы, прямо перед парламентскими выборами. Пророссийские силы Украины откровенно радовались, потому что, несмотря на всю пламенную риторику, оранжевые знамена, демонстрации, личное мужество Ющенко, Украина так и осталась в зависимости от своего бывшего хозяина.

Страна, которая не может контролировать свою энергетику, не властна и над своим будущим. У Украины в этом отношении выбор невелик, но у более богатых и более могущественных государств он, безусловно, есть.

Образование. Наука и технологии. Энергия. Чтобы сделать Америку по-настоящему конкурентоспособной, в эти три основные отрасли необходимо вкладывать и вкладывать. Конечно, сиюминутных результатов от этих вложений ожидать не нужно. Все здесь очень и очень противоречиво. Вложения в научно-исследовательские работы и образование требуются как раз тогда, когда наш федеральный бюджет и без того трещит по швам. Увеличивая коэффициент полезного действия американских автомобилей или вводя оплату по труду для учителей государственных школ, придется бороться с недовольством рабочих, которые и без того уже скрежещут зубами. А споры относительно введения школьных ваучеров или жизнеспособности водородных топливных элементов еще не скоро утихнут.

Но, хотя о средствах, которыми мы пользуемся для достижения этих целей, можно горячо и открыто спорить, сами цели не должны подвергаться никакому сомнению. Если мы не будем действовать, наша позиция в мировой конкуренции неминуемо ослабнет. Если же мы начнем что-нибудь предпринимать, то наша экономика будет менее подвержена экономическим пертурбациям, торговый баланс улучшится, технологические инновации зашагают быстрее и американские рабочие сумеют скорее приспособиться к требованиям глобальной экономики.

И все же будет ли этого достаточно? Пусть даже мы сумеем преодолеть некоторые идеологические разногласия и обеспечим рост американской экономики, смогу ли я спокойно смотреть в глаза тем рабочим из Гейлсберга и убедить их, что глобализация и для них, и для их детей только благо?

Этот вопрос гвоздем сидел у меня в голове во время дебатов 2005 года по вопросу о ЦАССТ — Соглашении о свободной торговле между Центральной Америкой, Доминиканской Республикой и Соединенными Штатами Америки. Сам по себе этот договор не угрожал американским рабочим, потому что средства всех стран — членов этого договора составляли примерно столько же, сколько бюджет города Нью-Хейвен в штате Коннектикут. Для американских производителей сельскохозяйственной продукции он открывал новые рынки, а для бедных стран, таких как Гондурас и Доминиканская Республика, обеспечивал целый поток иностранных инвестиций. Существовали некоторые проблемы, касающиеся этого соглашения, но в общем и целом оно приносило чистую прибыль экономике США.

Увы, когда я встретился с представителями профсоюзов, оказалось, что они держались совершенно другого мнения. Они и без того видели в НАФТА прямую угрозу интересам рабочего класса, а уж о ЦАССТ вообще не стоило говорить. Они утверждали, что речь должна идти не столько о свободной, сколько о честной торговле: поддержке рабочих в тех странах, которые торгуют с Соединенными Штатами, в том числе права на объединение в профсоюзы и запрете детского труда; ужесточение экологических стандартов в этих странах; прекращение незаконного субсидирования зарубежных экспортеров и бестарифных барьеров для американского экспорта; усиление защиты интеллектуальной собственности США и — в особенности в отношении Китая — решительная борьба с искусственной девальвацией нашей валюты, отчего американские компании несли серьезные убытки.

Как большинство демократов, я только «за». И все же я должен был сказать представителям профсоюзов, что ни одна из этих мер не изменит реалий глобализации. Защита интересов работников или меры по охране окружающей среды, перечисленные в торговом соглашении, могут помочь надавить на страны и заставить их постоянно улучшать условия труда точно так же, как американских розничных торговцев можно заставить продавать товар по разумной цене. Но это не сократит невероятного разрыва в почасовой оплате американских рабочих и их товарищей в Гондурасе, Индонезии, Мозамбике и Бангладеш, то есть там, где работа на грязной фабрике в горячем цехе считается шагом вверх по лестнице экономического преуспевания.

Точно так же готовность Китая поднимать курс своей валюты может несколько увеличить стоимость производимых там товаров, а следовательно, делать товары американского производства несколько более конкурентоспособными. Но в конечном счете Китай располагает огромным запасом рабочей силы в сельской местности, который равен почти половине всего населения Соединенных Штатов,— иными словами, «Уол-март» сможет еще очень долго обеспечивать работой своих тамошних поставщиков.

Я должен был бы сказать, что нам необходим новый подход к торговле, такой, который будет учитывать все эти реалии.

А мои братья и сестры по профсоюзу кивали бы и говорили, что им было бы интересно обсудить мои взгляды... но пока что можно им считать, что я против ЦАССТ?

Вообще говоря, дебаты о свободной торговле не очень изменились с начала восьмидесятых годов, причем профсоюзы и их сторонники неизменно в них проигрывают. Среди политиков, прессы и внутри бизнес-сообщества сегодня стало азбучной истиной, что свободная торговля обогащает всех. Пока идет этот спор, рабочие места в Америке сокращаются в угоду торговле, жизнь на местах становится все труднее, но на каждую тысячу рабочих мест, сокращенных в разных отраслях производства, приходится столько же, если не больше, мест

в развивающихся секторах обслуживания экономики.

Шаг глобализации все ускоряется, однако не только профсоюзы волнует дальнейшая судьба американских рабочих. Экономисты заметили, что повсеместно — включая Индию и Китай — экономический рост ежегодно создает приблизительно одинаковое количество рабочих мест, что является следствием растущей автоматизации и производительности труда. Некоторые аналитики задаются вопросом, может ли рост, наблюдавшийся в прошлом, ожидаться теперь в американской экономике, более ориентированной на сферу обслуживания и, соответственно, на увеличение уровня жизни. И действительно, за последние пять лет статистика показывает, что заработная плата на сокращаемых рабочих местах выше, чем на вновь создаваемых.

И хотя повышение образовательного уровня американских рабочих улучшит их приспособляемость к глобальной экономике, одно это не защитит их от все усиливающейся конкуренции. Даже если бы США выпускали в два раза больше программистов на душу населения, чем Китай, Индия или любая страна Западной Европы, общее количество участников мирового рынка показывает, что программистов гораздо больше за рубежом, чем в Америке, а зарплата у них составляет примерно одну пятую американской в любом бизнесе, имеющем широкополосный интернет.

Другими словами, свободная торговля вполне способна испечь огромный экономический пирог, но это не значит, что американским рабочим достанется самый большой кусок этого пирога.

С учетом этих реалий легко понять, зачем многие хотят покончить с глобализацией. Чтобы заморозить существующее положение дел и изолировать нас от экономической разрухи. Остановившись в Нью-Йорке во время дебатов по ЦАССТ, я встретился с Робертом Рубином, министром финансов США в администрации Клинтона, с которым мы познакомились в ходе моей кампании, и рассказал ему о некоторых прочитанных мной научных исследованиях. Среди демократов трудно найти другого человека, который более, чем Рубин, ассоциировался бы с понятием «глобализация», — и не только потому, что много лет он был одним из влиятельнейших банкиров на Уолл-стрит, но и потому, что в девяностые годы именно он определял курс развития мировой системы финансов. Кроме того, он один из самых глубоко мыслящих и непритязательных моих знакомых. Я тогда спросил его, обоснованны ли хоть сколько-нибудь мои волнения о судьбе рабочих «Мейтэга» в Гейлсберге и возможно ли будет избежать падения жизненного уровня США в условиях конкуренции с гораздо более дешевой зарубежной рабочей силой.

— Так сразу не ответишь, — ответил мне Рубин. — Большинство экономистов скажут вам, что, в принципе, американская экономика может создать неограниченное количество хороших рабочих мест, потому что уму человека нельзя положить предел. Изобретаются новые технологии, возникают новые нужды, новые потребности. Наверное, экономисты правы. Исторически так оно и было. Конечно, нет никакой гарантии, что сейчас будет то же самое. С учетом скорости технологических изменений, размера стран, с которыми мы конкурируем, и различия в ценах с этими странами мы видим совершенно другой образ экономики. И я думаю, что, пусть даже мы будем делать все так, как надо, трудностей не удастся избежать.

Я заметил, что жителей Гейлсберга такой ответ вряд ли успокоит.

— Я же сказал «пусть», а не «если», — заметил он. — Я осторожный оптимист. Если мы сохраним налоговую систему в порядке и сделаем что-нибудь с образованием, у детей все будет прекрасно. Я бы точно сказал одну вещь этим людям из Гейлсберга: любой протекционизм даст обратный эффект, а их детям от него будет только хуже.

Я оценил согласие Рубина, что в условиях глобализации у американских рабочих есть вполне законный повод для волнения; я знал, что большинство профсоюзных лидеров серьезно думали над этой проблемой и нисколько не походили на закоренелых протекционистов.

Но в главном с Рубином трудно не согласиться: можно затормозить глобализацию, но остановить ее нельзя. Экономика США сегодня настолько сильно привязана ко всему миру, а электронная торговля настолько распространена, что трудно себе даже представить, а уж тем более усилить какой-либо эффективный режим протекционизма. Тариф на ввозимую сталь может дать короткую передышку американским производителям, но он же сделает любого американского производителя, который использует сталь в своем производстве, менее конкурентоспособным на мировом рынке. Трудно купить «американский» продукт, когда видеоигра, продаваемая американской компанией, разрабатывается японскими программистами, а упаковывается в Мексике. Пограничный патруль не может прекратить работу колл-центра в Индии или запретить инженеру-электрику из Праги переписываться по электронной почте со своим работодателем в Дублине. В торговле не осталось практически никаких границ.

Это не означает, конечно, что мы можем умыть руки и сказать рабочим, что они теперь должны заботиться о себе сами. Перед концом обсуждения ЦАССТ я указал на это президенту Бушу, когда вместе с группой сенаторов меня пригласили для дискуссий в Белый дом. Я сказал президенту, что верю в преимущества торговли и не сомневаюсь, что Белый дом сделает все, чтобы получить необходимое количество голосов в поддержку соглашения. Я сказал, что сопротивление принятию ЦАССТ имеет мало отношения к самому соглашению, но гораздо больше — ко все растущей незащищенности американских рабочих. Если мы не сможем придумать, как успокоить людей и вселить в них уверенность в том, что федеральное правительство на их стороне, протекционистские настроения только усилятся.

Президент выслушал меня и сказал, что ему интересно будет познакомиться с моими идеями и пока что, как ему кажется, он вполне может рассчитывать на мой голос.

Зря ему так показалось. В конце концов я проголосовал против ЦАССТ, которое прошло через Сенат пятьюдесятью пятью голосами против сорока пяти. Не могу сказать, что я был доволен, проголосовав так, но я понимал, что только таким образом могу выразить несогласие с тем, что я считал наплевательским отношением Белого дома к жертвам свободной торговли. Как и Боб Рубин, я оптимистично смотрю на долгосрочные перспективы американской экономики и конкурентоспособности рабочих Америки на рынке свободной торговли, но только при условии, что мы более справедливо распределим среди людей все бремя и все преимущества глобализации.

Когда экономическая трансформация проходила не менее болезненно, чем сегодня, Франклин Делано Рузвельт привел страну к новому общественному устройству — к договору между правительством, бизнесом и рабочими, который через пять лет с небольшим сделал страну процветающей и укрепил экономическую безопасность. Для среднестатистического американского рабочего эта безопасность покоилась на трех столпах: стало возможно найти хорошо оплачиваемую работу, чтобы обеспечить семью и скопить кое-какие деньги; работодатель теперь предоставлял целый пакет медицинских и пенсионных услуг; а государственная система социальной помощи — «Социальная защита», «Медикэйд», «Ме-дикэр», пособие по безработице, немного меньше защита от банкротства и обеспечение пенсионных выплат — страховала тех, кто пострадал сильнее остальных.

Конечно же, импульс «Нового курса» не мог не затронуть и чувства общественной солидарности: появилась идея, что работодатели должны всегда хорошо относиться к своим работникам и что, если злая судьба или просчет подставит кому-нибудь из нас подножку, все американское общество протянет нам руку сострадания.

Новое общественное устройство подразумевало, что система распределения как рисков, так и вознаграждений может значительно улучшить работу рынка. Рузвельт понимал, что достойный заработок и социальные программы создадут базу потребителей из среднего класса, которая стабилизирует американскую экономику и даст ей толчок к развитию. Но одновременно Рузвельт признавал, что мы все рисковали бы гораздо чаще — например, меняли бы работу, начинали новое дело или приветствовали конкуренцию других стран, — когда знали бы, что нас защитят, если что-нибудь пойдет не так.

Именно эту функцию и выполняет «Социальная защита», программа, ставшая краеугольным камнем всего «Нового курса», — это форма гарантии защиты нас государством. На рынке мы то и дело покупаем страховки, ведь мы, хоть и надеемся на себя, понимаем, что в нашей воле далеко не все: болеет ребенок, закрывается компания, где мы работаем, у родителя обнаруживается болезнь Альцгеймера, рушится фондовый рынок. Чем больше количество застрахованных, чем больше покрывается рисков, чем больше сумма покрытия, тем меньше цена. На некоторые риски, однако, страховку мы не купим — компании считают их невыгодными. Иногда страховки, которую мы получаем на работе, не хватает, и мы не можем позволить себе покупать больше. Иногда на нас нежданно-негаданно сваливается трагедия, и оказывается, что страховка слишком мала. Во всех этих случаях мы просим правительство вмешаться и создать надежную страховку, надежную для всего американского народа.

Сегодня устройство, которое создал Рузвельт, начинает давать сбои. В ответ на усиление зарубежной конкуренции и давление фондовой биржи, которое требует ежеквартального резкого роста доходности, работодатели автоматизируют, сокращают и вывозят за границу свои производства, что делает рабочих еще более беззащитными перед безработицей и не дает им возможности требовать увеличения зарплаты или социальных выплат. Хотя федеральное правительство предлагает существенное сокращение налогов тем компаниям, которые оплачивают медицинскую страховку, сами эти компании предоставляют рабочим повышенные премии, участие в оплате, возмещаемые налоги; при этом почти половина предприятий мелкого бизнеса, где работают миллионы американцев, не предлагает своим сотрудникам вообще никакой страховки. Аналогично компании переходят от традиционных пенсионных программ, учитывающих выслугу лет и зарплату работника, к договоренностям об оплате наличными, а в некоторых случаях даже проходят через процедуру банкротства, чтобы не платить по пенсионным обязательствам.

Можете представить себе, какой это удар по семьям. В последние двадцать лет средняя зарплата американского рабочего еле успевает за инфляцией. С 1988 года средняя сумма медицинской страховки на семью возросла в четыре раза. Суммы личных сбережений никогда еще не падали ниже. А суммы долгов, наоборот, еще никогда не взлетали так высоко.

Вместо того чтобы смягчить этот удар, администрация Буша, как будто нарочно, лишь усиливает его. Это и есть главная идея «общества самостоятельных людей»: если мы освобождаем работодателей от любых обязательств перед своими работниками и сносим остатки «Нового курса», государственные программы социального страхования, то злые чары рынка довершат дело. Если девизом традиционной системы социального страхования могло бы стать «Мы вместе», то лозунг «общества самостоятельных людей» — «Каждый за себя».

Да, эта соблазнительная, элегантная в своей простоте идея освобождает нас абсолютно от всех обязательств друг перед другом. В ней есть лишь один изъян — она не годится, по крайней мере, для тех, кто отстает от темпа мировой экономики.

Возьмем попытку администрации передать «Социальную защиту» в частные руки. Администрация утверждает, что фондовый рынок может обеспечить гражданам больший возврат по инвестициям, и это, в общем, верно; раньше рынок всегда обгонял «Социальную защиту» по индексации доходов. Но среди частных инвесторов всегда будут победители и побежденные — те, кто рано успел купить акции «Майкрософт», и те, кто поздно приобрел акции «Энрона». Что же «общество самостоятельных людей» будет делать с проигравшими? Если мы не хотим увидеть на улицах голодных стариков, нам необходимо как-то выплачивать им пенсии, а так как еще неизвестно, кто из нас будет в числе проигравших, всем имеет смысл внести хоть небольшую лепту, чтобы иметь гарантированный доход в старости. Это не значит, что мы должны запрещать людям рисковать и вкладываться в высокодоходные предприятия. Этого делать нельзя. Но люди должны рисковать не теми деньгами, которые идут в «Социальную защиту».

Те же самые принципы действуют, когда администрация пробует передать государственные или частные планы медицинской страховки на индивидуальные накопительные медицинские счета. Это имело бы смысл, если бы денег на таком счете хватило на хорошее медицинское обслуживание, которое предлагал бы работодатель, и если бы они еще индексировались в соответствии с ростом инфляции. Но что делать, если вы работаете в компании, которая не оплачивает страховку? Или если взгляды администрации на инфляцию в здравоохранении будут неверными, если окажется, что суммы на лечение не хватает, чтобы внимательно отнестись к своему здоровью или нездоровой страсти покупать больше, чем необходимо? Тогда «свобода выбора» означает лишь, что работники не смогут вынести бремени грядущих медицинских расходов, а суммы на их индивидуальных на-

копительных счетах с каждым годом будут лишь обесцениваться.

Другими словами, «общество самостоятельных людей» даже не хочет распределять плюсы и минусы новой экономики равномерно между всеми гражданами. Вместо этого оно лишь преувеличивает их значение в сегодняшних условиях, где победитель получает все. Если вы здоровы, богаты или хотя бы удачливы, тогда вам повезло. Если вы больны, бедны или несчастливы, вам никто не поможет. Этот рецепт — не для стабильного экономического роста или сильного среднего класса. Этот рецепт — не для общественного единства. Он учитывает только те ценности, которые определяют наш успех.

Он — не для нас, если мы считаем себя людьми.

К счастью, есть еще и другой способ, который помогает «Великой старой партии» идти в ногу с потребностями нового века. В каждой области, где рабочие уязвимы, — зарплата, безработица, пенсии, здравоохранение — есть хорошие идеи, и новые, и старые, которые уже много лет защищают американцев.

Начнем с зарплат. Американцы верят в работу не только как в средство поддержания жизни, но и как в силу, которая дает их жизни смысл и направление, порядок и достоинство. Старая социальная программа помощи семьям, имеющим детей, слишком часто не могла поддерживать эту главную ценность, почему не только не пользовалась популярностью, но и изолировала людей, которым призвана была помогать.

С другой стороны, американцы уверены, что, работая полный день, мы сможем поддержать и себя, и детей. Но для многих работников самой низшей квалификации, в основном занятых в сфере обслуживания, это основное правило не выполняется.

Правительство в состоянии помочь этим людям без особенного ущерба для эффективности рынка. Для начала мы можем увеличить минимальный размер оплаты труда. Некоторые экономисты утверждают, и, возможно, справедливо, что скачкообразное повышение оплаты труда заставит предпринимателей нанимать меньше работников. Но если размер минимальной оплаты труда не меняется уже девять лет подряд и в реальном выражении имеет меньшую покупательную способность, чем в 1955 году, так что, работая на полную ставку, невозможно выбиться из бедности, такие аргументы звучат не слишком убедительно. Программа налоговых льгот, предоставляемых получателям заработной платы, рьяным сторонником которой выступал в свое время Рональд Рейган, дает дополнительный доход низкооплачиваемым категориям работников, но и она нуждается в усовершенствовании и расширении, чтобы ее преимуществами могли воспользоваться больше семей.

Наступило время обновить существующие системы пособий по безработице и помощи в отраслевой адаптации, чтобы помочь всем работникам приспособиться к стремительно меняющейся экономике. Да, существует множество хороших идей о том, как создать широкомасштабную систему такой помощи. Мы можем предоставить ее работникам сферы обслуживания, создать гибкие образовательные счета, средства с которых люди могут потратить на переобучение, или предоставить возможность обучаться на курсах переподготовки, пока люди не потеряли работу в тех сферах экономики, которым грозит перемещение. А в такой экономике, где работа, которую вы теряете, оплачивается лучше, чем работа, которую вы получаете, мы можем попробовать применить систему страхования заработной платы, которая год или два будет покрывать половинную разницу между предыдущей и новой зарплатами.

Наконец, чтобы обеспечить высокий заработок и хорошие социальные программы, нужно снова предоставить равные права профсоюзам и работодателям. С начала восьмидесятых годов профсоюзы неуклонно теряют свои позиции, и не только из-за изменения экономических условий, но и потому, что действующее трудовое законодательство и незначительные реформы Национального управления вопросами трудовых отношений практически никак не защищают рабочих. Ежегодно более двадцати тысяч человек теряют работу или получают сниженную заработную плату всего лишь из-за попытки объединиться в профсоюз. Так больше не может продолжаться. Необходимо ужесточить наказание для работодателей, которые ущемляют права своих объединенных в профсоюзы рабочих. Работодатели должны признавать существование профсоюза, если большинство работников предприятия подпишут уполномочивающие карты в знак согласия с тем, что профсоюз будет представлять их интересы. А федеральное правительство может стать посредником между профсоюзом и работодателем в достижении взаимовыгодного соглашения в разумные сроки.

Деловые круги могут возразить, что объединенные профсоюзами рабочие могут лишить американскую экономику гибкости и конкурентоспособности. Но именно из-за обострившейся международной конкуренции можно ожидать, что объединенные профсоюзами рабочие будут стремиться к сотрудничеству с работодателями, пока они будут получать справедливую долю произведенной продукции.

Точно так же, как правительственная политика может резко повысить заработки рабочих без вреда для конкурентоспособности американских компаний, мы можем создать все условия для достойной старости. Для этого необходимо сохранить сущность программы «Социальная защита», одновременно усиливая ее платежеспособность. Проблемы с этой программой действительно существуют, но с ними вполне возможно справиться. В 1983 году, когда появились похожие трудности, Рональд Рейган и спикер Палаты представителей Тип О'Нил сумели выработать двусторонний план, который стабилизировал систему на следующие шестьдесят лет. Не вижу никаких причин, почему мы не можем сделать этого же сегодня.

Уважая систему частного пенсионного обеспечения, мы должны признать, что пенсионные планы, привязанные к заработной плате и выслуге лет, не оправдали себя, но при этом должны потребовать, чтобы компании полностью выполняли свои обязательства перед своими работниками и пенсионерами. Законодательство о банкротстве нужно изменить так, чтобы получатели пенсий оказались в числе первых кредиторов и компании не могли ссылаться на одиннадцатую главу, чтобы обмануть рабочих. Более того, новые правила должны обязывать компании должным образом финансировать свои пенсионные фонды, а налогоплательщики не взваливали на себя это бремя.

И если американцы будут и дальше зависеть от пенсионных планов с фиксированными взносами для выполнения программы «Социальная защита», то правительство должно принять меры к тому, чтобы она стала доступной всем американцам и более эффективной в привлечении средств. Джин Сперлинг, бывший советник по

экономике в администрации Клинтона, предложил создать универсальный пенсионный план — чтобы правительство доплачивало по взносам, которые на пенсионные счета будут начислять семьи со средним и низким доходом. Другие специалисты предлагали простой метод, при котором работодатели автоматически предоставляют своим работникам право перечислять деньги на пенсионные планы по максимальной ставке; работники могут перечислять меньшую сумму или вообще не перечислять ничего, но опыт показывает, что после изменения правила по умолчанию люди сами начинают вкладывать больше денег. В дополнение к «Социальной защите» мы должны принять самые хорошие и наиболее выполнимые из этих идей и начать движение к сильной, универсальной пенсионной системе, которая не только обеспечит сбережения, но и даст американцам больше возможностей воспользоваться плодами глобализации.

Кроме насущных задач увеличения заработной платы американских рабочих и предоставления им достойной пенсии, у нас есть и еще одна, наверное, самая необходимая, — срочное лечение запущенной системы здравоохранения. В отличие от «Социальной защиты», две главные государственные программы здравоохранения — «Ме-дикэр» и «Медикэйд» — серьезно больны; если мы не будем ничего менять, то к 2050 году они вместе с «Социальной защитой» будут обходиться нашей экономике в такую же сумму, какую сегодня составляет весь федеральный бюджет. Лишь ухудшило положение дел введение исключительно дорогостоящей программы оплаты выписанных лекарств, которая предоставляет ограниченную компенсацию и никак не может проконтролировать рост стоимости самих лекарств. А частная система выродилась в неэффективную бюрократическую машину, бумажный круговорот, который раздражает перегруженных поставщиков и вызывает недовольство больных.

В 1993 году президент Клинтон сделал попытку создать универсальную систему здравоохранения, но ему помешали. С тех пор общественное обсуждение этой темы заглохло, причем некоторые правые призывают к усилению рыночной дисциплины при помощи медицинских накопительных счетов, левые ратуют за введение общенациональной системы здравоохранения, аналогичной той, что действует в Европе и Канаде, а специалисты самых разных политических взглядов рекомендуют ряд чувствительных, но необходимых реформ существующей системы.

Настало время покончить с этим неопределенным положением и признать очевидные истины.

Исходя из сумм, которые мы расходуем на здравоохранение (на душу населения больше, чем в любой стране), мы должны обеспечить элементарную помощь каждому американцу. Но мы не можем ежегодно поддерживать эту сумму на одинаковом уровне; мы должны содержать всю систему, включая «Медикэр» и «Медикэйд».

Когда американцы чаще меняют работу, более подвержены безработице и все больше работают на неполную ставку или просто на себя, здравоохранение не должно оставаться заботой только работодателей. Оно должно стать портативным.

Один только рынок не может помочь в наших проблемах со здоровьем — отчасти потому, что рынок оказался неэффективным для создания крупных страховых баз, которые обеспечили бы потребности всех и каждого, отчасти же потому, что здравоохранение не похоже на другие продукты и услуги (когда у вас болеет ребенок, вы же не бегаете по магазинам в поисках большей скидки).

И конечно же, какой бы вариант мы ни выбрали, он должен гарантировать хорошее качество, хорошую профилактику и оперативность предоставляемой помощи.

Разрешите привести пример серьезных реформ системы здравоохранения, основанных на этих принципах. Можно начать с того, что независимая группа из Медицинского института Академии наук наметит основные положения и стоимость высокоэффективной системы здравоохранения. При разработке своей модели группа изучит действующие программы и решит, какая из них наиболее эффективна. Особое внимание необходимо обратить на оказание первой помощи, профилактику, помощь в чрезвычайных ситуациях и лечение хронических заболеваний, таких как астма и диабет. В общей сложности двадцать процентов всех пациентов получают восемьдесят процентов всей помощи, и, если мы можем проводить профилактику заболеваний или контролировать их течение простыми мерами — соблюдением диеты или регулярным приемом лекарств, — мы сможем значительно снизить цифры заболеваемости и сэкономить немалые суммы.

Далее, мы можем разрешить желающим испытать эту систему на себе или через существующую систему страховки, подобной той, которой пользуются федеральные служащие, или через создание страховых баз в каждом отдельном штате. Частные страховщики, такие как «Ассоциация голубого креста и голубого щита» и «Этна», могут выступить достойными конкурентами, предоставляя страховки своим клиентам, но их планы должны соответствовать критериям высокого качества и ограничения стоимости, установленной Медицинским институтом.

Для еще большего снижения цен мы можем потребовать, чтобы страховщики и компании — участники программ «Медикэр» и «Медикэйд» или новых программ здравоохранения осуществляли электронный документооборот, то есть имели электронную отчетность и обновляемую электронную систему сообщений пациентов о врачебных ошибках, что значительно уменьшит административные расходы, количество врачебных ошибок и их последствий (а это, в свою очередь, уменьшит количество соответствующих дорогостоящих расследований). Эта простая мера может снизить затраты на здравоохранение не меньше чем на десять процентов, а некоторые специалисты доказывают, что и больше.

Усилив меры профилактики, уменьшив административные расходы и стоимость расследований врачебных ошибок, мы сможем поддержать семьи с низким уровнем дохода, которые хотели бы приобрести страховку в своем штате, и одновременно изыскать средства для лечения всех незастрахованных детей. При необходимости мы могли бы оплачивать эти суммы при помощи реструктуризации налоговых льгот, которыми пользуются работодатели, предоставляя страховку своим работникам. Они так и будут пользоваться налоговыми льготами для тех планов, которые они обычно предоставляют, но мы будем строго следить, не предоставляются ли какие-нибудь особые страховки руководителям компаний, которые отказываются предоставлять дополнительные про-

граммы по охране здоровья.

Цель этого примера не в том, чтобы найти простой способ исцеления системы здравоохранения. Его не существует. До того как мы перейдем к внедрению подобной широкомасштабной системы, необходимо устранить множество мелочей; в частности, мы должны убедиться, что создание федеральных страховых баз не побудит работодателей уменьшить суммы страховых выплат, которые они предоставляют своим работникам. А может быть, существуют и другие, более элегантные способы улучшения системы здравоохранения.

В любом случае, если мы зададимся целью предоставить гражданам достойную медицинскую помощь, мы сможем найти способ сделать это без ущерба для федерального казначейства и введения карточек.

Если мы хотим помочь американцам в преодолении трудностей глобализации, мы должны задаться этой целью. Лет пять назад поздно вечером мы с Мишель проснулись оттого, что в своей комнате плакала наша младшая дочь Саша. Ей тогда было всего три месяца, так что ничего необычного в этом не было. Но плакала она как-то неестественно, мы никак не могли ее успокоить и встревожились. Мы тут же позвонили своему педиатру, которая пригласила нас прийти к ней рано утром. Она осмотрела дочь, предположила у нее менингит и отправила нас прямо в палату.

Оказалось, что Саша действительно заболела менингитом, но в такой форме, которая излечивается внутривенным введением антибиотиков. Если бы не вовремя поставленный диагноз, она могла бы оглохнуть или даже умереть. Мы с Мишель три дня провели с дочкой в больнице, видели, как сестры переворачивают ее, чтобы врач мог взять спинно-мозговую пункцию, слышали, как громко она кричит, и молились, чтобы ей не стало хуже.

Саше сейчас пять лет, и она вполне здоровый и радостный ребенок, как и положено в пять лет. Но воспоминания о тех трех днях для меня до сих пор самые страшные; я помню, как весь мир сузился для меня в единственную точку и как за стенами палаты меня совершенно ничего не интересовало — ни работа, ни планы, ни будущее. И все время я помнил, что, в отличие от Тима Уилера, моего знакомого из Гейлсберга, сыну которого надо было пересаживать печень, в отличие от миллионов американцев, которые прошли через такие же мучения, у меня есть и работа, и страховка.

Американцы готовы соревноваться с миром. Мы работаем больше, чем жители любой другой промышленно развитой страны. Мы готовы к возможной экономической нестабильности и готовы к личному риску, чтобы идти вперед. Но соревноваться мы можем, только если наше правительство предоставит нам средства, которые дадут нам шанс победить, и если мы будем знать, что наши семьи получат поддержку и не пострадают.

Вот такого договора заслуживают американцы.

Вложения в конкурентоспособность будущей Америки и новое социальное устройство нашего государства. Нужно стремиться к обеим этим целям, и тогда они укажут путь в лучшее будущее нашим детям и внукам. Но есть еще один элемент мозаики, еще один старый вопрос, без которого не обходятся вашингтонские споры о политике.

Чем мы платим за все это?

В конце президентства Клинтона ответ у нас был. Впервые за последние тридцать лет мы имели большой бюджетный профицит, а наш государственный долг стремительно сокращался. Председатель совета директоров Федеральной резервной системы Алан Гринспен даже опасался, что с долгами мы рассчитаемся слишком быстро, а значит, ограничим способность резервной системы управлять монетарной политикой. Даже после того, как лопнул дотком-пузырь и экономика сумела справиться с шоком после 11 сентября, у нас были все шансы для дальнейшего роста экономики и предоставления широких возможностей всем американцам.

Но мы избрали другую стезю. Наш президент заявил, что мы сможем победить в двух войнах, увеличить наш военный бюджет на семьдесят четыре процента, защитить родину, усилить финансирование образования, ввести новые правила выписывания лекарств старикам, начать массовое применение налоговых льгот — и все это одновременно. Руководители Конгресса твердили, что сокращение доходов можно исправить уменьшением расходов на содержание правительства, и обманывали нас, даже когда количество казенных кормушек возросло на немыслимые шестьдесят четыре процента.

И вот итог этого коллективного помешательства — самый слабый бюджет за последние годы. Сейчас годовой дефицит составляет почти триста миллиардов, не считая более чем ста восьмидесяти миллионов, которые мы каждый год берем взаймы из трастового фонда «Социальной защиты» и которые, естественно, прибавляются к сумме долга. Он составляет около девяти миллиардов, то есть по тридцать тысяч на каждого мужчину, женщину и ребенка.

Самое страшное не этот долг. С ним можно было бы согласиться, если бы мы вкладывали деньги в то, что сделает нас более конкурентоспособными, — в капитальный ремонт школ, расширение системы широкополосного вещания, установки по всей стране колонок для бензина E85, наконец. Мы могли бы расширить «Социальную защиту» или перестроить систему здравоохранения. А на деле размер нашего долга есть прямой результат налоговых льгот, введенных президентом. Сорок семь и четыре десятых процента из этой суммы отошло к пяти процентам населения, тридцать шесть и семь десятых — к одному проценту, а пятнадцать процентов - к одной десятой одного процента, то есть к людям, имеющим годовой доход в миллион шестьсот тысяч долларов и больше.

Другими словами, перерасход по национальной кредитной карте таков, что те, кто больше всего выигрывает от глобальной экономики, получают самую большую часть доходов.

До сих пор мы худо-бедно справлялись с этим долговым валом, потому что заграничные центральные банки—в особенности китайский — очень хотели, чтобы мы продолжали покупать их продукцию. Но этот заманчивый кредит не будет длиться вечно. Наступит день, когда иностранцы перестанут ссужать нас деньгами, процентные ставки поползут вверх, и изрядная сумма наших же денег пойдет на их уплату.

Если такое будущее нас пугает, то уже сейчас нам надо выкарабкиваться из этой ямы. На бумаге все выглядит гладко. Можно сократить или объединить менее важные программы. Можно навести порядок в финансировании здравоохранения. Можно уменьшить налоговые кредиты, которые не сумели доказать свою

пользу, и заделать дыры в законодательстве, которым умело пользуются корпорации, уходя от налогов. Можно восстановить закон, принятый в годы правления Клинтона, который запрещает увод денег из федерального казначейства, в форме ли новых расходов или налоговых льгот, без соответствующей компенсации упущенной прибыли.

Даже если мы предпримем все это, выбраться из финансового капкана будет нелегко. Скорее всего, придется отсрочить некоторые вложения, которые, как мы прекрасно знаем, усилят наши позиции на международной арене, но на первое место должна выйти помощь американским семьям, положение которых далеко от благополучного.

Делая этот нелегкий выбор, мы обязаны помнить об уроках прошедших шести лет и все время спрашивать себя, отражают ли наш бюджет и наша налоговая политика те ценности, которые мы пришли защищать.

— Если в Америке идет война классов, значит, мой класс побеждает.

Я сидел в офисе Уоррена Баффита, председателя «Беркшир Хатуэй», второго богатейшего в мире человека. Я был наслышан о простоте его вкусов - жил он в том же самом доме, который купил в 1967 году, а дети его учились в обыкновенных городских школах Омахи.

Но все же я удивился, когда вошел в непрезентабельное офисное здание и оказался в пустом кабинете, похожем на рабочее место страхового агента — со стеновыми панелями «под дерево» и несколькими картинами. «Да ладно, хватит», — вдруг громко произнес женский голос, и в углу кабинета я увидел нашего гиганта из Омахи, который о чем-то весело разговаривал со своей дочерью Сьюзи и помощницей Дебби. На нем был слегка помятый костюм, а над очками возвышались кустистые брови.

Баффит вызвал меня в Омаху, чтобы поговорить о налоговой политике. В частности, он хотел знать, почему Вашингтон упорно продолжал предоставлять налоговые льготы людям его достатка, хотя в стране все давно уже шло кувырком.

— Я тут посчитал, — начал он, пригласив меня сесть,— хоть я сам никогда не химичил с налогами и не работал с налоговиками, но, даже с учетом налога на зарплату, который все платят, фактическая налоговая ставка в этом году у меня все равно будет меньше, чем у моей секретарши. Я даже уверен, что налогов с меня удерживают меньше, чем со среднего американца. И если президент будет продолжать в том же духе, я буду платить еще меньше.

Это произошло с Баффитом потому, что, как и у большинства состоятельных американцев, его прибыль образовывалась из дивидендов и прироста капитала, только пятнадцать процентов суммы которых с 2003 года облагаются налогом. С зарплаты же секретаря налогов взимается почти вдвое больше, согласно федеральному закону «О страховых взносах». С точки зрения Баффита, разрыв был абсолютно непропорциональным.

— Свободный рынок — самый лучший механизм для продуктивного и полезного применения ресурсов, — говорил он мне. — Правительство с ним не очень-то умело обращается. Но рынок не даст гарантии, что произведенная прибыль будет делиться равномерно или обдуманно. Часть прибыли нужно вкладывать в образование, чтобы дать хороший старт следующему поколению, чтобы поддержать инфраструктуру и дать гарантии тем, кто остался за бортом рыночной экономики. Поэтому разумно, чтобы те, кто воспользовался всеми благами рынка, платили больше.

Мы еще почти час проговорили о глобализации, оплате труда руководящих работников, растущем торговом дефиците, государственном долге. Он особенно возмущался предложению Буша сократить еще и налог на недвижимость, что, как он выразился, создаст аристократию денег, а не достоинства.

— Когда не платишь налог на недвижимость, — говорил он, — то, по существу, передаешь управление ресурсами страны людям, которые этого не заслужили. Это все равно, что составлять олимпийскую команду две тысячи двадцатого года из детей победителей Олимпиады-две тысячи.

В конце разговора я спросил, много ли миллиардеров разделяют эти взгляды. Он рассмеялся:

— Не особо. Они полагают, что это их деньги и они должны считать каждый цент. Но при этом никто не задумывается, что исключительно средства общества позволяют им так жить. Допустим, у меня талант к накоплению капитала. Но возможность использовать его полностью определяется обществом, в котором я живу. Если я родился в охотничьем племени, такой талант мне ни к чему. Быстро бегать я не умею, а физически не очень вынослив. Так что моя участь — стать обедом дикого зверя. Но если мне повезло родиться в обществе, которое ценит мой талант, дало мне хорошее образование, так что этот талант может развиваться, устроило законы и финансовую систему так, чтобы я занимался любимым делом, я заработаю приличную сумму. И самое малое, что я могу сделать, — расплатиться за все это.

Наверное, удивительно слышать такое от одного из богатейших людей мира, но мнение Баффита отнюдь не свидетельствует о доброте его сердца. Скорее это доказательство, что он понимает: выбор правильного политического курса еще не достаточен для вхождения в процесс глобализации. Нужно изменить сам дух, поставить во главу угла наши общие интересы и интересы будущих поколений, а не соображения сиюминутной целесообразности.

В частности, надо перестать делать вид, что любое уменьшение или, разницы нет, увеличение налогов оправданно. Прекращение субсидирования компаний, которые не имеют четкого экономического предназначения, — это одно; сокращение же финансирования лечения детей из бедных семей — это совершенно другое. Когда на самые обычные семьи со всех сторон сыплются невзгоды, побуждение максимально уменьшить их налоги абсолютно понятно и верно. А вот стремление богатых и могущественных обратить антиналоговые настроения в свою пользу куда как менее похвально, точно так же, как и способы, в правильности которых президент, Конгресс, лоббисты и консервативные комментаторы умудрились убедить избирателей из среднего класса — ведь именно на них ложится основное налоговое бремя, а не на обремененных излишними доходами представителей верхушки.

Нигде это смятение умов не проявилось с такой силой, как в спорах о возможной отмене налога на недвижимость. Сейчас муж и жена могут иметь недвижимости на четыре миллиона и не платить никакого

налога; к 2009 году при нынешних законах эта сумма увеличится до семи миллионов. По этой причине налог распространяется только на самые богатые полпроцента одного процента населения, или на треть процента в 2009 году. И так как полная отмена налога на недвижимость обойдется казне примерно в один миллиард долларов, трудно будет назвать другой налог, который меньше отвечал бы интересам обычных американцев или долгосрочным интересам всей страны.

И все же, если верить хитроумному опросу, проведенному президентом и его сторонниками, семьдесят процентов населения высказываются против «налога на смерть». Ко мне в офис часто приходят фермеры и говорят, что налог на недвижимость поставит крест на семейных фермах, хотя фермерские бюро утверждают, что ни одна ферма не закрылась из-за этого налога. Исполнительные директора многих компаний доказывали мне, что Уоррену Баффиту хорошо выступать за налог на недвижимость, ведь даже если с него возьмут девяносто процентов налога, все равно детям и внукам что-нибудь да останется, но вот в отношении тех, чей доход «всего» десять — пятнадцать миллионов, справедливости гораздо меньше.

Давайте внесем ясность. Богатым в Америке почти не на что жаловаться. С 1971 по 2001 год, когда средняя заработная плата среднего рабочего практически не росла, доход одной сотой процента населения увеличился почти на пятьсот процентов. Распределение богатства еще более неравномерно, а расслоение по доходам сейчас сильнее, чем когда-либо со времен «Позолоченного века». Эти тенденции проявились уже в девяностые. Налоговая политика Клинтона лишь слегка приоткрыла их. Налоговые льготы Буша лишь ухудшили положение дел.

Я привожу эти факты вовсе не для того, чтобы разжечь классовую ненависть, как могут утверждать мои республиканские оппоненты. Я отдаю должное множеству состоятельных американцев и не собираюсь преуменьшать степень их успеха. Я знаю, что многим, если не большинству, пришлось зарабатывать свои миллионы тяжелым трудом, организовывать свое дело, создавать рабочие места, искать заказчиков. Я верю, что те из нас, кто больше всего получил от новой экономики, могут лучше других сделать так, чтобы у каждого американского ребенка была такая же возможность добиться успеха. А может, во мне говорит та своеобразная деликатность жителей Среднего Запада, которую я унаследовал от матери и ее родителей и с которой, похоже, знаком и Уоррен Баффит: в какой-то момент человек понимает, что ему хватит, что от картины Пикассо можно получить не меньшее удовольствие в музее, чем в своей уютной комнате, что в ресторане можно отлично пообедать меньше, чем за двадцать долларов, и что если ваш костюм стоит больше, чем годовая зарплата среднестатистического американца, то можно себе позволить платить чуть больше налогов.

В первую очередь именно это ощущение — что, несмотря на громадную разницу в доходах, мы падаем и поднимаемся все вместе, — не дает нам права проигрывать. Перемены ускоряются, кто-то уходит наверх, а большинство — вниз, и это чувство единства поддерживать все труднее. Джефферсон не зря находил изъяны в теории государства, предложенной Гамильтоном, потому что мы всегда балансируем между частными и общими интересами, рынками и демократией, концентрацией власти и богатства и открытыми возможностями. Мне кажется, в Вашингтоне это равновесие сейчас потеряли. Когда мы отчаянно ищем деньги для своих кампаний, когда профсоюзы слабы, пресса безучастна, а лоббисты работают изо всех сил, лишь несколько голосов напоминают нам, кто мы и откуда, и укрепляют наши связи друг с другом.

Таков был подтекст дебатов в начале 2006 года, когда скандал со взятками заставил ограничить влияние лоббистов в Вашингтоне. Одно из предложений запрещало сенаторам летать на частных самолетах по низким тарифам первого класса. Оно так и не прошло. И все же мои сотрудники предложили, чтобы я, выступая по вопросу этических реформ, своей властью прекратил эту практику.

Решение было верным, но, положа руку на сердце, я пожалел о нем, когда мне пришлось за два дня облететь на коммерческих рейсах четыре города. Пробки на шоссе к аэропорту О'Хара были просто немыслимыми. Когда я наконец добрался туда, рейс на Мемфис задержали. Какой-то ребенок пролил сок прямо мне в туфли.

Я стоял в очереди на регистрацию, и тут ко мне подошел человек лет тридцати пяти, одетый в хлопчатобумажные брюки и рубашку-гольф. Как выяснилось, он очень надеялся, что в этом году Конгресс решит вопрос с исследованием стволовых клеток. Он рассказал мне, что страдает болезнью Паркинсона на ранней стадии и имеет сына трех лет. Скорее всего, он уже не поиграет с сыном в мяч. Ему, может быть, уже все равно, но другие не должны испытать эти мытарства.

«Да, — подумал я, — такого в частном самолете не услышишь».

ГЛАВА 6 Вера

Через два дня после того, как я победил в предварительных выборах в Сенат США от Демократической партии, я получил по электронной почте письмо от одного доктора с медицинского факультета Чикагского университета.

«Поздравляю с сокрушительной и вдохновляющей победой на предварительных выборах, — писал доктор. — Я был счастлив отдать за Вас свой голос и хочу сказать, что всерьез подумываю голосовать за Вас и на всеобщих выборах. Я пишу, чтобы выразить тревогу, которая может, в конце концов, не дать мне Вас поддержать».

Как христианин, доктор считал своим долгом быть последовательным и принципиальным во всем. Он писал о том, что вера не позволяет ему принять аборты и однополые браки, но вера также заставила его усомниться в служении идолам свободного рынка и в правильности быстрого обращения к оружию — характерной черте внешней политики президента Буша.

Причина, по которой автор письма подумывал отдать голос в пользу моего противника, заключалась не в моей позиции относительно абортов как таковой. Просто он прочитал на моем веб-сайте о том, что я буду бороться с «идеологами правого крыла, которые хотят лишить женщин права на выбор». Фразу эту на сайте поместили ведущие мою избирательную кампанию помощники. Доктор писал далее:

«Мне кажется, что Вы обладаете сильным чувством справедливости и понимаете, как шатка позиция справедливости при любом государственном устройстве, и я знаю, что Вы выступали в защиту безгласных. Мне кажется также, что Вы непредубежденный человек и высоко цените разум... Однако каковы бы ни были Ваши убеждения, но если Вы истинно верите в то, что все, кто выступает против абортов, являются идеологами, движимыми извращенной страстью причинить женщинам страдание, то Вы, по-моему, не являетесь непредубежденным... Вы знаете, что мы вступаем во времена, исполненные возможностей для добра и зла, во времена, когда мы стремимся выработать общую линию в контексте плюрализма, когда мы не уверены в том, какие у нас имеются основания выдвигать требования, касающиеся других... Я не требую, чтобы Вы выступили против абортов, я хочу, чтобы Вы говорили об этом без предубеждения».

Я проверил свой веб-сайт и нашел вызвавшие раздражение слова. Слова эти принадлежали не мне; во время предварительных выборов от Демократической партии мои помощники поместили их на сайте, резюмируя мою позицию относительно права женщины на аборт, когда некоторые из оппонентов сомневались в моей решимости выступить в защиту прецедента «Роу против Уэйда». В рамках политики Демократической партии это было стандартное клише, рассчитанное на подогрев энтузиазма нашего привычного электората. С другой стороны, считалось, что вступать в спор по этому вопросу неразумно, поскольку любая двусмысленность предполагала слабость, а имея дело с неуступчивыми сторонниками запрета абортов, мы не могли позволить себе слабости.

Однако, читая письмо доктора, я почувствовал стыд. Да, подумал я, в движении против абортов есть те, кто считает меня безжалостным, те, кто толкает женщин, входящих в клинику, или препятствует им войти, те, кто тычет им в лицо фотографии изуродованных зародышей и орет во всю глотку, те, кто запугивает, унижает и время от времени прибегает к насилию.

Но это вовсе не те сторонники запрета абортов, которые иногда появляются на моих предвыборных встречах. Я видел совершенно других людей из небольших общин в отдаленных уголках штата. Выражение их лиц было усталым, но решительным, когда они стояли немыми стражами, держа перед собой, словно щиты, самодельные транспаранты с лозунгами перед зданием, в котором проходила встреча. Они не кричали и не пытались сорвать мероприятие, хотя и заставляли моих помощников чувствовать себя неуютно. В первый раз, когда появились протестующие, моя команда пришла в боевую готовность: за пять минут до прибытия в зал собрания они позвонили в машину, в которой я ехал, и предложили проскользнуть через заднюю дверь, чтобы избежать столкновения.

— Не хочу входить в заднюю дверь, — сказал я водителю. — Скажи им, что мы войдем через главную.

Мы свернули на библиотечную стоянку и увидели, что вдоль ограждения стоят семь или восемь протестующих: несколько пожилых женщин и, похоже, семья — мужчина и женщина с двумя детьми. Я вышел из машины, подошел к ним и представился. Мужчина неуверенно пожал мне руку и назвал свое имя. По виду он был моим ровесником, в джинсах, в клетчатой рубашке и кепке с символикой бейсбольной команды «Сент-Луис кардиналс». Жена его тоже пожала мне руку, но пожилые женщины держались в стороне. Дети, лет девяти или десяти, глядели на меня с нескрываемым любопытством.

— Хотите пройти внутрь? — спросил я.

— Нет, спасибо, — ответил мужчина. Он протянул мне брошюру. — Мистер Обама, я хочу сказать, что согласен со многим из того, о чем вы собираетесь говорить.

— Очень признателен.

— И я знаю, что вы христианин и у вас есть семья.

— Это так.

— Так как же вы можете поддерживать убийство детей?

Я ответил, что понимаю его позицию, но вынужден с ней не согласиться. Я объяснил, что убежден: не многим женщинам легко принять решение прервать беременность, каждая беременная в полной мере чувствует моральный аспект и борется со своей совестью, принимая это разрывающее душу решение. Я сказал также, что, боюсь, запретив аборт, мы вынудим женщин прибегать к небезопасным средствам прерывания беременности, а такое уже было в нашей стране, я напомнил также, что происходит в странах, где преследуют в судебном порядке делающих аборты врачей и прибегающих к их услугам женщин. Вероятно, предположил я, мы сойдемся на том, что надо работать над сокращением числа женщин, которые хотят сделать аборт.

Мужчина вежливо слушал, затем указал на приведенные в брошюре статистические данные, показывающие число нерожденных детей, которых, как он выразился, ежегодно приносят в жертву. Через несколько минут я сказал, что мне надо идти внутрь приветствовать моих сторонников, и еще раз спросил протестующих, не хотят ли они войти. Мужчина снова отказался. Когда я повернулся, чтобы идти, его жена крикнула мне:

— Я буду молиться за вас. Молиться, чтобы вы изменились в своем сердце.

Ни мое сердце, ни мои мысли не изменились с того дня, и не изменятся они в будущем. Но я помнил об этой семье, когда писал ответ доктору и благодарил его за электронное послание. На следующий день я переслал письмо доктора своим помощникам, и слова на сайте были изменены так, чтобы просто и ясно выражать мою позицию против запрещения абортов. И в тот же вечер, перед сном, я произнес молитву... молитву о том, чтобы я мог к другим относиться с той же презумпцией честных намерений, с которой доктор отнесся ко мне.

Это трюизм, что мы, американцы, — народ религиозный. Согласно последним исследованиям, девяносто пять процентов американцев верят в Бога, более двух третей принадлежат к какой-либо Церкви, тридцать семь процентов называют себя убежденными христианами, и в ангелов верит значительно больше людей, чем в эволюцию. К тому же религия не ограничена местами отправления культа. Книги, объявляющие о конце света, продаются миллионными тиражами, христианская музыка занимает места в чартах журнала «Биллборд», и на окраинах всех крупных мегаполисов, похоже, ежедневно возникают новые мегацеркви, в которых предлагается все: от дневного ухода за детьми и вечеров знакомств для одиноких до классов йоги и пилатес. Наш президент

постоянно говорит о том, как Иисус изменил его сердце, и футболисты показывают на небо после каждого гола, словно Бог сидит на скамейке запасных и направляет игру.

Конечно, такая религиозность едва ли нова. Пилигримы прибыли к нашим берегам, чтобы спастись от религиозных преследований и беспрепятственно исповедовать свою строгую разновидность кальвинизма. По стране периодически прокатывалась волна евангелического духовного возрождения, и последующие иммигранты держались за свою веру, чтобы утвердиться в чужом новом мире. Религиозное чувство и религиозная деятельность зародили некоторые из наших самых влиятельных политических движений, от аболиционизма и движения в защиту гражданских прав до популизма Уильяма Джен-нингса Брайана.

Однако если бы вы пятьдесят лет назад спросили ведущих культурых аналитиков о том, каково будущее религии в Америке, они, несомненно, ответили бы, что религия в нашей стране приходит в упадок. Старая религия чахла, как утверждалось, под влиянием более высокого уровня образования населения в целом и чудес техники. Респектабельная публика еще посещает церковь каждое воскресенье, фанатичные проповедники и духовные целители еще действуют на Юге, страх перед «безбожным коммунизмом» помогает подпитывать неомаккартизм. Но в основном традиционная религиозная практика — и, конечно, религиозный фундаментализм — считалась несовместимой с современностью, всего лишь убежищем от трудностей жизни для бедных и необразованных. Даже к колоссальным крестовым походам Билли Грэма специалисты и ученые относились как к любопытному анахронизму, пережитку прошлого, которые имеют мало отношения к серьезной работе управления современной экономикой или формированию внешней политики.

К шестидесятым многие протестантские и католические лидеры пришли к заключению: для того, чтобы выжить, религиозным институтам Америки придется «соответствовать» меняющемуся времени — приспособить церковную доктрину к науке и четко сформулировать социальное евангелие, которое обратится к таким существенным пунктам, как экономическое неравенство, расизм, сексизм и американский милитаризм.

Что же произошло? Отчасти охлаждение религиозного рвения среди американцев всегда преувеличивалось. В этом отношении, по крайней мере, консервативная критика «либерального элитизма» во многом права: запертые в университетах и крупных городских центрах преподаватели, журналисты и распространители массовой культуры просто не сумели оценить роль, какую продолжают играть того или иного рода религиозные проявления по всей стране. Действительно, неспособность основных культурных институтов признать религиозный импульс Америки способствовала интенсивному развитию религиозного предпринимательства, какого нет нигде в промышленно развитом мире. Появилась параллельная вселенная, вытолкнутая из поля зрения, но по-прежнему пульсирующая жизнью по всей центральной части государства, мир не только молельных собраний и процветающих служений, но также мир христианского телевидения, радио, университетов, издательств и развлечений, и все это позволило верующим не замечать массовой культуры точно так же, как не замечали их.

Нежелание многих верующих втягиваться в политику — причиной тому их поглощенность личным спасением и готовность отдавать кесарю кесарево — могло длиться бесконечно, если бы не социальные бунты шестидесятых. Для христиан Юга решение далекого Федерального суда о запрете сегрегации было из той же серии, что и решение об отмене молитвы в школах, — частью длительного наступления на основы традиционного жизненного уклада Юга. Во всей Америке женское движение, сексуальная революция, растущая уверенность в себе геев и лесбиянок и, особенно, решение Верховного суда в деле «Роу против Уэйда» казались прямым вызовом церковному учению о браке, половой жизни и надлежащей роли мужчины и женщины. Чувствуя, что над ними насмехаются и что на них нападают, консервативные христиане больше не могли отгораживаться от широких политических и культурных тенденций страны. И хотя первым, кто ввел в современную государственную политику язык евангельского христианства, был, вероятно, Джимми Картер, Республиканская партия, делающая все больший упор на традицию, порядок и «семейные ценности», занимала лучшее положение, чтобы выгадать от политического пробуждения евангельских христиан и мобилизовать их против либеральной ортодоксии.

Не стоит здесь пересказывать историю о том, как Рональд Рейган, Джерри Фолуэлл, Пат Робертсон, Ральф Рид и, наконец, Карл Роув и Джордж Уокер Буш мобилизовали армию христианских пехотинцев. Достаточно сказать, что сегодня белые евангельские христиане (наряду с консервативными католиками) являются основой рядовых сторонников Республиканской партии — ядром последователей, постоянно мобилизуемым сетью кафедр проповедников и информационных агентств, которых благодаря технике стало еще больше. Это их вопросы — аборты, однополые браки, молитва в школе, теория разумного начала, Терри Шайво, демонстрация десяти заповедей в суде, домашнее обучение, школьные ваучеры и состав Верховного суда, — и именно эти темы зачастую господствуют в заголовках и служат одной из основных линий разлома в американской политике. Самое крупное деление среди белых американцев по партийной принадлежности не между мужчинами и женщинами или теми, кто живет в так называемых красных штатах, и теми, кто живет в синих штатах, а между теми, кто регулярно ходит в церковь, и теми, кто не ходит. Демократы тем временем борются за то, чтобы «заполучить» религию, хотя основной сегмент нашего электората остается твердо светским по ориентации, и опасаются — с полным основанием, несомненно, — что план создания напористой христианской нации может не оставить места для них и их жизненных предпочтений.

Однако растущее политическое влияние правых христиан — это только часть истории. И пусть «Моральное большинство» и «Христианская коалиция» воспользовались недовольством многих евангельских христиан, но что еще более замечательно, это способность евангельского христианства не просто выживать, а процветать в современной высокотехнологичной Америке. В то время когда основные протестантские церкви теряют все больше и больше прихожан, неденоминационные евангельские церкви растут ускоренными темпами, вызывая у своих членов такой уровень приверженности и участия, с каким не может сравниться ни одна организация Америки. Их рвение сделалось массовым.

Этому успеху есть разные объяснения, от искусства евангельских христиан в сбыте религии до харизмы их лидеров. Но их успех указывает также на потребность в продукте, который они продают, потребность, которая не

сводится к той или иной конкретной проблеме или вопросу. Каждый день, похоже, тысячи американцев совершают привычную рутину — высаживают детей у школы, едут в офис, летят на деловую встречу, покупают товары в торговом комплексе, пытаются соблюдать диету — и вдруг понимают, что чего-то не хватает. Они решают, что работа, вещи, развлечения, просто бизнес — это еще не все. Они хотят иметь ощущение цели, хотят, чтобы жизнь имела кульминацию, чтобы было что-то, что облегчит хроническое одиночество или поднимет их над изматывающими, неумолимыми ежедневными потерями. Им нужна уверенность в том, что кто-то там о них заботится, слушает их, что они не обречены просто катиться по шоссе, идущему вниз, к небытию.

Если я хоть что-то понимаю в этом движении к более глубокой религиозности, то, вероятно, оттого, что я сам проделал этот путь.

Я воспитывался не в религиозной семье. Родители моей матери, которые происходили из Канзаса, в детстве были пропитаны религией: мой дед был воспитан бабушкой и дедушкой, набожными баптистами, после того как отец его сбежал, а мать покончила самоубийством, а родители моей бабушки — которые занимали немного более высокое положение в иерархии общества небольшого городка периода Великой депрессии — были практикующими методистами.

Но, вероятно, по той же причине, по какой мои бабушка и дедушка в конце концов покинули Канзас и переехали на Гавайи, религиозная вера так и не прижилась как следует в их сердцах. Моя бабушка всегда была очень рациональной и упрямой и не верила ничему, что она не могла увидеть, потрогать и сосчитать. Мой дедушка, мечтатель в нашей семье, обладал беспокойной душой, которая могла бы найти убежище в религиозной вере, если бы не другие его качества — врожденная непокорность, совершенная неспособность сдерживать свои аппетиты и большая терпимость к слабостям других людей, — которые не позволили ему заниматься чем-либо серьезно.

Сочетание этих черт — твердый рационализм моей бабушки и дедовская веселость и неспособность слишком строго судить других и себя — перешли к моей матери. Ее собственный жизненный опыт, любовь к книгам, чувствительность ребенка, растущего в маленьких городках Канзаса, Оклахомы и Техаса, лишь усилили этот наследственный скептицизм. Воспоминания ее юности о христианах не были добрыми. Время от времени для моего наставления она вспоминала о ханжах-проповедниках, которые отмахивались от трех четвертей населения мира как от невежественных язычников, обреченных на вечное проклятие, и которые тут же утверждали, что земля и небо созданы за семь дней, несмотря на все данные геологии и астрофизики. Она вспоминала «добропорядочных прихожанок», которые при этом сторонились тех, кто не соответствовал их критериям добропорядочности, в то время как сами они тщетно пытались скрыть свои грязные тайны; и мужчин, которые сыпали расистскими оскорблениями и всеми способами надували своих работников.

По мнению моей матери, организованная религия слишком часто рядила нетерпимость в одежды набожности, а жестокость и притеснение в мантию благочестия.

Это не значит, что мать не давала мне никаких религиозных наставлений. Она считала, что знание великих мировых религий является неотъемлемой частью любого всестороннего образования. В нашем доме Библия, Коран, Бхагавадгита стояли на полке рядом с книгами по древнегреческой, скандинавской и африканской мифологиям. На Пасху или в Рождество мама могла повести меня в церковь, точно так же, как она водила меня в буддийский храм, на китайский праздник Нового года, в храм синтоистов и к древним местам захоронений гавайцев. Но мне давалось понять, что все эти пробы религий не требуют от меня стойкой приверженности — никаких усилий по копанию внутри себя или самобичевания. Религия — это выражение человеческой культуры, объясняла она, не ее источник, а лишь один из множества способов — и не обязательно лучший, — какими человек пытается управлять непознаваемым и понять глубокие жизненные тайны.

Короче говоря, моя мать смотрела на религию глазами этнолога, которым она позднее стала; это явление, к которому надо относиться со всем уважением, но одновременно и с соответствующей отстраненностью. Более того, в детстве я редко соприкасался с теми, кто мог предложить совершенно иной взгляд на веру. Отец не оказывал практически никакого влияния на меня в детстве, так как развелся с матерью, когда мне было два года; во всяком случае, хотя воспитан он был как мусульманин, к тому времени как встретил мою мать, он был убежденным атеистом и считал религию предрассудком, вроде бессмысленных шаманских ритуалов, какие он видел в юности в кенийской деревне.

Когда моя мать снова вышла замуж, то мужем ее стал индонезиец такого же скептического склада, человек, который считал религию не особо полезной для продвижения в мире и вырос в стране, смешивающей ислам с пережитками индуизма, буддизма и древними традициями анимизма. В течение пяти лет, что мы жили с отчимом в Индонезии, я ходил в местную католическую школу, а затем в школу преимущественно мусульманскую; в обоих случаях мою мать не волновало, изучаю я катехизис или разгадываю значение вечернего призыва к молитве, ее больше беспокоило, учу ли я как следует таблицу умножения.

И тем не менее, несмотря на всю ее ученую светскость, моя мать была во многих отношениях самым духовно пробужденным человеком, каких я только знал. Она обладала непоколебимой природной способностью к доброте, милосердию и любви и очень часто действовала под влиянием этой способности, порою во вред себе. Без помощи религиозных текстов или посторонних авторитетных источников ей превосходно удалось утвердить во мне ценности, которым многих американцев учат в воскресной школе: честность, сопереживание, дисциплина, отказ от моментального удовольствия ради достижения цели и трудолюбие. Ее возмущали нищета и несправедливость, и она презирала тех, кто был безразличен к этому.

Прежде всего она обостренно ощущала чудо, благоговела перед жизнью, ее драгоценностью и мимолетностью. Это ощущение чуда и благоговение перед жизнью можно было бы с полным правом назвать набожными. Она могла увидеть какую-нибудь картину, могла прочесть строку стихотворения или услышать музыку, и я видел, как слезы наворачивались у нее на глаза. Иногда, когда я уже подрастал, она будила меня среди ночи, чтобы посмотреть на особенно красивую луну, или заставляла закрыть глаза, когда мы шли вместе в сумерках и слушали шорох листвы. Она любила брать детей — любых детей, — сажать себе на колени и щекотать, или играть с ними в

игры, или рассматривать их ладони, исследовать чудо костей, сухожилий и кожи и радоваться истинам, которые можно в них открыть. Она видела тайны всюду и радовалась самой странности жизни.

Только задним числом, конечно, я полностью понимаю, как глубоко этот ее дух повлиял на меня — как он поддерживал меня, несмотря на отсутствие в доме отца, как помог мне миновать подводные рифы подросткового периода и как невидимо направил на путь, которым я в конце концов пошел. И пусть мои честолюбивые устремления разожжены отцом — моим знанием о его успехах и поражениях, моим невысказанным желанием как-то заслужить его любовь и моей обидой и злостью на него, но направлены эти честолюбивые устремления были фундаментальной верой моей матери — в людскую доброту и в бесконечную ценность этой короткой жизни, которая дарована каждому из нас. И как раз чтобы найти подтверждение ее ценностям, я изучал политическую философию, в поисках языка и системы действий, которые смогут построить общество и сделать справедливость реальностью. А чтобы найти практическое применение этим ценностям, я после колледжа взялся за социальную работу для группы церквей в Чикаго, которые пытались справиться с безработицей и наркоманией и вернуть надежду своим прихожанам.

В предыдущей книге я описал, как моя прежняя работа в Чикаго помогла мне повзрослеть, как работа с пасторами и мирянами утвердила мою решимость вести общественную жизнь, укрепила мое расовое самосознание и углубила веру в способность простых людей делать удивительное. Но опыт, полученный в Чикаго, также поставил меня перед дилеммой, которую моя мать так и не решила за всю свою жизнь: я не принадлежал к какому бы то ни было коллективу, не придерживался общих традиций, в которых могли бы найти опору мои самые глубокие убеждения. Христиане, с которыми я работал, узнавали себя во мне; они видели, что я знаю их Писание, разделяю их ценности и пою их песни. Но они чувствовали, что часть меня остается в стороне, остается наблюдателем. Я понял, что без сосуда для своей веры, не связав себя однозначно с каким-то конкретным религиозным обществом, на каком-то уровне я всегда буду оставаться в стороне, свободным так же, как и моя мать, но так же и одиноким, как была бесконечно одинока она.

Такая свобода еще не самое худшее. Моя мать счастливо жила гражданином мира, собирая друзей, где бы она ни оказывалась, находя удовлетворение в работе и в своих детях. При такой жизни и я тоже мог бы быть доволен, если бы только не определенные свойства «черной» церкви, свойства, которые помогли мне избавиться от части своего скептицизма и принять христианскую веру.

Во-первых, меня привлекла способность афроамери-канской религиозной традиции вызывать социальные перемены. В силу необходимости «черной» церкви приходилось служить не только душе, но и человеку в целом. И в силу же необходимости «черная» церковь редко могла позволить себе роскошь отделить личное спасение от коллективного. Ей приходилось служить политическим, экономическим и социальным центром общины; она очень глубоко понимала библейский призыв накормить алчущих, одеть нагих и выступить против начальства и властей. Я видел, что в истории этой борьбы вера была не просто утешением для унывающих или оградой от смерти, вера стала активной, заметной действующей силой в мире. В ежедневном труде мужчин и женщин, которых я каждый день видел в церкви, в их способности найти выход из безвыходного положения и сохранять надежду и достоинство в самых трудных ситуациях я видел воплощение Слова.

И вероятно, как раз благодаря глубокому знанию страдания, обоснованию веры в борьбе «черная» церковь дала мне второе прозрение: вера — это не значит, что у тебя нет сомнений или что ты отрекаешься от всего мирского. Еще задолго до того, как это стало модным среди телевизионных проповедников, обычная негритянская проповедь свободно признавала, что все христиане (включая пасторов) могут испытывать ту же алчность, обиду, похоть и гнев, что и все остальные. Песни госпел, танцы, слезы и крики — все говорило о высвобождении, признании и, в конце концов, о направлении этих эмоций в русло. В черной общине линия между грешником и спасенным была более подвижна; грехи тех, кто вошел в Церковь, не так уж сильно отличались от грехов тех, кто не вошел, и говорить о них могли с одинаковой вероятностью как с юмором, так и с осуждением. Надо было войти в Церковь как раз потому, что ты из этого мира, не в стороне от него; богатый, бедный, грешник, спасенный, тебе надо было принять Христа как раз потому, что у тебя есть грехи, которые надо смыть, — потому что ты человек и нуждаешься в союзнике на твоем трудном пути, дабы сровнять горы и долины, а искривленные пути сделать прямыми.

Как раз благодаря этим новым открытиям — что религиозная вера не требует от меня перестать мыслить критически, отказаться от борьбы за экономическую и социальную справедливость или как-то иначе уйти из мира, который я знаю и люблю, — я наконец смог однажды пройти по Объединенной церкви Христа и креститься. Это было результатом осознанного выбора, а не внезапного откровения; вопросы, которые были у меня, не исчезли по волшебству. Но стоя на коленях под тем крестом в чикагском Саутсайде, я почувствовал, как дух Божий зовет меня. Я подчинился Его воле и посвятил себя открытию Его истины.

Споры о вере редко бывают грубыми в Сенате. Никто не выпытывает чьей-либо религиозной принадлежности; я редко слышал, чтобы произносилось имя Бога во время дебатов. Капеллан Сената Барри Блэк, мудрый и знающий мир человек, в прошлом военно-морской капеллан, афроамериканец, вырос в самом трудном районе Балтимора и выполняет свои ограниченные обязанности — утренняя молитва, добровольные занятия по изучению Библии, духовные советы тем, кто их спрашивает, — с неизменным теплом и твердостью. Молитвенный завтрак в среду является абсолютно неофициальным, двухпартийным и экуменическим (сенатор Норм Коулман, иудей, в настоящий момент является их главным организатором с республиканской стороны); те, кто решает прийти, по очереди выбирают отрывок из Писания и проводят групповые обсуждения. Слыша, с какой искренностью, откровенностью, смирением и добродушием даже самые открыто религиозные сенаторы — такие как Рик Санто-рум, Сэм Браунбэк или Том Кобурн — делятся во время этих завтраков'своими религиозными переживаниями, хочется полагать, что влияние веры на политику во многом полезно, так как вера усмиряет тщеславие, дает устойчивость в шквале современной политической целесообразности.

Но за пределами благородной обстановки Сената споры о религии и ее роли в политике могут принять менее мягкую форму. Например, мой оппонент 2004 года республиканец, посол Алан Киз, уже под занавес своей

кампании выдвинул новый аргумент для привлечения избирателей.

«Христос не стал бы голосовать за Барака Обаму, — заявил мистер Киз, — так как Барак Обама предлагает вести себя несообразно Христовым заветам».

Мистер Киз не в первый раз делает такие заявления. После того как мой первоначальный оппонент-республиканец был вынужден снять свою кандидатуру из-за того, что стали известны некоторые нелицеприятные факты его бракоразводного процесса, Республиканская партия Иллинойса, не сумев выбрать местного кандидата, решила привлечь Киза. То, что мистер Киз — выходец из Мериленда, никогда не жил в Иллинойсе, никогда не побеждал на выборах и считался многими в Республиканской партии невыносимым, не остановило руководство «Великой старой партии» Иллинойса. Один мой коллега-республиканец из Сената штата объяснил мне такую стратегию прямо: «Мы выставили своего консервативного черного парня с гарвардским дипломом против либерального черного парня с гарвардским дипломом. Может, он и не победит, но по крайней мере собьет нимб с твоей головы».

У самого мистера Киза недостатка в уверенности не было. Доктор наук, закончивший Гарвардский университет, протеже Джин Киркпатрик, посла США в Экономическом и социальном совете ООН при Рональде Рейгане, он в первый раз привлек внимание публики как дважды бывший кандидат в Сенат США от Мериленда и затем как дважды бывший кандидат на пост президента от «Великой старой партии». Его побили во всех четырех кампаниях, но эти неудачи ничуть не повредили репутации мистера Киза в глазах его сторонников; для них неудача на выборах лишь подтверждала его бескомпромиссную приверженность консервативным принципам.

Безусловно, говорить этот человек умеет. По малейшему поводу мистер Киз выдает грамматически безупречную речь на практически любую тему. Во время кампании он умело доводил себя до пламенного исступления, тело его раскачивалось, по лбу катился пот, пальцы пронзали воздух, его высокий голос дрожал От чувств и он призывал верующих к битве против сил зла.

К сожалению мистера Киза, ни его интеллект, ни красноречие не могли покрыть его определенных недостатков как кандидата. В отличие от большинства политиков, он не трудился скрыть, что считает себя моральным и интеллектуальным авторитетом. С прямой осанкой, чуть ли не в театральной, торжественной манере, с полуопущенными веками, что придавало ему вечно утомленный вид, он походил на нечто среднее между пятидесятническим проповедником и Уильямом Ф. Бакли.

Более того, эта самоуверенность отключила у него инстинкт самоцензуры, которая позволяет многим идти по жизни, не ввязываясь постоянно в драки. Мистер Киз говорил все, что взбредет ему в голову, его просто несло. Уже находясь в невыгодном положении из-за того, что поздно начал кампанию, из-за недостатка финансов и статуса политического пришельца из другого региона, он всего за три месяца успел оскорбить почти каждого. Всех гомосексуалистов — включая дочь Дика Чейни — он заклеймил «эгоистичными гедонистами» и настаивал, что усыновление или удочерение ребенка однополой парой неизбежно ведет к инцесту. Он назвал пресс-корпус Иллинойса орудием «заговора против брака и против человеческой жизни». Он обвинил меня в том, что я занял «позицию рабовладельца» в защите права на аборт и назвал меня «твердолобым марксистом-книжником», поскольку я выступаю за всеобщее здравоохранение и другие социальные программы, после чего для ровного счета добавил, что раз я не являюсь потомком рабов, то я не настоящий афроамериканец. На определенном этапе он сумел настроить против себя даже пригласивших его в Иллинойс консервативных республиканцев, предложив — вероятно, делая ставку на голоса черных, — ввести репарации в форме полной отмены подоходного налога со всех черных, имеющих среди предков рабов. («Это катастрофа! — таков был один из комментариев на форуме крайне правого веб-сайта Иллинойса «Иллинойс лидер». - А КАК ЖЕ БЕЛЫЕ!!!»)

Другими словами, Алан Киз являлся идеальным оппонентом; все, что мне надо было делать, — это закрыть рот и начать готовиться к присяге при вступлении в должность. И все же по мере того, как кампания продвигалась, я стал замечать, что он меня раздражает так, как никто не раздражал раньше. Когда во время кампании наши пути пересекались, мне часто приходилось подавлять в себе желание либо сказать колкость, либо свернуть ему шею. Однажды, когда мы столкнулись на одном параде по случаю Дня независимости Индии, я, что-то доказывая, тыкал ему в грудь, будто доминантный самец, чего не делал с тех пор, как окончил среднюю школу, и наблюдательная команда журналистов храбро поймала этот эпизод, который потом, вечером, замедленно прокручивался по телевизору. В трех дебатах, проводившихся перед выборами, я часто оказывался косноязычен, раздражителен и нехарактерно напряжен — моменты, которые публика в основном не заметила (к тому времени уже списав мистера Киза со счета), но которые немало огорчили кое-кого из моих сторонников. «Зачем ты позволяешь этому парню задавать тебе головомойку?» — спрашивали они меня. Для них мистер Киз был сторонником крайних мер, экстремистом, и доводы его даже не стоило принимать во внимание.

Я не мог не принимать мистера Киза всерьез, ведь он утверждал, что говорит от имени моей религии, и хотя мне могло не нравиться содержание его речей, я вынужден был признать, что некоторые из его взглядов имеют много сторонников в христианской Церкви.

Доводы его были примерно таковы: Америку основали на двух равных принципах — богоданной свободе и христианской вере. Череда либеральных аппаратов захватывала федеральное правительство, чтобы служить безбожному материализму, и тем самым постоянно изъедала — правилами, социалистическими программами социального обеспечения, законодательством об огнестрельном оружии, обязательным посещением муниципальных школ и подоходным налогом («рабским налогом», как назвал его мистер Киз) — личную свободу и традиционные ценности. Либеральные судьи посодействовали этому моральному разложению, извратив Первую поправку так, что она стала означать отделение Церкви от государства, и узаконив всякого рода отклонения от норм — в частности аборты и гомосексуализм, — что поставило нуклеарную семью под угрозу уничтожения. Таким образом, рецепт американского обновления прост: вернуть религии, и христианству в частности, принадлежащую ей по праву роль центра общественной и частной жизни, привести законодательство в соответствие с религиозными нормами и кардинально сократить право федеральных властей издавать законы в областях, не установленных ни Конституцией, ни Божественными заповедями.

Иными словами, Алан Киз представил взгляд религиозных реакционеров в нашей стране без каких-либо оговорок, компромисса или оправдания. То, как он это излагал, совершенно последовательно обеспечивало мистеру Кизу уверенность и беглость речи ветхозаветного пророка. И если справиться с его конституционными и политическими доводами мне было легко, то его толкование Писания заставило меня перейти к обороне.

«Мистер Обама говорит, что он христианин, — повторял мистер Киз, — а сам выступает за образ жизни, который Библия называет мерзостью». «Мистер Обама говорит, что он христианин, а сам выступает за уничтожение невинной и священной жизни».

Что мне сказать? Что буквально толковать Библию — это глупо? Что мистер Киз, католик, хочет быть святее самого папы римского? Не желая доходить до этого, я ответил так, как всегда отвечают либералы в подобных спорах, — что мы живем в плюралистическом обществе, я не могу другим навязывать свои религиозные взгляды и я выставляю свою кандидатуру на выборах на пост сенатора от штата Иллинойс, а не пастора штата Иллинойс. Но даже когда отвечал, я понимал скрытое обвинение мистера Киза — в том, что я пребываю в глубоком сомнении, вера моя неистинная и я не настоящий христианин.

В каком-то смысле дилемма, с которой я столкнулся, отвечая мистеру Кизу, отражает более широкую дилемму, с которой столкнулся либерализм, отвечая религиозным реакционерам. Либерализм учит нас быть терпимым к вере других, если только эта вера не наносит вреда или не нарушает права верить иначе. В том случае, если религиозные общества держатся особняком и вера остается в пределах личного сознания, такая терпимость не подвергается испытанию.

Но религия редко практикуется в изоляции; по крайней мере организованная религия — явление очень даже публичное. Верующие могут почувствовать, что вера требует от них проповедовать Евангелие везде, где только можно. Они могут почувствовать, что светское государство поддерживает ценности, которые оскорбляют их убеждения. Они могут захотеть, чтобы более обширная часть общества поддержала правильность их взглядов и способствовала их укреплению.

И когда движимые религиозной верой для достижения этих целей предъявляют политические претензии, либералы начинают беспокоиться. Те из нас, кто находится на государственной должности, могут пытаться вообще избегать разговора о религиозных ценностях из опасения кого-нибудь оскорбить и могут заявлять, что — независимо от личных убеждений — в таких вопросах, как аборт и школьная молитва, у нас связаны руки конституционными принципами. (Политики-католики определенного возраста, похоже, особенно осторожны, вероятно, оттого, что они достигли зрелости, когда многие в Америке еще задавались вопросом, не кончится ли тем, что Джон Ф. Кеннеди будет подчиняться приказам папы римского.) Некоторые левые политики (но не те, что на государственных постах) идут дальше, они отметают религию в общественном пространстве как вещь по своему существу иррациональную, нетерпимую и, следовательно, опасную и указывают на то, что из-за акцента на личное спасение и полицейский надзор за частной моралью религиозные разговоры дали консерваторам возможность отгородиться от вопросов общественной морали, таких как нищета или преступления корпораций.

Подобный принцип уклонения может сработать для сторонников прогресса, когда противником является Алан Киз. Но по большому счету, я думаю, мы совершаем ошибку, когда не признаем значение веры в жизни американцев и не вступаем в серьезный спор о том, как примирить веру с нашей современной плюралистической демократией.

Начнем с того, что это плохая политика. В Америке очень много религиозных людей, в Том числе большинство демократов. Если мы оставим серьезные разговоры о религии, если мы не будем обращать внимания на споры о том, что значит быть хорошим христианином, мусульманином или иудеем; если мы будем обсуждать религию лишь в негативном смысле, то есть где и как не следует ее практиковать, а не в позитивном, то есть что говорит она нам о наших обязанностях в отношении друг друга; если мы будем сторониться религиозных мероприятий и религиозных передач, полагая, что нам будут не рады, пустое место займут другие. И займут его, скорее всего, те, у кого самые однобокие взгляды на веру, или те, кто цинично использует религию для обоснования узкопартийных целей.

Более принципиально то, что неловкость некоторых сторонников прогресса при любом упоминании религиозности часто не позволяла нам действенно обратиться к вопросам в моральном плане. Часть проблемы в риторике: стоит очистить язык от всего религиозного, и мы лишимся образов и терминологии, при помощи которых миллионы американцев понимают и нормы своего личного поведения, и социальную справедливость. Представьте себе инаугурационную речь Линкольна без слов «суды Господни» или речь Кинга «У меня есть мечта» без слов «все Божьи дети». Их обращение к высшей истине помогало внушить то, что, казалось, внушить невозможно, и подвигнуть народ принять общую судьбу. Естественно, у организованной религии нет монополии на добродетель, и не обязательно быть верующим, чтобы предъявлять моральные претензии или апеллировать к общественному благу. Но нам не следует избегать предъявления таких претензий и апелляций — или отбросить любые ссылки на нашу богатую религиозную традицию — ради того, чтобы кого-нибудь не обидеть.

Однако наша неспособность как сторонников прогресса использовать моральный фундамент нации — это уже не просто риторика. Из-за опасения показаться «нраво-учителями» мы, возможно, также недооценили ту роль, какую ценности и культура играют в решении некоторых из наших самых насущных социальных проблем.

И все же проблемы нищеты и расизма, безработных, не имеющих страховки, не просто технические проблемы, возникающие в период поиска совершенного плана из десяти пунктов. Они также имеют корни в социальном неравенстве и в личном бессердечии — в желании тех, кто на вершине социальной лестницы, сохранить свое богатство и статус любой ценой, а также в отчаянии и саморазрушении тех, кто находится в самом низу социальной лестницы.

Для решения этих социальных проблем потребуются изменения в политике правительства и также изменения в сердцах и умах. Я убежден в том, что не должно быть оружия в трущобах наших городов и наши руководители должны заявить об этом вопреки лобби производителей оружия. Но также я убежден и в том, что, когда бандит стреляет без разбора в толпу, полагая, будто кто-то отнесся к нему с неуважением, перед нами

проблема морали. Следует не только наказать преступника за его преступление, но и признать, что существует дыра в его сердце, дыра, которую одни правительственные программы залатать не смогут. Я убежден в том, что следует усилить контроль над выполнением законов, гарантирующих отсутствие дискриминации. Я также убежден в том, трансформация сознания и истинная приверженность плюрализму со стороны высших должностных лиц нашей страны могут дать более быстрые результаты, чем батальон юристов. Я убежден, что нам следует вкладывать больше из наших налоговых поступлений в образование малоимущих мальчиков и девочек и давать им сведения о контрацепции, чтобы предотвратить нежелательную беременность, снизить коэффициент абортов и способствовать тому, чтобы каждый ребенок был окружен любовью и заботой. Но я также считаю, что вера может укрепить у молодой женщины сознание собственного «я», у молодого человека чувство ответственности и у всех молодых людей чувство уважения, которое все люди должны испытывать к акту половой близости.

Я не имею в виду то, что каждый сторонник прогресса должен вдруг переключиться на религиозную терминологию или что мы должны отказаться от борьбы за изменение наших общественных институтов в пользу «тысячи световых точек». Я отдаю себе отчет в том, как часто апелляция к личной добродетели становится оправданием бездействия. Более того, нет ничего прозрачнее неискреннего проявления веры — такого, как у политиков, которые являются перед выборами в «черную» церковь и хлопают в ладоши (не в ритм) под пение госпел-хора или бросают несколько библейских цитат, чтобы сдобрить абсолютно сухую программную речь.

Я имею в виду то, что если бы мы, сторонники прогресса, избавились от части своих предубеждений, то сумели бы признать общие для верующих и неверующих ценности, имеющие отношение к нравственному и материальному пути нашей страны. Мы могли бы признать, что призыв к жертве во имя будущего поколения, необходимость думать в понятиях «ты», а не только «я» находит отклик у прихожан по всей стране. Веру нам надо принять всерьез, чтобы не просто остановить религиозных консерваторов, а задействовать каждого верующего в более крупном проекте обновления Америки.

Что-то из этого уже начинает происходить. Такие пасторы крупных церквей, как Рик Уоррен и Т. Д. Джейке, используют свое огромное влияние и занимаются проблемами СПИДа, долга стран третьего мира и геноцидом в Дарфуре. Те, кто сами себя называет «прогрессивными евангельскими христианами», такие как Джим Уоллис и Тони Камполо, превозносят библейское предписание помогать бедным как средство для мобилизации христиан против сокращения финансирования социальных программ и растущего неравенства. И по всей стране отдельные церкви, такие как моя, спонсируют программы дневного ухода за детьми, строительство центров для престарелых и помогают бывшим правонарушителям вернуться к нормальной жизни.

Но чтобы развивать дальше это еще только пробное партнерство религии и светского мира, надо еще работать. Надо непосредственно заняться вопросом напряженности и недоверия как со стороны верующих, так со стороны неверующих, и каждой из сторон придется принять некоторые основные правила сотрудничества.

Первый и самый трудный шаг для части евангельских христиан — это признать критическую роль, которую сыграла Первая поправка к Конституции США не только в развитии нашей демократии, но и в здоровье нашей религиозной практики. Вопреки утверждениям многих реакционных христиан, которые сетуют по поводу отделения Церкви от государства, спорят они не с горсткой судей либеральных шестидесятых. Спорят они с составителями «Билля о правах» и прародителями сегодняшней евангельской церкви.

Многие знаменитые деятели революции, в особенности Франклин и Джефферсон, были деистами, которые, веря во Всемогущего Бога, ставили под вопрос не только догмы христианской Церкви, но и сами центральные догматы христианства (включая божественную природу Христа). Джефферсон и Мадисон, в частности, выступали за то, что Джефферсон называл «разделительной стеной» между Церковью и государством как средством защиты личной свободы в религиозной вере и практике, защиты государства от сектантских раздоров и защиты организованной религии от посягательств государства или нежелательного влияния.

Конечно, не все отцы-основатели были согласны: такие люди, как Патрик Генри и Джон Адаме, предлагали использовать государство для продвижения религии. И хотя как раз Джефферсон и Мадисон поддерживали Виргинский статут о религиозной свободе, который стал впоследствии моделью для Первой поправки к Конституции США, не эти ученики Просвещения оказались самыми рьяными поборниками отделения Церкви от государства.

Народную поддержку, необходимую для ратификации этих положений, обеспечили такие баптисты, как преподобный Джон Лиланд и другие христиане-евангелисты. Поступили они так потому, что были аутсайдерами; потому, что их проповедь всем желающим — в том числе и рабам — угрожала установленному порядку; потому, что они не почитали чины и привилегии и потому, что были постоянно гонимы и презираемы господствующей англиканской Церковью на Юге и конгрегационалистами на Севере. Они не только вполне обоснованно опасались, что любая поддерживаемая государством религия может посягать на их возможность как религиозного меньшинства отправлять свой культ; они также были убеждены в том, что жизнеспособность религии неизбежно уменьшается, когда она получает поддержку от государства или понуждение. Как сказал преподобный Лиланд: «В государственной поддержке нуждается лишь ложь, истина может обойтись и обойдется без нее».

Формулировка религиозной свободы Джефферсона и Лиланда сработала. Америке не только удалось избежать религиозных раздоров, какие продолжают терзать планету, но также обеспечить процветание религиозных организаций — явление, которое многие наблюдатели приписывают именно отсутствию поддерживаемой государством Церкви. Более того, принимая во внимание увеличивающееся разнообразие населения Америки, опасность сектантства высока, как никогда. Кем бы мы ни были раньше, сейчас мы уже не просто христианская нация; мы также и иудейская нация, исламская нация, буддийская нация, индуистская нация и нация неверующих.

Но давайте все-таки предположим, что в пределах наших границ находятся только христиане. Чью версию христианства будем мы учить в школе? Джеймса Доб-сона или Эла Шарптона? Какие выдержки из Писания

должны руководить нашей общественной жизнью? Следовать ли нам Книге Левит, которая говорит, что рабство — это нормально, а есть моллюсков мерзость? А как насчет Второзакония, где говорится, что надо забить своего ребенка камнями, если он отойдет от веры? Или нам следует придерживаться только Нагорной проповеди — руководства столь радикального, что вряд ли Министерство обороны сможет применить его на практике?

Это подводит нас к другому моменту — каким образом религиозные взгляды должны стать предметом общественных дебатов и служить руководством для выборных должностных лиц. Конечно, приверженцы антиклерикализма не правы, когда требуют от верующих, чтобы они оставляли свою религию у дверей, перед тем как выйти на общественную площадь; Фредерик Дугласе, Авраам Линкольн, Уильям Дженнингс Брайан, Дороти Дей, Мартин Лютер Кинг-младший, да и вообще большинство великих реформаторов в американской истории, были не только движимы верой, но и постоянно использовали язык религии. Сказать, чтобы люди не привносили «частную мораль» в споры о государственной политике, — это практический абсурд; наше законодательство по определению является кодификацией моральных норм, и многое в нем основано на иудейско-христианской традиции.

Чего наша совещательная, плюралистическая демократия действительно требует, так это того, чтобы движимые религиозной верой выражали свои вопросы во всеобщих, а не специфических для их религии ценностях. Она требует того, чтобы их доводы могли обсуждаться и подчинялись разуму. Если я из религиозных соображений против абортов и стремлюсь провести закон, их запрещающий, я не могу просто сослаться на учение своей Церкви или на волю Божью и ожидать, что этот довод одержит победу. Если я хочу, чтобы другие меня слушали, я должен объяснить, почему аборты нарушают какой-нибудь принцип, понятный людям всех религий, а также неверующим.

Для тех, кто верит в непогрешимость Библии, как многие евангельские христиане, такие правила начала военных действий могут казаться еще одним примером тирании светского и материального мира по отношению к священному и вечному. Но при плюралистической демократии выбора у нас нет. Вера и разум действуют в разных сферах и используют разные способы для определения истины. Разум и наука используют накопление знаний на основании фактов, которые могут восприниматься всеми нами. Религия же, напротив, основана на истинах, которые не могут быть проверены обычным человеческим разумом, — «вера есть уверенность в невидимом». Когда преподаватели научных дисциплин настаивают на том, чтобы креационизм и разумный замысел остались за пределами учебной аудитории, они не утверждают, что научное знание превосходит религиозное озарение. Они просто настаивают на том, что каждый путь к знанию использует разные правила и что эти правила не являются взаимозаменяемыми.

Политику едва ли можно считать наукой, и она довольно редко зависит от разума. Но при плюралистической демократии те же самые различия имеют силу. Политика, как и наука, зависит от нашей способности убеждать друг друга, основываясь на общих фактах, в общей цели. Более того, политика (в отличие от науки) включает в себя компромисс, искусство возможного. На определенном фундаментальном уровне религия не допускает компромисса. Она настаивает на невозможном. Если Бог сказал, то адепты должны действовать согласно указаниям Бога, каковы бы ни были последствия. Основывать свою жизнь на таком бескомпромиссном убеждении — благородно; основывать политику на таких убеждениях — опасно.

Астория об Аврааме и Исааке дает простой, но ясный пример. Согласно Библии, Бог велел Аврааму взять сына своего единственного, которого он любит, Исаака и принести его во всесожжение. Без возражений Авраам отводит Исаака на гору, связывает на жертвеннике и заносит нож, чтобы сделать так, как велел Бог.

Счастливый конец нам, конечно, известен — Бог в самый последний момент посылает ангела вмешаться. Авраам прошел проверку на преданность Богу. Он становится образцом верности Богу, и его великая вера была вознаграждена через несколько поколений. И все же можно утверждать, что если любой из нас увидит, как Авраам двадцать первого века замахивается ножом на крыше многоэтажного дома, то вызовет полицию; мы скрутим его; и даже если увидим, что в последний момент он опустил нож, будем ожидать, что комитет по делам детства и семьи отберет Исаака и предъявит Аврааму обвинение в жестоком обращении с ребенком. И поступили бы мы так потому, что Бог не являет Себя или Своих ангелов всем нам одновременно. Мы не слышим того, что слышит Авраам, не видим того, что видит Авраам, какими бы истинными ни были эти ощущения. И нам остается действовать согласно тому, что может быть известно нам всем, понимая: что-то из представляющегося нам истиной — как отдельным личностям или членам религиозных обществ — истинным является только для нас.

И наконец, любое примирение веры с демократическим плюрализмом требует некоего чувства меры. Это не совсем чуждо религиозной доктрине: даже те, кто настаивает на непогрешимости Библии, делает различия между требованиями Писания, ощущая, что некоторые места — скажем, десять заповедей или вера в божественную природу Христа — являются центральными для христианской веры, а другие в большей степени культурно обусловлены и могут быть изменены для приспособления к современной жизни. Американцы интуитивно это понимают, и поэтому большинство католиков практикуют предупреждение беременности, а некоторые из тех, кто выступает против однополых браков, все же не поддерживают конституционную поправку, их запрещающую. Религиозному руководству не надо признавать эту истину при наставлении своей паствы, но оно должно признавать эту мудрость в своей политике.

Если христианским активизмом должно руководить чувство меры, оно также должно руководить и теми, кто охраняет границу между Церковью и государством. Не всякое упоминание Бога на публике является брешью в разделяющей стене; как Верховный суд правильно признал, контекст имеет значение. Сомнительно, что дети, произнося клятву на верность флагу, чувствуют себя угнетенными из-за слов «перед Богом»; я не чувствовал. Предоставление школьной собственности для собраний добровольных молитвенных групп не является угрозой, так же как и использование ее республиканским клубом средней школы не угрожает демократам. И можно представить себе определенную программу, религиозную в своей основе, рассчитанную на бывших правонарушителей, наркоманов или алкоголиков, которая будет предлагать особо действенный способ решения проблем и тем самым заслужит тщательно регламентированную поддержку.

Эти широкие принципы для обсуждения веры при демократии не всеобъемлющи. Было бы хорошо, например, если бы мы в спорах, соприкасающихся с религией, а также во всех демократических речах не поддавались искушению обвинять в нечестности тех, кто с нами не согласен. Оценивая убедительность различных моральных требований, мы должны следить, чтобы эти требования были последовательны: как правило, я больше буду склонен слушать тех, кто в равной степени возмущается непристойностью музыкальных клипов и количеством бездомных на улицах. И следует признать, что иногда спор наш не столько о том, что правильно, сколько о том, кто даст окончательное разрешение — нужна ли нам принуждающая рука государства, чтобы навязать наши ценности, или это тот предмет, который лучше оставить на совести отдельного человека.

Естественно, даже твердое выполнение этих принципов не разрешит каждый конфликт. Готовность многих противников абортов сделать исключение для случаев изнасилования и инцеста указывает на готовность поступиться принципом из практических соображений; готовность даже самых рьяных сторонников права женщин на выбор принять некоторые ограничения на аборты на поздних сроках говорит о признании того, что зародыш — нечто большее, чем часть тела, и что общество заинтересовано в его развитии. Однако между теми, кто убежден, что жизнь начинается в момент зачатия, и теми, кто считает, что до рождения зародыш является частью тела женщины, быстро возникает положение, когда компромисс невозможен. В этом положении самое лучшее, что мы можем сделать, — это обеспечить, чтобы политический результат определялся убеждением, а не насилием и устрашением, — и перенести хотя бы часть нашей энергии на сокращение количества нежелательных беременностей посредством просвещения (в том числе и о воздержании) или противозачаточных средств, усыновления или любых других способов, которые имеют широкую поддержку и доказали свою действенность.

Многие практикующие христиане могут быть так же неспособны к компромиссу и в отношении однополых браков. Я нахожу такую позицию трудной, особенно в обществе, в котором, как известно, христиане, мужчины и женщины, совершали прелюбодеяние или как-то иначе нарушали требования их веры без гражданско-правовых санкций. Мне очень часто, сидя в церкви, доводилось слышать, как пастор использовал критику гомосексуалистов как дешевый фокус для публики. «И были это Адам и Ева, а не Адам и Сева!» — восклицает он обычно, когда проповедь не особо удается. Я убежден в том, что американское общество может выделить особое место для союза мужчины и женщины как единицы, воспитывающей детей, самой обычной в любой культуре. Я не хочу, чтобы государство лишало американских граждан возможности гражданского союза, который дает такие же права на посещение больницы, на медицинскую страховку, просто из-за того, что люди, которых они любят, того же пола, — также не хочу я принимать ту трактовку Библии, которая считает, что неясные строки в Послании к римлянам имеют большее значение для христианства, чем Нагорная проповедь.

Щепетилен я в этом вопросе, вероятно, из-за того, что видел, какую боль причинила моя собственная неосторожность. До избрания, в середине своих дебатов с мистером Кизом, я получил телефонное сообщение от одной из моих самых твердых сторонниц. Она была собственницей малого предприятия, матерью ребенка, чутким и щедрым человеком. Также она была лесбиянкой, которая к тому времени уже десять лет прожила со своей партнершей.

Она знала, когда решала меня поддержать, что я против однополых браков, и она слышала, как я говорил, что при отсутствии какого-либо значимого консенсуса заострение внимания на браке отвлекает от других действий по предотвращению дискриминации геев и лесбиянок. Телефонное сообщение от нее в данном случае пришло по поводу радиоинтервью, в котором я, объясняя свою позицию по этому вопросу, сослался на свои религиозные традиции. Она сказала, что мои замечания ее обидели; она почувствовала, что, сославшись на религию, я имел в виду, что она и ей подобные в каком-то смысле нехорошие люди.

В ответном звонке я выразил свое сожаление. Разговор с ней стал напоминанием о том, что, сколько бы христиане, выступающие против гомосексуалистов, ни заявляли, что ненавидят грех, но любят грешника, такой взгляд причиняет боль добрым людям — людям, созданным по образу и подобию Божьему, которые зачастую более верны учению Христа, чем те, кто их обвиняет. И это стало также напоминанием о том, что мой долг, не только как выборного должностного лица в плюралистическом обществе, но также и как христианина, быть готовым к тому, что мое нежелание поддерживать однополые браки может быть ошибкой, так же как я не могу утверждать, что абсолютно прав в поддержке права на аборт. Я должен признать, что, возможно, оказался заражен предрассудками и предпочтениями общества и приписал это Богу; что из призыва Иисуса любить друг друга может следовать иной вывод и что в будущем история может рассудить так, что я был не на той стороне. Я не считаю, что такие сомнения делают меня плохим христианином. Я считаю, что они делают меня человеком, ограниченным в понимании Божьего замысла и, таким образом, склонного к греху. Когда я читаю Библию, то убежден, что это не статичный текст, а живое слово и что я постоянно должен быть готов к новому откровению, придет ли оно от друга-лесбиянки или от доктора — противника абортов.

Это не значит, что я нетверд в своей вере. Есть то, в чем я абсолютно уверен: золотое правило, необходимость бороться с жестокостью во всех ее проявлениях, ценность любви и благотворительности, смирение и милосердие.

Эти убеждения были внедрены в мое сознание два года тому назад, когда я летал в Бирмингем в Алабаме, чтобы произнести речь в городском Институте гражданских прав. Институт расположен как раз через дорогу от баптистской церкви на Шестнадцатой улице, где в 1963 году погибли четыре ребенка: Эдди Мей Коллинз, Кэрол Робертсон, Синтия Уэсли и Дениз Макнэйр, когда во время занятий воскресной школы взорвалась бомба, подложенная белым расистом. До своего выступления я воспользовался возможностью посетить эту церковь. У дверей меня приветствовали молодой пастор и несколько дьяконов и показали все еще заметный шрам на стене там, где взорвалась бомба. Я видел часы в глубине церкви, которые так и стоят на времени 10:22. Я рассмотрел портреты этих четырех девочек.

После осмотра церкви пастор, дьяконы и я взялись за руки и произнесли молитву у алтаря. После этого меня оставили одного, чтобы я посидел на скамье и собрался с мыслями. Каково было родителям тогда, сорок лет назад, думал я, узнать, что они лишились своих бесценных дочерей из-за жестокости одновременно и такой

бессмысленной, и такой страшной? Как смогли они перенести боль, если бы не были уверены, что гибель их детей имеет какую-то цель, что в неизмеримой потере может быть найдено какое-то значение? Эти родители наверняка видели, как со всей страны стекаются скорбящие, наверняка читали соболезнования со всего мира, наверняка смотрели по телевизору речь Линдона Джонсона, наверняка видели, как Конгресс наконец принял закон «О гражданских правах» 1964 года. Знакомые и незнакомые люди наверняка заверяли их, что дочери их погибли не зря, что они пробудили сознание нации и помогли освободить людей; что бомба взорвала плотину и, как вода, потекли справедливость и правда, точно сильный поток. И все же достаточно ли этого знания, чтобы утешить скорбь, удержать от безумия и вечной ярости, если ты одновременно понимаешь, что твой ребенок ушел в лучший мир?

Мысли мои вернулись к моей матери и ее последним дням, когда рак уже распространился по телу и было ясно, что пути назад нет. Она призналась мне во время курса лечения, что еще не готова умирать; все это случилось для нее так неожиданно, словно материальный мир, который она так любила, вдруг обернулся против нее, предал. И хотя она храбро боролась, до самого конца не теряя духа, терпела боль и переносила химиотерапию, я не раз замечал, как во взгляде ее мелькал страх. Больше, чем страх боли или страх перед неизвестным, ее пугало, думаю, само одиночество смерти — понимание того, что на этом последнем отрезке пути с ней не будет никого, с кем можно поделиться своими переживаниями, никого, кто бы вместе с ней поразился способности тела причинять самому себе боль или посмеялся над самой абсурдностью жизни, когда волосы начинают выпадать, а слюнные железы прекращают работу.

Эти мысли оставались при мне, когда я вышел из церкви и произносил свою речь. Позднее вечером, уже дома в Чикаго, я сидел за обеденным столом и смотрел, как Малия и Саша смеются, спорят и не хотят есть фасоль, пока мать не загнала их наверх — мыться и спать. Один на кухне, моя посуду, я представил себе, как мои девочки взрослеют, и почувствовал боль, которую рано или поздно чувствуют все родители, желание ухватить каждое мгновение, когда ребенок рядом, и не отпускать его — сохранить каждый жест, зафиксировать навечно вид их кудряшек или ощущение от прикосновения пальцев, сцепленных с твоими. Я вспомнил, как Саша спросила меня однажды, что происходит, когда мы умираем. «Я не хочу умирать», — добавила она с деловым видом, и я обнял ее и сказал: «Еще очень, очень нескоро тебе надо будет об этом беспокоиться», что, казалось, ее успокоило. Я подумал: может быть, следовало сказать ей правду, что я точно не знаю, что происходит, когда мы умираем, так же как не знаю, где обитает душа или что было до «Большого взрыва». Но, поднимаясь по лестнице, я знал, на что я надеюсь, — на то, что моя мать каким-то образом вместе с теми четырьмя девочками может как-то обнять их, найти радость в их душах.

Я знаю, что тем вечером, укладывая дочерей спать, я немного прикоснулся к небесам.

ГЛАВА 7 Раса

Похороны проходили в большой церкви, в блестящей геометрической конструкции, выстроенной среди десяти хорошо ухоженных акров земли. Говорят, строительство обошлось в тридцать пять миллионов долларов, и это было заметно — здесь имелся банкетный зал, конференц-центр, стоянка на тысячу двести машин, современная акустическая система, телевизионное оборудование и студия для цифрового монтажа.

В церкви уже собрались четыре тысячи человек, большинство из них афроамериканцы, многие — специалисты в какой-либо области: врачи, юристы, экономисты, преподаватели и торговцы недвижимостью. На сцене сенаторы, губернаторы и промышленные магнаты сидели вместе с черными лидерами, такими как Джесси Джексон, Джон Льюис, Эл Шарптон и Т. Д. Джейкс. Снаружи под ярким октябрьским солнцем на тихой улице стояли еще тысячи людей: пожилые пары, одинокие люди, молодые женщины с детскими колясками, одни махали проезжающим кортежам автомобилей, другие стояли в молчаливом раздумье, и все они ждали, желая отдать последнюю дань уважения крохотной седой женщине, которая лежала в гробу в церкви.

Спел хор, пастор прочитал молитву. Бывший президент Билл Клинтон поднялся и в своей речи начал описывать, каково было ему, белому мальчику-южанину ездить на сегрегированных автобусах, начал говорить о том, как движение в защиту гражданских прав, вспышке которого Роза Паркс способствовала, освободила его и его белых соседей от их собственной расовой нетерпимости. Непринужденность общения Клинтона с черной аудиторией, чуть ли не восторженное обожание публики говорили о примирении, прощении и частичном заживлении прошлых ран.

То, что бывший лидер свободного мира и сын Юга признает свой долг перед черной швеей, — во многих отношениях уместная дань наследию Розы Паркс. Действительно, великолепная церковь, множество черных выборных должностных лиц, явное процветание многих присутствующих и то, что и я сам на сцене как сенатор США, — ко всему этому можно проследить путь от того декабрьского дня в 1955 году, когда со спокойной решимостью и невозмутимым достоинством миссис Паркс отказалась уступить место в автобусе. Отдавая честь Розе Паркс, мы отдаем честь и другим тысячам женщин, мужчин и детей по всему Югу, чьи имена не сохранились в учебниках истории, чьи имена потерялись в медленных вихрях времени, но чье мужество и милосердие способствовали освобождению людей.

И все же, когда я сидел и слушал бывшего президента и вереницу ораторов после него, мысли мои постоянно возвращались к картинам разрушения, которыми были полны программы новостей всего два месяца назад, когда ураган «Катрина» ударил по северной части побережья Мексиканского залива и Новый Орлеан оказался затоплен. Я вспоминал, как, стоя перед стадионом «Луизиана супердоум», совсем молодые мамы держали вялых детей и рыдали или произносили проклятия, я вспоминал старых женщин в инвалидных колясках, их запрокинутые от жары головы и худые ноги, торчащие из-под грязных платьев. Я вспоминал эпизод из новостей, где был показан одинокий труп, который кто-то положил к стене и прикрыл одеялом; и сцены с молодыми людьми без рубашек и в штанах мешком, идущими по мутной воде, руки их были заполнены всем, что только удалось ухватить в ближайших магазинах, а во взгляде горел огонь хаоса.

Меня не было в стране, когда ураган «Катрина» ударил по северной части побережья Мексиканского залива, я в это время возвращался из России. Но через неделю после трагедии я приехал в Хьюстон и был вместе с Биллом и Хиллари Клинтон, а также вместе с Джорджем Бушем и его женой Барбарой, когда они объявляли о сборе средств в пользу пострадавших от урагана и разговаривали с некоторыми из двадцати пяти тысяч эвакуированных, которые теперь были размещены в хьюстонском «Астродоуме» и соседнем Рилайент-центре.

В Хьюстоне совместно с Красным Крестом и Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям была проделана огромная работа по оборудованию объектов для размещения такого большого числа людей и по их обеспечению пищей, одеждой, кровом и медицинским обслуживанием. Но, когда мы проходили вдоль рядов коек, которые теперь стояли в Рилайент-центре, пожимали руки, играли с детьми, выслушивали рассказы людей, стало ясно, что многие из переживших ураган «Катрина» были обездолены задолго до того, как ударил ураган. Это были лица, какие можно встретить в трущобах любого американского города, лица черной нищеты — лица безработных или почти безработных, больных или тех, кто скоро станет больным, лица немощных и стариков. Молодая мать рассказывала о том, как передала своих детей в автобус, полный незнакомых. Старики тихо говорили о домах, которые они потеряли, и о том, что у них нет ни страховки, ни семьи, которая могла бы помочь. Группа молодых людей утверждала, что дамбы взорвали те, кто хочет избавить Новый Орлеан от черных. Одна высокая худая женщина, которая из-за того, что футболка с логотипом «Астрос» была на два размера больше, казалась истощенной, ухватила меня за плечо и притянула к себе.

— До урагана у нас ничего не было, — прошептала она, — а теперь у нас еще меньше.

В последующие дни я, вернувшись в Вашингтон, сел на телефон и попытался обеспечить поставки для оказания помощи и взносы. В Сенате на закрытом собрании Демократической партии я и мои коллеги обсуждали возможные законопроекты. Я выступил в воскресных утренних программах новостей и отверг предположения о том, что администрация действовала медленно из-за того, что пострадавшие от урагана «Катрина» были черными — «некомпетентность не различала цветов», — сказал я, но при этом утверждал, что недочеты администрации в планировании продемонстрировали степень ее отдаленности от насущных проблем городских трущоб и безразличия к ним. Однажды поздним вечером мы вместе с сенаторами-республиканцами присутствовали на совещании, которое было посвящено обсуждению федеральных мер и которое, по мнению администрации Буша, должно было быть секретным. Кабинет собрался почти в полном составе, был также председатель Объединенного комитета начальников штабов, и целый час министры Чертофф, Рамсфелд и другие, олицетворяя уверенность и не выказывая ни малейшего угрызения совести, перечисляли число эвакуированных, количество розданных военных пайков, число размещенных подразделений национальной гвардии. Несколько дней спустя, другим вечером, мы смотрели на то, как на жуткой залитой прожекторами площади президент Буш признает наличие пережитков расовой несправедливости, выявленных этой трагедией, и заявляет, что Новый Орлеан поднимется снова.

И вот теперь, сидя на похоронах Розы Паркс, когда прошло уже почти два месяца после урагана, после кризиса, когда американцы по всей стране чувствовали гнев и стыд, после речей, электронных писем, докладных, после закрытых совещаний фракций создавалось впечатление, что так ничего и не сделано. Машины остались перевернутыми. До сих пор еще обнаруживают тела. С северной части побережья Мексиканского залива доходят слухи, что крупные подрядчики добиваются контрактов на сотни миллионов долларов, обходят законы о минимальной оплате труда и компенсационной дискриминации, нанимая для снижения затрат нелегальных иммигрантов. Ощущение того, что нация подошла к моменту преобразований, что сознание ее разбужено от долгой спячки и она начнет новую войну с нищетой, улетучилось быстро.

А мы сидели в церкви, восхваляли Розу Паркс и вспоминали о прошлых победах, погруженные в ностальгию. Уже готовится решение поставить под сводом Капитолия статую миссис Паркс, выпустить памятную марку с ее портретом, и бесчисленные улицы, школы и библиотеки по всей Америке, без сомнения, будут носить ее имя. Я подумал, а как Роза Паркс ко всему этому отнесется — смогут ли марки и статуи вызвать ее дух, или же, чтобы почтить ее память, нужно что-то большее.

Я вспоминал о том, что прошептала мне та женщина в Хьюстоне, и думал, как о нас могли судить в те дни после прорыва плотины.

Когда я впервые встречаюсь с людьми, они цитируют мне строку из моего выступления на национальном съезде Демократической партии, которая явно затронула чувствительную струнку: «Нет черной Америки, нет белой Америки, нет латиноамериканской Америки, нет азиатской Америки — есть Соединенные Штаты Америки». В их сознании это высказывание вызывает картину Америки, освободившейся от прошлого, где были расовая дискриминация и рабство, лагерь для интернированных японцев и ввоз рабочей силы из Мексики, напряженность на рабочих местах и конфликт культур, — Америки, в которой, по словам доктора Кинга, о нас будут судить не по цвету кожи, а по свойствам нашей личности.

В некотором смысле у меня нет выбора, и мне приходится верить в этот образ Америки. Так как я — ребенок черного мужчины и белой женщины, я тот, кто родился на Гавайях, в плавильном котле рас, тот, чья сестра наполовину индонезийка, но которую обычно принимают за мексиканку или пуэрториканку, мои зять с племянницей китайского происхождения; одни мои кровные родственники похожи на Маргарет Тэтчер, а другие могли бы сойти за Берни Мака, так что встреча семьи в Рождество напоминает собрание Генеральной Ассамблеи ООН.

Более того, я убежден, что одним из исключительных отличий Америки всегда была ее способность принимать вновь приехавших, сплавлять нацию из самых разных людей, прибывших к нашим берегам. В этом нам помогала Конституция, которая, несмотря на запятнанность первородным грехом рабства, в самом своем сердце имела идею равенства всех граждан перед законом, и экономическая система, которая вновь прибывшим независимо от титула или звания давала больше возможностей, чем другие системы. Конечно, расизм и нейтивистские настроения то и дело подмывали эти идеалы; имеющие силу и привилегии для достижения своих целей всегда использовали предрассудки и их подстрекали. Но в руках реформаторов, от Табман и Дугласа до

Чавеса и Кинга, эти идеалы равенства постепенно сформировали наше понимание себя и позволили нам создать нацию многих культур, подобной которой нет во всем мире.

В своих выступлениях я неоднократно затрагивал демографическую реальность будущего Америки. В Техасе, Калифорнии, Нью-Мексико, федеральном округе Колумбия и на Гавайях уже преобладают меньшинства. В других двенадцати штатах население больше чем на треть состоит из латиноамериканцев, черных и азиатов. Латиноамериканцев насчитывается сейчас сорок два миллиона, и они являются наиболее быстро увеличивающейся демографической группой, на которую приходится почти половина прироста населения страны между 2004 и 2005 годами; численность американцев азиатского происхождения хотя и намного меньше, но тоже начала резко расти, и ожидается, что за сорок пять лет она увеличится более чем на двести процентов. Согласно прогнозам специалистов, вскоре после 2050 года Америка уже не будет страной белого большинства — с последствиями для нашей экономики, политики и культуры, предвидеть которые до конца мы не можем.

И все же каждый раз, когда я слышу, как комментаторы толкуют мою речь так, что мы якобы достигли «пострасовой политики» или что мы живем в уже не различающем цвета обществе, я вынужден не согласиться. Когда говорится, что мы один народ, не предполагается, что раса больше не имеет значения, что битва за равенство окончилась победой или что в проблемах, с которыми сталкиваются сегодня в стране меньшинства, виноваты в основном они сами. Мы знаем статистику: почти по всем социально-экономическим показателям, от детской смертности и продолжительности жизни до занятости и владения жилищем, черные и латиноамериканцы, продолжают сильно отставать от белых. В советах директоров корпораций по всей стране меньшинства почти совсем не представлены; в Сенате Соединенных Штатов только три латиноамериканца и два азиата (оба с Гавайев), и сейчас, когда я пишу, я там единственный афроамериканец. Предполагать, что наше отношение к расе не играет роли в этой диспропорции, — значит закрывать глаза и на нашу историю, и на наш опыт и освобождать себя от обязанности исправить это положение.

Более того, хотя мое воспитание едва ли можно считать типичным для афроамериканца и хотя, в основном благодаря случаю и обстоятельствам, я занимаю сейчас положение, защищающее меня от обычных шишек и синяков, с которыми средний черный должен мириться, я могу представить длинный и скучный перечень мелких оскорблений, которые за сорок пять лет мне довелось испытать: в супермаркете за мной следили охранники, белые пары кидали мне ключи, когда я ждал перед рестораном «пажа», полицейские останавливали мою машину без всякой видимой причины. Я знаю, каково это, когда тебе говорят, что ты не можешь что-то делать из-за цвета твоей кожи, и я знаю горечь сдерживаемого гнева. И я также знаю, что я и Мишель должны постоянно следить за тем, чтобы наши дочери не впитали каких-нибудь строк — из телепрограмм, песен, от друзей или на улице — о том, кем считает их мир и кем он ожидает их видеть.

Если хочешь ясно думать о расе, надо видеть мир на разделенном экране — чтобы иметь перед глазами такую Америку, какую мы хотим, и одновременно внимательно рассматривать ту Америку, которая есть, признавая грехи нашего прошлого и осознавая задачи настоящего, не впадая в цинизм или отчаяние. Я за свою жизнь стал свидетелем глубоких изменений в расовых отношениях. Я почувствовал это так же ясно, как люди чувствуют изменения температуры. Когда я слышу, как кто-нибудь из черных отрицает эти изменения, я думаю, что это не только унижает тех, кто боролся во имя нас, но и лишает нас способности завершить начатое ими дело. Но как бы я ни настаивал на том, что ситуация улучшается, я также помню и о том, что лучше еще не значит достаточно хорошо.

Моя кампания по выборам в Сенат США свидетельствует о некоторых изменениях, которые произошли за последние двадцать пять лет и в белом, и в черном обществе Иллинойса. До этого черные в Иллинойсе уже избирались на должности уровня штата, включая контролера штата и главного прокурора штата Роланда Берриса, сенатора США Кэрол Мозли Браун и действующего государственного секретаря штата Джесса Уайта, который всего два года тому назад набирал больше всех голосов в штате. Благодаря тому что эти государственные чиновники уже проложили путь, моя кампания не была чем-то новым — я мог и не победить, но моя расовая принадлежность больше не исключала возможность победы.

Более того, в конце концов на мою сторону склонялись нетипичные фигуры. В тот день, когда я объявил, что выставляю свою кандидатуру на пост сенатора США. например, меня явились поддержать трое из моих белых коллег — сенаторов штата. Они не относились к тем, кого мы в Чикаго называем «либералами побережья», — к тем демократам, что разъезжают на «вольво», похлебывают кофе-латте и пьют белое вино, над которыми любят посмеиваться республиканцы и которые могут поставить на заведомо проигрышное дело, то есть на меня например. Нет, это были три парня среднего возраста из рабочего класса: Терри Линк из округа Лейк, Денни Джейкобз из «Куод-ситиз» и Ларри Уолш из округа Уилл, — все они представляли в основном белые рабочие районы за пределами Чикаго.

Помогло то, что они хорошо меня знали; мы вчетвером семь лет служили в Спрингфилде и каждую неделю собирались поиграть в покер. Помогло и то, что каждый из них гордился своей независимостью и поэтому был готов держаться меня, несмотря на давление со стороны пользующихся более сильной поддержкой белых кандидатов.

Но они решили поддержать меня не только из-за наших личных отношений (хотя уже сила моей дружбы с этими людьми, каждый из которых вырос в тех районах и в то время, когда враждебное отношение к черным едва ли были редкостью, кое-что говорит об эволюции в расовых отношениях). Сенаторы Линк, Джейкобз и Уолш — реалистичные, опытные политики; у них нет интереса поддерживать обреченных на проигрыш или рисковать собственным положением. Дело было в том, что все они решили: в их районах я «буду продаваться» — когда их избиратели меня узнают и освоятся с именем.

Такое решение они приняли не наобум. Они в течение семи лет видели, как я взаимодействую с их избирателями, в Капитолии штата или во время посещения их участков. Они видели, как белые матери дают мне своих детей, чтобы сфотографироваться, и видели, как белые ветераны Второй мировой войны пожимают мне руку после моего выступления на их собрании. Они чувствовали, что из жизненного опыта я понял: какие бы

предвзятые мнения ни оставались у американцев, подавляющее большинство в наши дни способны, если дать им время, отвлечься от расы, оценивая человека.

Это не значит, что предрассудки исчезли. Никто из нас, черных, белых, латиноамериканцев или азиатов, не застрахован от стереотипов, которые продолжает внедрять наша культура, особенно от стереотипов о черной преступности, умственных способностях черных и их трудовой этике. Обычно членов каждой группы меньшинств продолжают оценивать в основном по степени ассимиляции — насколько речь, идеалы для подражания, одежда или манера поведения согласуются с доминирующей белой культурой, и чем меньшинство сильнее отходит от этих внешних ориентиров, тем сильнее его представитель подвержен негативному предвзятому мнению. И если усвоение антидискриминационных норм в течение последних трех десятилетий — не говоря уж просто об элементарных правилах приличия — не позволяет большинству белых сознательно действовать согласно этим стереотипам при ежедневном взаимодействии с людьми других рас, то нереалистично полагать, что эти стереотипы не оказывают совокупного воздействия, когда принимаются зачастую моментальные решения о том, кого взять на работу и кого повысить, кого арестовать и кому предъявить судебное обвинение, как вы отнесетесь к покупателю, только что вошедшему к вам в магазин, или к демографическому составу школы, куда ходят ваши дети.

Но я утверждаю, что в современной Америке такие предрассудки гораздо слабее, чем были раньше, и поэтому их и стали опровергать. Идущий по улице черный подросток может вызвать страх у белой пары, но, если он окажется школьным другом их сына, его могут пригласить на обед. Черному может быть трудно поздно вечером поймать такси, но если он хороший программист, «Майкрософт» без колебаний возьмет его на работу.

Я не могу доказать эти утверждения: исследования расовых отношений славятся своей ненадежностью. И да же если я прав, для многих меньшинств это плохое утешение. Да и тратить весь день на то, чтобы опровергать стереотипы, может стать утомительным занятием. То, что постоянно описывают меньшинства, особенно афроамериканцы, — это дополнительная нагрузка: чувство, что как группа мы не имеем на счету запаса деловой репутации, что как отдельные личности мы должны утверждать себя каждый день заново и что нам редко верят на слово и нам дан не слишком большой предел погрешности. Чтобы проложить путь в таком мире, черный ребенок должен преодолеть в себе излишнюю робость, когда в первый день в школе стоит на пороге класса, где учатся главным образом белые; латиноамериканка — неуверенность в себе, когда готовится к собеседованию в компании, в которой трудятся в основном белые.

И прежде всего надо прогонять искушение не прилагать усилий. Не многие меньшинства могут полностью изолировать себя от белого общества — во всяком случае, не так, чтобы белые могли избежать контактов с представителями других рас. Но меньшинства могут задвинуть шторы психологически, чтобы защитить себя, предположив худшее. «Зачем мне пытаться разубедить белых в их заблуждении относительно нас? — говорили мне некоторые черные. — Мы триста лет пытаемся, и ничего еще не вышло».

На что я отвечаю: другой вариант — это сдаться, сдаться тому, что было, а не тому, что может быть.

Я очень ценю то, как моя работа в Иллинойсе покончила с моим собственным предвзятым мнением относительно расовых отношений. Во время своей кампании по выборам в Сенат, например, я отправился со старшим сенатором от Иллинойса Диком Дурбином в поездку по тридцати девяти городам на юге Иллинойса. Одной из наших запланированных остановок был город Кейро на самой южной оконечности штата, там, где встречаются реки Миссисипи и Огайо, город, ставший знаменитым в конце шестидесятых и начале семидесятых как место одних из самых сильных расовых столкновений за пределами «Глубокого юга». Впервые Дик был в этом городе в тот период, когда молодым адвокатом работал на Пола Саймона, бывшего тогда губернатором штата, и был послан выяснить, что можно сделать для ослабления напряженности в этом городе. По пути в Кейро Дик вспоминал то посещение: как по прибытии его предупредили, чтобы он не пользовался телефоном в номере своего мотеля, так как телефонист на коммутаторе — член Совета белых граждан; как белые хозяева магазинов предпочитали закрыть свое дело, лишь бы не уступить требованиям бойкотирующих принять на работу черных; как чернокожие жители рассказывали ему о своих попытках провести расовую интеграцию школ, говорили о своих страхах и отчаянии, о судах Линча, самоубийствах в тюрьме, перестрелках и погромах.

К тому времени когда мы въезжали в Кейро, я уже не знал, чего ожидать. Несмотря на то что был полдень, город казался покинутым: несколько открытых магазинов на главной улице, несколько пожилых пар выходят из здания, похожего на поликлинику. Свернув за угол, мы оказались на большой стоянке, где собралась толпа человек в пятьсот. Четверть составляли черные, остальную часть — практически одни белые.

У всех были значки с надписью «Поддержим Обаму на выборах в Сеыат США».

Эд Смит, крупный радушный парень, выросший в Кейро и являвшийся на Среднем Западе региональным управляющим Межнационального союза разнорабочих Северной Америки, с радушной улыбкой подошел к нашему автобусу.

— Добро пожаловать, — сказал он, пожимая нам руки, когда мы вышли из автобуса. — Вы, надеюсь, хотите есть, у нас сейчас барбекю, и моя мать готовит.

Не знаю точно, что было на уме у белых в толпе в тот день. Большинство были моими ровесниками или старше и по крайней мере помнили, если не участвовали в них непосредственно, те мрачные события тридцатилетней давности. Несомненно, многие пришли сюда потому, что Эд Смит, один из наиболее влиятельных людей в районе, хотел, чтобы они пришли; другие пришли ради еды или просто посмотреть на приехавших в их город сенатора США и кандидата в сенаторы.

Но барбекю было превосходным, беседа оживленной, люди, похоже, были рады нас видеть. Где-то час мы ели, фотографировались и выслушивали то, что волнует людей. Мы обсудили, что можно сделать, чтобы возродить экономику региона и привлечь больше денег в школы; мы услышали о сыновьях и дочерях, отправляющихся в Ирак, и о том, что надо снести старую больницу, которая портит деловую часть города. Когда мы ушли, я чувствовал, что между мной и собравшимися людьми установились какие-то да взаимоотношения — ничего особенного, но достаточные, чтобы хотя бы частично ослабить наши предубеждения и укрепить наши

лучшие порывы. Другими словами, появился некоторый коэффициент доверия.

Конечно, такое доверие между расами часто непрочно. Оно может существовать до тех пор, пока меньшинства спокойны, пока они молча терпят несправедливость; и доверие это может быть взорвано показом кадров увольнения белых рабочих из-за компенсационной дискриминации или того, как полиция стреляет в безоружного черного юношу или в латиноамериканца.

Но я убежден, что такие моменты, которые мы пережили в Кейро, способны распространять волны: люди всех рас приносят их к себе в дом и в места молитвы; я также убежден в том, что эти моменты окрашивают их разговоры с детьми и сослуживцами и могут постепенно размыть ненависть и подозрительность, которые порождает изоляция.

Недавно я снова побывал на юге Иллинойса, ездил туда с одним из своих региональных помощников, белым молодым человеком по имени Роберт Стивен, после того, как целый день выступал там с речами. Стоял прекрасный весенний вечер, широкие воды и темные берега Миссисипи мерцали под полной луной. Воды напомнили мне о Кейро и других городках выше и ниже по течению, поселениях, которые возникали и приходили в упадок вместе с движением барж, я вспомнил о зачастую грустных, тяжелых, жестоких событиях, которые произошли здесь, в месте слияния свободного и порабощенного мира Гекльберри и Джима.

В разговоре с Робертом я упомянул о наших успехах по сносу старой больницы в Кейро — наш офис начал вести переговоры с отделом здравоохранения штата и местными чиновниками — и рассказал ему о своем первом посещении этого города. Так как Роберт вырос в южной части штата, мы вскоре разговорились о расовых отношениях среди его друзей и соседей. Как раз на прошлой неделе, сказал он, несколько местных парней, обладающих некоторым влиянием, пригласили его в один небольшой клуб в Олтоне, всего в нескольких кварталах от дома, где он вырос. Роберт никогда не был в этом клубе, но клуб показался довольно приятным. Подали еду, началась светская беседа, как вдруг Роберт обратил внимание, что в зале среди примерно пятидесяти человек нет ни одного черного. Поскольку население Олтона приблизительно на четверть афроамериканское, Роберту показалось это странным, и он об этом спросил.

— Это частный клуб, — ответил ему один из их компании.

Вначале Роберт не понял — и что, ни один черный не пытался стать членом? После того как в ответ промолчали, он сказал:

— Сейчас ведь две тысячи шестой год. Пригласившие его пожали плечами.

— Всегда так было, — сказали они ему. — Черных не пускают.

Тогда Роберт бросил салфетку в тарелку, попрощался и ушел.

Полагаю, я мог бы долго сокрушаться по поводу тех людей в клубе, зафиксировать это как свидетельство того, что белые по-прежнему испытывают скрытую враждебность к тем, кто выглядит не так, как они. Но я не хочу приписывать такому проявлению расовой нетерпимости силу, которой у нее уже нет.

Я предпочел подумать о Роберте и о том малозаметном, но трудном жесте, который он сделал. Если такой молодой человек, как Роберт, может решиться пересечь поток привычки и страха, чтобы сделать то, что он считает правильным, то мне надо обязательно быть рядом, чтобы встретить его на другой стороне и помочь выбраться на берег.

Моему избранию помогло не только то, что у белых избирателей изменилось отношение к представителям других рас. Мое избрание отразило также перемены в черном обществе Иллинойса.

Часть этих перемен заметна в том, какую помощь получила моя кампания на начальном этапе. Из пятисот тысяч долларов, которые я собрал во время предварительных выборов, примерно половина поступила от «черных» фирм и черных специалистов. В чикагском эфире первой стала говорить о моей кампании принадлежащая черным радиостанция «WVON», а на обложке первым поместил меня принадлежащий черным еженедельный журнал «Н'Диго». И когда мне на каком-то этапе кампании понадобился реактивный самолет, его предоставил черный друг.

Еще поколение назад такой возможности не существовало. И хотя черные деловые круги в Чикаго всегда были одними из самых активных в стране, в шестидесятые и семидесятые только горстка самостоятельно сделавших себя людей — Джон Джонсон, основатель «Эбо-ни энд джет»; Джордж Джонсон, основатель «Джонсон продакс»; Эд Гарднер, основатель «Софт шин»; и Эл Джонсон, первый черный в стране, получивший лицензию «Дженерал моторе», — могла считаться богатой по меркам белой Америки.

Сегодня город не только заполнен черными докторами, зубными врачами, юристами, экономистами и другими специалистами, но черные занимают некоторые из самых высоких постов в управлении чикагских корпораций. Черные владеют сетями ресторанов, инвестиционными банками, агентствами недвижимости, инвестиционными трастами недвижимости и строительными фирмами. Они могут позволить себе жить в том районе, в каком захотят, и отправлять детей в лучшие частные школы. Их активно привлекают в различные комиссии и приглашают щедро поддержать всевозможные благотворительные мероприятия.

Согласно статистике число афроамериканцев, по своим доходам занимающих верхние двадцать процентов шкалы, относительно мало. Более того, каждый черный специалист или бизнесмен в Чикаго может рассказать вам истории о препятствиях, с которыми они по-прежнему сталкиваются из-за расовой принадлежности. Очень немногие предприниматели-афроамериканцы унаследовали состояние или имеют «ангелов-инвесторов», которые помогают начать дело либо подстраховывают в случае экономического спада. Мало кто сомневается в том, что, если бы они были белыми, они продвинулись бы дальше на пути к своей цели.

И все же вы не услышите, чтобы эти мужчины и женщины использовали свою расовую принадлежность как костыль или оправдывали свои неудачи дискриминацией. Характеризует новое поколение черных бизнесменов то, что они отвергают понятие предела своих достижений. Когда один мой знакомый, который был ведущим продавцом облигаций в чикагском представительстве банка «Мерилл Линч», решил создать собственный инвестиционный банк, он не ставил перед собой цели дорасти до крупнейшей «черной» фирмы — он хотел стать крупнейшей фирмой, и точка. Когда другой знакомый решил оставить руководящую должность в «Дженерал моторе»

и организовать свою компанию по обслуживанию стоянок в партнерстве с «Хайатт», его мать решила, что он сошел с ума. «Она не могла себе представить ничего лучше, чем руководящая должность в „Дженерал моторе", — рассказывал он мне, — так как для ее поколения эти должности были недоступны. Но я хотел создать что-то свое».

Это простое суждение — что мечтаниям человека нет предела — является настолько важной для нашего понимания Америки, что кажется избитой фразой. Но для черной Америки эта идея означает радикальный разрыв с прошлым, избавление от психологических кандалов рабства и дискриминации. Должно быть, это самое важное наследие движения в защиту гражданских прав, подарок от таких лидеров, как Джон Льюис и Роза Парке, которые участвовали в маршах, митингах, терпели угрозы, аресты и избиения ради того, чтобы открыть шире врата свободы. И также это завет тому поколению афроамерикан-ских матерей и отцов, чей героизм был не так заметен, но не менее важен: родителям, которые всю жизнь трудились на работах, не соответствовавших их уровню, без жалоб, экономя и копя деньги, чтобы купить небольшой дом; родителям, которые многим жертвовали, чтобы их дети могли посещать уроки танцев или отправиться на организуемую школой экскурсию; родителям, которые судили игры малой лиги, пекли на дни рождения торты и надоедали учителям просьбами проследить, чтобы их детей не перевели в поток с меньшими требованиями; родителям, которые каждое воскресенье тащили своих детей в церковь, шлепали их по попкам, когда они плохо себя вели, и следили за всеми детьми микрорайона долгими летними днями до самой ночи; родителям, которые подталкивали своих детей к достижениям и поддерживали их любовью.

Как раз благодаря этому типично американскому стремлению наверх черный средний класс за одно поколение вырос в четыре раза, а уровень нищеты среди черных сократился вдвое. Благодаря такому же тяжелому труду и преданности семье латиноамериканцы добились сравнимых результатов: с 1979 по 1999 год число латиноамериканских семей, причисляемых к среднему классу, возросло более чем на семьдесят процентов. Надежды и ожидания этих черных и латиноамериканских рабочих по большей части неотличимы от надежд и ожиданий белых рабочих. Это люди, благодаря которым наша экономика движется, а демократия процветает, — учителя, механики, медсестры, компьютерщики, рабочие конвейеров, водители автобусов, работники почты, менеджеры магазинов, водопроводчики, ремонтники — составляют жизненно необходимое нутро Америки.

И все же, несмотря на прогресс последних четырех десятилетий, упорно сохраняется разрыв между уровнем жизни черных, латиноамериканцев и белых рабочих. Средняя заработная плата черного составляет примерно семьдесят пять процентов от средней заработной платы белого; средняя заработная плата латиноамериканца составляет семьдесят один процент от средней заработной платы белого. При увольнении с работы или возникновении непредвиденных обстоятельств у черных и латиноамериканцев оказывается меньше сбережений и у родителей меньше возможностей протянуть руку помощи. Даже черные и латиноамериканцы из среднего класса больше платят за страховку, вероятность того, что у них есть собственный дом, меньше, и здоровье их хуже, чем у американцев в целом. И хотя американская мечта осуществилась для многих из меньшинств, осознают это они еще слабо.

Как мы ликвидируем этот разрыв и какую роль в этом должно сыграть правительство, остается в американской политике одним их центральных предметов спора. Но должны быть стратегические планы, с которыми все мы можем согласиться. Мы можем начать с незавершенного дела движения в защиту гражданских прав, а именно можем усилить законы по борьбе с дискриминацией в таких базовых сферах, как трудовая занятость, жилье и образование. Те, кто считает, что в таком усилении больше нет необходимости, пусть посетят одну из офисных стоянок в пригороде и сосчитают количество занятых на ней черных, даже на работах, не требующих большой квалификации, или остановятся у местного здания профсоюза и поинтересуются, сколько черных задействовано в учебных программах, или прочтут результаты недавних исследований, которые показывают, что брокеры по операциям с недвижимостью по-прежнему продолжают отваживать потенциальных черных покупателей при продаже недвижимости в преимущественно белых районах. Если только вы не живете в штате, где черных не очень много, я думаю, вы согласитесь, что что-то не так.

При недавней республиканской администрации усиление антидискриминационных законов в лучшем случае было вялым, а при нынешней администрации почти совсем не проводится — если только не причислить страстное желание Отдела по гражданским правам Министерства юстиции назвать университетские стипендии, предназначенные для студентов — представителей меньшинств, «дискриминацией наоборот» независимо от того, насколько студенты — представители меньшинств могут быть не-допредставлены в конкретном заведении или области, и независимо от того, какое побочное влияние эти программы могут оказывать на белых студентов.

Это должно быть причиной беспокойства для всего политического спектра, даже для тех, кто выступает против компенсационной дискриминации. Программы компенсационной дискриминации, если они правильно разработаны, могут предоставить меньшинствам, удовлетворяющим определенным требованиям, возможности, которые иначе для них закрыты, без того, чтобы уменьшать возможности белых студентов. Принимая во внимание недостаток кандидатов наук из черных и латиноамериканцев в математике и естественных науках, например, скромная программа по предоставлению стипендий для меньшинств, заинтересованных в получении ученых степеней в этих областях (недавний предмет изучения Министерства юстиции), не отвратит белых студентов от этих программ, но может расширить базу талантов, которые понадобятся Америке для нашего всеобщего процветания. Более того, как юрист, работавший с делами, касающимися гражданских прав, я могу сказать, что там, где есть веские доказательства того, что имела место длительная и систематическая дискриминация крупными корпорациями, профсоюзами или отделами муниципалитетов, единственным действенным средством является установление целевого показателя и графика приема на работу представителей меньшинств.

Многие американцы в этом со мной принципиально не согласны, говоря, что наши институты не должны принимать в расчет расовую принадлежность, даже ради помощи жертвам прошлой дискриминации. Довольно справедливо — я понимаю их аргументы и не ожидаю, чтобы спор разрешился в ближайшее время. Но это не

должно останавливать хотя бы попыток сделать так, чтобы в ситуации, когда два человека с одинаковой квалификацией: один — представитель меньшинства, а другой — белый, — претендуют на одну и ту же работу, дом или заем и предпочтение постоянно отдается белому, правительство через своих обвинителей и суд вступилось и исправило положение.

Следует также согласиться с тем, что ответственность по ликвидации разрыва не может лежать только на правительстве, меньшинства тоже несут за это ответственность. Многие из социальных и культурных факторов, которые негативно влияют, например, на черных людей, в утрированной форме отражают проблемы Америки в целом: слишком много телевизора (в средней черной семье телевизор включен более одиннадцати часов в день), слишком большое потребление ядов (черные курят больше и больше едят «быстрой еды») и недостаточное внимание к образованию.

Имеет место разрушение черной семьи, явление, темп которого вызывает тревогу в сравнении с остальной частью американского общества; то, что раньше было количественным отличием, стало отличием качественным, и это отражает несерьезное отношение черных мужчин к семейным узам и к воспитанию детей, в результате чего страдают черные дети — и чему просто нет оправдания.

Все вместе эти факторы мешают прогрессу. Более того, хотя правительство своими действиями может помочь изменить привычки (размещение в черных районах сетей супермаркетов со свежими продуктами, если брать только один пример, очень много сделает для изменения привычки питания), перемены в психологической позиции должны начаться дома, в микрорайонах, в местах молитвы. Местные институты, в частности «черная» церковь, должны помочь семьям снова оживить в молодых людях уважение к успехам в образовании, побуждать к здоровому образу жизни и воскресить традиционные социальные нормы, радость обязанностей отцовства.

Но в конечном счете самый важный инструмент для ликвидации разрыва между меньшинствами и белыми рабочими может вообще иметь мало отношения к расе. В наши дни то, что беспокоит черного и латиноамериканского рабочего и средний класс меньшинств, не слишком отличается от того, что беспокоит белого рабочего и средний класс белых: сокращение штатов, аутсорсинг, автоматизация, остановка в росте заработной платы, разрушение системы медицинского и пенсионного страхования за счет работодателя и школы, которые не могут дать молодежи таких навыков, чтобы молодые люди имели возможность конкурировать в условиях глобализации экономики. (Черные в особенности оказались уязвимы перед этими тенденциями, так как больше полагаются на «синеворотничковые» работы в промышленности и, скорее всего, не живут в тех районах, где создаются новые рабочие места.) И рабочим — представителям меньшинств поможет то же, что и белым рабочим: возможность получать обеспечивающую прожиточный минимум зарплату, образование и подготовка, которая дает возможность на такую работу, трудовое и налоговое законодательство, которое восстановит баланс в распределении национального богатства и систем здравоохранения, социальной защиты детей и пенсионного обеспечения, на которые могут положиться работающие люди.

Такая структура — прилив, поднимающий лодки меньшинств, — определенно действовала и в прошлом. Прогресс, достигнутый прошлыми поколениями латиноамериканцев и афроамериканцев, произошел в первую очередь благодаря тому, что те же лестницы возможностей, которые создали белый средний класс, стали впервые доступны и меньшинствам. Как и все люди, они выиграли от растущей экономики и правительства, заинтересованного инвестировать в свой народ. Оживленный рынок труда, доступ к капиталу и такие программы, как гранты Пелла и займы Перкинса, были полезны не только непосредственно черным; рост доходов п ощущение уверенности в завтрашнем дне среди белых ослабили сопротивление белых против требований равенства.

Тот же рецепт остается действенен и сегодня. Не далее как в 1999 году уровень безработицы среди черных упал до рекордно низкой отметки, а доход черных поднялся до рекордных высот не из-за всплеска приема на работу благодаря компенсирующей дискриминации или резкому изменению в трудовой этике черных, а благодаря тому, что экономика переживала бурный рост и правительство предприняло ряд скромных мер, таких как расширение налоговых льгот, предоставляемых получателям заработной платы. Если хотите узнать секрет популярности Билла Клинтона среди афроамериканцев, то достаточно взглянуть на эти статистические данные.

Но эти же самые статистические данные должны заставить тех из нас, кто интересуется расовым равноправием, честно проанализировать цену и пользу наших текущих стратегий. Даже если мы продолжим защищать компенсационную дискриминацию как полезное, хоть и ограниченное орудие для предоставления возможностей меньшинствам, нам следует тратить больше политического капитала на то, чтобы убедить Америку сделать инвестиции в обеспечение того, чтобы все дети успевали в школе и получили среднее образование, цель, которая, если будет достигнута, больше, чем компенсационная дискриминация, поможет тем черным и латиноамериканским детям, которые в этом нуждаются. Аналогичным образом нам следует поддержать целевые программы по ликвидации существующей диспропорции в уровне состояния здоровья между меньшинствами и белыми (некоторые данные говорят о том, что, даже когда доход и уровень страховки вынесены за скобки, меньшинства могут получать худшее обслуживание), но план всеобщего здравоохранения сделает больше для ликвидации диспропорции в уровне состояния здоровья между белыми и меньшинствами, чем любая созданная нами по расовому признаку программа.

Упор на всеобщее, в противоположность ограниченному по расовому признаку, — это не просто хорошая линия поведения, это хорошая политика. Я помню, как мы с одним из коллег-демократов сидели в Сенате штата Иллинойс и слушали другого коллегу-сенатора — афро-американца, которого назову Джоном Доу и который представлял район бедных кварталов центральной части города. Доу начал долгое разглагольствование о том, почему ликвидация некой программы является оголтелым расизмом. Через несколько минут белый сенатор (один из наиболее либеральных) повернулся ко мне и сказал: «Знаешь, какая проблема с Джоном? Каждый раз, когда его слушаю, он заставляет меня чувствовать себя более белым».

В защиту своего черного коллеги я заметил, что не всегда легко черному политику выбрать верный тон — слишком гневный? недостаточно гневный? — при обсуждении неимоверных трудностей, с которыми сталкиваются его избиратели. Но все же замечание моего белого коллеги было поучительным. Так или иначе, в Америке

белая вина уже почти исчерпала себя; даже самые непредубежденные из белых, те, кто искренне желает ликвидации расового неравенства и уменьшения нищеты, обычно отвергают идеи о расовом преследовании или о расово ограниченных требованиях на основании расовой дискриминации, имевшей место в прошлом.

Частично это связано с успехом консерваторов в раздувании политики негодования — за счет преувеличения, например, отрицательного влияния на белых рабочих компенсационной дискриминации. Но в основном дело в простом корыстном интересе. Большинство белых американцев заявляют, что сами не участвовали в дискриминации и у них полно своих забот. И также они знают, что, когда национальный долг приближается к девяти триллионам долларов, а ежегодный дефицит составляет почти триста миллиардов долларов, у страны очень мало ресурсов, чтобы помочь им в решении их проблем.

В результате предложения, идущие на пользу только меньшинствам, разделяют американцев на «нас» и «их» и, при любых сиюминутных выгодах, не могут служить основой для прочных, имеющих обширную базу политических коалиций, которые необходимы для того, чтобы изменить Америку. С другой стороны, обращения ко всем, построенные вокруг стратегий, которые помогут всем американцам (школы, которые учат, работа, которая приносит деньги, медицинская помощь для тех, кто в ней нуждается, правительство, которое помогает после наводнения), вместе с мерами, обеспечивающими применение законов ко всем одинаково, тем самым поддерживают разделяемые широкими слоями американские идеалы (такие как усиление существующего законодательства, обеспечивающего гражданские права) и могут служить основой для таких коалиций, даже если подобные стратегии непропорционально много помогают меньшинствам.

Сместить упор нелегко: старые привычки живучи, и всегда есть опасение у многих представителей меньшинств, что если расовая дискриминация, прошлая и настоящая, не останется на переднем плане, то белая Америка сорвется с цепи и все, что было с трудом завоевано, будет потеряно. Я понимаю эти опасения — нигде не сказано, что история движется по прямой, и во времена экономических трудностей может случиться так, что требования расового равенства будут отодвинуты в сторону.

Все же, когда я смотрю на то, что пришлось преодолеть прошлым поколениям меньшинств, я чувствую оптимизм по поводу способности нашего поколения продолжить продвижение в общем экономическом потоке. И пусть большую часть нашей недавней истории ступени на лестнице возможностей были более скользки для черных, сочетания экономического роста, инвестиций правительства в программы по обеспечению социального продвижения и приверженности простым принципам недискриминации было достаточно, чтобы в течение одного поколения втянуть подавляющее большинство черных и латиноамериканцев в основной социально-экономический поток.

Нам следует напоминать себе об этих достижениях. Примечательно не число меньшинств, которые не смогли пробиться в средний класс, а число тех, кому это удалось, несмотря на все трудности; цветные родители передали своим детям не злобу и обиду, а ту степень, до которой эти эмоции ослабли. Знание этого дает нам фундамент, на котором мы можем строить дальше. Это указывает нам, что можно достичь еще большего прогресса.

Если всеобщие стратегии, направленные на преодоление проблем, стоящих перед всеми жителями США, могут многое сделать для ликвидации разрыва между черными, латиноамериканцами и белыми, есть два аспекта расовых отношений в Америке, которые требуют особого внимания, — вопросы, раздувающие пламя расового конфликта и подмывающие тот прогресс, который был уже достигнут. В отношении афроамериканцев это ухудшение условий жизни городских бедняков. В отношении латиноамериканцев это проблема рабочих, находящихся на территории страны без необходимых для этого документов, и политические страсти, бушующие вокруг вопроса иммиграции.

Один из моих любимых ресторанов в Чикаго — это заведение с названием «Макартурз». Он находится в стороне от делового центра, на западе Уэстсайда, на Мэдисон-стрит, простое, ярко освещенное заведение с кабинками из светлого дерева, в котором может поместиться, наверное, человек сто. В любой день недели можно обнаружить, что столько же людей стоят в очереди — семьи, подростки, группы степенных женщин и пожилые мужчины, — стоят и ждут, как в кафетерии, тарелок с жареным цыпленком, зубаткой, жаркое с горохом и рисом, листовой капустой, мясным рулетом, хлебом из кукурузы и другими традиционными негритянскими блюдами. И, как скажут вам эти люди, ждать действительно стоит.

Владелец ресторана Мак Александер — крупный, с широкой грудью мужчина за пятьдесят, с редеющими седыми волосами, усами и немного косящим взглядом сквозь очки, что придает ему задумчивый, профессорский вид. Он армейский ветеран, родился в Лексингтоне, штат Миссисипи, во Вьетнаме потерял левую ногу; после выздоровления он с женой переехал в Чикаго, где прошел занятия на курсах предпринимательства, работал на складе. В 1972 году он открыл магазин «Мак ре-кордз» и помог основать Ассоциацию развития деловой среды Уэстсайда, дав обещание привести в порядок то, что он называет своим «уголком мира».

По всем меркам ему сопутствовал успех. Его магазин пластинок рос; он открыл ресторан и нанял для работы в нем местных жителей; он начал скупать и ремонтировать ^ветхие здания и сдавать их. И это благодаря усилиям таких людей, как Мак, вид Мэдисон-стрит не такой мрачный, как можно подумать, зная репутацию Уэстсайда. Па Мэдисон-стрит расположены магазины одежды и аптеки и что-то похожее на церковь в каждом квартале. Свернув *с* главной улицы, вы увидите те же одноэтажные домики—с аккуратно подстриженными газонами и ухоженными клумбами, — которые встретишь во многих районах Чикаго.

Но стоит проехать еще несколько кварталов в любом направлении, и вы увидите другую сторону мира Мака: на углах подозрительно косятся группы молодых парней; вой сирен сливается с периодически раздающимся грохотом включенных на полную мощность автомобильных стереоколонок; мрачные заколоченные здания и наспех намалеванные эмблемы банд; всюду мусор, разносимый зимним ветром. Недавно полицейское управление Чикаго установило постоянные камеры наблюдения и мигалки на фонарных столбах на Мэдисон-стрит, залив каждый квартал непрерывным синим сиянием. Те, кто живет на этой улице, не стали жаловаться; синие мигалки — зрелище довольно привычное. Они всего лишь еще одно напоминание о том, что и

так все знают, — что иммунная система района почти совсем сломлена, ослаблена наркотиками, перестрелками и отчаянием; что, несмотря на усилия таких людей, как Мак, вирус распространился и народ чахнет.

— Преступность в Уэстсайде — это не новость, — сказал мне Мак однажды вечером, когда мы шли посмотреть одно из его зданий. — Я хочу сказать, что тогда, в семидесятые, полиция даже и не думала всерьез заниматься черными районами. Если беспорядки не выплескивались в белые районы, они не волновались. На первый магазин, который я открыл, на пересечении Дамен-авеню и Лейк-стрит, у меня, наверное, было восемь налетов подряд. Сейчас полиция лучше реагирует, — сказал Мак. — Начальник полицейского отделения делает все, что может. Но он завален работой. Как и все. Видишь ли, детям здесь просто наплевать. Полиции они не боятся, тюрьмы не боятся — больше половины молодых людей уже состоит на учете в полиции. Если полиция заберет десять ребят, Которые стоят на углу, через час там уже будут стоять другие. То, что изменилось... это отношение этих детей. Нельзя их винить, так как у большинства из них дома ничего нет. Матери ничего сказать им не могут — многие из этих женщин сами дети. Отец в тюрьме. Нет никого рядом, чтобы направить этих детей, удержать их в школе, научить уважению. Так что эти мальчики просто воспитывают себя сами, по существу, на улице. Это все, что им известно. Банда — вот их семья. Они не видят тут никакой работы, кроме торговли наркотиками. Не пойми меня превратно, у нас все еще есть здесь много хороших семей... необязательно богатых, но старающихся удержать своих детей от беды. Но они значительно уступают в числе. Чем дольше они остаются, тем сильнее чувствуют, что дети их в опасности. Так что при первой же возможности они отсюда уезжают. И от этого здесь становится только хуже. — Мак покачал головой. — Не знаю. Я все думаю, что нам удастся все изменить. Но буду честен с тобой, Барак, трудно не думать иногда, что ситуация безнадежна. Трудно, и становится все труднее.

В эти дни я слышу много подобного в афроамери-канских районах, это откровенное признание, что ситуация в центральных районах выходит из-под контроля. Иногда разговор переходит к статистике — уровню детской смертности (среди бедных черных американцев такой же, как в Малайзии) или безработице среди черных мужчин (согласно данным, в некоторых районах Чикаго без работы более трети), числу черных мужчин, которые имеют вероятность в какой-то момент жизни столкнуться с системой уголовного правосудия (каждый третий по всей стране).

Но чаще разговор переходит к личным историям, которые звучат одновременно с грустью и скептицизмом "и свидетельствуют о фундаментальном разрушении нашего общества. Учительница расскажет о том, как, бывает, пятнадцатилетний ученик кричит ей оскорбления и угрожает физической расправой. Государственный защитник опишет страшное досье преступника или ту не принужденность, с какой его клиенты предсказывают, что не доживут до тридцати. Детский врач скажет о родителях-тинейджерах, которые не видят ничего плохого в том, чтобы давать своим детям картофельные чипсы, или которые признаются, что оставили своего пяти-шестилетнего ребенка дома одного.

Это рассказы тех, кто не выбрался за пределы установленных историей границ, из черных районов, где живут беднейшие из бедных, где сохраняются все шрамы рабства и насилие сегрегации, впитанная ярость и вынужденное невежество, стыд мужчин, которые не могут защитить своих женщин или содержать свои семьи, дети, которым с младых ногтей внушали, что из них ничего не выйдет, и у которых нет никого рядом, чтобы исправить положение.

Было время, конечно, когда такая глубокая переходящая из поколения в поколение нищета еще могла потрясти нацию, когда публикация книги Майкла Харринг-тона «Другая Америка» или посещение Робертом Кеннеди дельты Миссисипи могли вызвать возмущение и стать призывом к действию. Но не теперь. Сегодня изображения так называемых представителей низших слоев общества сделались постоянной принадлежностью американской массовой культуры — в кино и по телевидению, где их используют как излюбленный контраст для сил законности и правопорядка; в рэп-музыке и клипах, где расхваливается жизнь гангстера — и копируется как белыми, так и черными подростками (хотя белые по крайней мере знают, что для них это понарошку); и в вечерних новостях, где ограбление в центральном районе всегда обеспечивает успех выпуска. Вместо сочувствия наше знакомство с жизнью черных бедняков породило спазмы страха и откровенное презрение. Но по большей части это результат безразличия. Черные мужчины, заполняющие наши тюрьмы, черные дети, не умеющие читать или попавшие в бандитскую перестрелку, черные бездомные, спящие на водосточных решетках и в парках столицы нашего государства, — все это мы принимаем как само собой разумеющееся, как часть природы вещей, как положение, возможно, трагическое но не такое, за которое мы заслуживаем порицания, и уж конечно не такое, которое подлежит изменению.

Общее представление о черном низшем классе — отдельном, далеком, чуждом своим поведением и своими ценностями — также сыграло заметную роль в современной американской политике. Программа Джонсона «Война с бедностью» частично была начата ради того, чтобы отремонтировать черное гетто, и как раз из-за поражений в той войне, действительных и мнимых, консерваторы настроили большую часть страны против идеи «государства всеобщего благосостояния». В мозговых центрах консерваторов возникло утверждение не только о том, что культурные патологии, а не расизм или структурное неравенство, встроенное в нашу экономику, виноваты в нищете черных, но и о том, что такие правительственные программы, как социальное обеспечение, в сочетании с либеральными судьями, которые нянчатся с преступниками, на самом деле еще и усугубили эту патологию. На телевидении кадры невинных детей с вздувшимися животами сменились кадрами с черными погромщиками и грабителями; новости стали меньше уделять внимания черной горничной, старающейся свести концы с концами, и больше «королеве собеса», которая рожает детей, только чтобы получать пособия. Что необходимо, утверждали консерваторы, так это доза суровой дисциплины — больше полиции, больше тюрем, больше личной ответственности и конец социальному обеспечению. Если такие методы не преобразуют черное гетто, то по крайней мере будут его сдерживать и не дадут работающим налогоплательщикам тратить деньги впустую.

То, что консерваторам удалось завоевать общественное мнение белых, удивлять не должно. Их доводы ис-

пользовали различие между «достойным» и «недостойным» бедным, которое имеет долгую историю в Америке, довод, который зачастую имел расовый или этнический оттенок и становился более конкретен в те периоды — семидесятые и восьмидесятые годы, — когда экономическая ситуация была трудной. Ответ либеральных высокопоставленных политиков и борцов за гражданские права не помог; в своем упорном стремлении избежать обвинения жертв исторического расизма они старались умалять или игнорировать свидетельство того, что укоренившиеся модели поведения бедного черного населения на самом деле способствуют переходящей из поколения в поколение нищете. (Самый известный пример: Дэниел Патрик Мойнихан в начале шестидесятых был обвинен в расизме, когда поднял тревогу из-за увеличения количества внебрачных детей среди черной бедноты.) Эта готовность отвернуться от того, какую роль играли ценности в экономическом успехе какой-либо группы людей, подрывала доверие и настраивала белый рабочий класс против — особенно из-за того, что большинство либеральных высокопоставленных политиков проводили свою жизнь вдали от городских беспорядков.

Правда в том, что растущее недовольство состоянием трущоб едва ли охватывало только белых. В большинстве черных кварталов законопослушные трудолюбивые жители в течение многих лет требовали более активной защиты со стороны полиции, так как понимали, что подвергаются куда большей опасности стать жертвой преступления. Можно часто слышать, как в частных беседах — за столом на кухне, в парикмахерской и после церкви — черные сокрушаются по поводу разрушающейся трудовой этики, плохого родительского воспитания, падения половой морали с такой страстью, что Фонд наследия гордился бы.

В этом смысле мнение черных о причинах хронической нищеты намного более консервативно, чем хотела бы это признать «черная» политика. Вы не услышите, чтобы черные использовали такие обозначения, как «хищник», при описании молодого члена банды или «низшие слои общества» при описании матерей, получающих пособие, — слова, которые делят мир на тех, кто достоин нашего внимания, и тех, кто не достоин. Большинство черных, которые выросли в Чикаго, помнят коллективную историю миграции с Юга, как после прибытия на Север черные были загнаны в гетто рестриктивными условиями и действиями брокеров по операциям с недвижимостью и скопились в муниципальном жилом фонде, где школы не соответствуют нормам, парки недофинансируются, полицейская охрана отсутствует, а торговля наркотиками процветает. Они помнят, как хорошо оплачиваемые места придерживались для других групп иммигрантов, а «синеворотничковые» работы, на которые черные рассчитывали, улетучивались, так что прежде крепкие семьи затрещали под давлением и дети начали проваливаться в эти трещины, и, наконец, как настал переломный момент и то, что было грустным исключением, вдруг стало правилом. Они знают, что вынудило этого бездомного пить, так как он их дядя. А этот закоренелый преступник — они помнят его мальчиком, таким веселым и способным на любовь, так как он их двоюродный брат.

Другими словами, афроамериканцы понимают, что культура имеет значение и что эта культура формируется обстоятельствами. Мы знаем, что многие из жителей трущоб находятся в плену своей собственной саморазрушительной манеры поведения, мы знаем также, что эта манера поведения не врожденная. И благодаря этому знанию черные сохраняют убеждение в том, что если Америка найдет в себе волю, то обстоятельства для тех, кто находится в плену трущоб, могут быть изменены, индивидуальные отношения среди бедных трансформируются качественно и ущерб постепенно может быть восполнен, если не для этого поколения, то хотя бы для следующего.

Эта мудрость может помочь нам пройти дальше идеологических ссор и возобновить попытку решить проблему нищеты. Мы могли бы начать, вероятно, с признания того, что для снижения бедности прежде всего необходимо побудить девушек заканчивать школу и избегать заводить детей вне брака. В этом начинании школьные и местные общественные программы, которые уже зарекомендовали себя в снижении беременности подростков, должны быть расширены, но также и родители, духовенство и общественные лидеры должны более последовательно высказываться по этому вопросу.

Нам следует также признать, что консерваторы — и Билл Клинтон — были правы насчет социальной помощи в том виде, как она была организована ранее: отделив доход от работы и не требуя от получательницы пособия ничего, кроме терпимого отношения к навязчивой бюрократии и подтверждения того, что мужчина не проживает в одном доме с матерью его детей, старая программа помощи семьям с детьми-иждивенцами лишала людей инициативы и разрушала их самоуважение. Любая программа, направленная на снижение передающейся из поколения в поколение нищеты, должна сосредоточиваться на работе, а не на социальной помощи — не только потому, что работа дает независимость и доход, но и потому, что работа обеспечивает порядок, повышает достоинство и открывает возможности дальнейшего роста в жизни.

Но также надо согласиться и с тем, что одна только работа не обеспечит победы над нищетой. Реформа социальной помощи резко сократила по всей Америке число людей, получающих общественное пособие; увеличилось число работающих нищих, женщины то выходят на работу, то увольняются, обреченные трудиться на таких работах, которые не обеспечивают прожиточный минимум, вынужденные каждый день кое-как выискивать средства для подходящего дошкольного детского учреждения, недорогого жилья и доступной медицинской помощи, и все равно в конце каждого месяца им приходится решать, как растянуть последний доллар, чтобы оплатить счет за продукты, счет за газ и купить ребенку новую курточку.

Расширенная программа налоговых льгот, предоставляемых получателям заработной платы, помогает всем низкооплачиваемым работникам и может иметь очень большое значение в жизни этих женщин и их детей. Но если мы всерьез хотим разорвать круг передающейся из поколения в поколение нищеты, тогда многим из этих женщин необходимо оказать дополнительную помощь, дав такие основные вещи, которые те, кто живет за пределами трущоб, часто считают само собой разумеющимися. Им надо больше полиции и более действенной полицейской охраны их районов, для них и их детей надо обеспечить хотя бы что-то похожее на личную безопасность. Им необходим доступ к общественным центрам здравоохранения, которые делают упор на мерах предосторожности, где, кроме прочего, заботятся о сексуальном здоровье, дают диетологические консультации и в отдельных случаях лечат от злоупотребления алкоголем или наркотиками. Им необходима радикальная

реформа школ, которые посещают их дети, и доступные дошкольные детские учреждения, которые позволят им работать полный рабочий день или заняться образованием.

И во многих случаях им нужна помощь для того, чтобы научиться быть хорошими родителями. Когда дети трущоб дорастают до школы, они уже отстают — не могут сосчитать до десяти, назвать цвета радуги или буквы алфавита, не приучены сидеть спокойно или действовать в структурированной среде и зачастую имеют невыявленные проблемы со здоровьем. Они не подготовлены не потому, что нелюбимы, а потому, что их матери не знают, как дать им то, что необходимо. Хорошо разработанные правительственные программы — консультация беременных, регулярный доступ к педиатру, программы занятий для родителей и качественные программы обучения детей раннего возраста — уже доказали свою способность восполнить этот пробел.

И наконец, нам необходимо энергично заняться причинной зависимостью между безработицей и преступностью в трущобах. Принято считать, что большинство безработных мужчин из трущоб могли бы найти работу, если бы действительно хотели работать; что они лучше будут торговать наркотиками — рискуя жизнью, но имея шанс получить больше денег, — чем пойдут на низкооплачиваемую работу, которая соответствует их умению. Но на самом деле экономисты, изучавшие этот вопрос, и молодые люди, рискующие своей судьбой, скажут вам, что популярный миф не соответствует истине: на нижней и даже на средней ступени торговля наркотиками — это работа с минимальной зарплатой. Многим мужчинам из трущоб прибыльную работу не дает найти не просто отсутствие мотивации покинуть улицы, а то, что они нигде не работали, не имеют пользующихся спросом навыков, и все в большей степени несут пятно тюремного прошлого.

Спросите Мака, который дает молодым людям своего района второй шанс. Девяносто пять процентов его работников — бывшие уголовные преступники, включая одного из его лучших поваров, который за последние двадцать лет много раз был в тюрьме за различные преступления, связанные с наркотиками, и один раз за вооруженный разбой. Мак вначале платит им восемь долларов в час и потом доводит плату до пятнадцати. Желающие у него не переводятся. Мак первым признает, что у некоторых ребят, приходящих к нему, есть проблемы — они не умеют являться на работу вовремя, многие из них не привыкли подчиняться приказаниям старшего, так что текучесть бывает большой. Но, не принимая оправданий от нанятых им молодых людей («Я говорю им, что мне надо делать дело и, если они не хотят работать, у меня полно тех, кто хочет»), он видит, что многие быстро приспосабливаются. Со временем они привыкают к ритму обычной жизни: соблюдение графика, работа в команде, ответственность. Они начинают поговаривать о том, чтобы получить диплом об общем образовании, может быть, даже поступить в двухгодичный колледж. Они начинают стремиться к чему-то лучшему.

Было бы хорошо, будь там тысячи Маков и умей рынок сам по себе создавать возможности для нуждающихся в них людей из трущоб. Но большинство работодателей не хотят рисковать и брать бывших уголовников, а многим зачастую не позволяют. В Иллинойсе, например, бывшим уголовникам запрещено работать не только в школах, домах престарелых и больницах — ограничения, отражающие наше нежелание подвергать опасности наших детей и стареющих родителей, — но некоторым также запрещают работать парикмахерами, маникюрщиками и педикюрщиками.

Правительство могло бы дать благотворный импульс, совместно с частными подрядчиками нанимая и обучая бывших уголовных преступников для строительно-отделочных работ: теплоизоляция домов и офисов для экономии энергии, например, или прокладка оптоволоконного кабеля, чтобы перенести целые районы в эпоху интернета. Конечно, такие программы будут стоить денег — хотя если принять во внимание стоимость годичного содержания заключенного в тюрьме, любое падение уровня рецидивизма поможет программе самой себя окупить. Не все убежденные безработные предпочтут низкоквалифицированный труд жизни на улице, и никакая программа помощи бывшим уголовникам не исключит необходимости сажать в тюрьму преступников с глубоко укоренившейся привычкой к насилию.

Однако можно предположить, что при наличии легальной работы для молодых людей, занятых сейчас в торговле наркотиками, преступность во многих районах упадет; и что, как следствие, больше работодателей станут размещать предприятия в этих районах и пустит корни местная экономика; и что в течение десяти или пятнадцати лет нормы начнут меняться, молодежь увидит перед собой будущее, повысится процент браков, дети будут расти в более стабильной среде.

А сколько будет это стоить всем нам — Америка, в которой снизится уровень преступности, больше детей будут окружены заботой, города переродятся, а предвзятые мнения, страхи и раздоры, питаемые черной нищетой, постепенно исчезнут? Будет ли это стоить столько же, сколько мы потратили в прошлом году в Ираке? И не отказаться ли от требований отменить налог на наследство? Пользу таких перемен трудно переоценить.

Если проблемы нищеты, трущоб возникают из-за нашей неспособности признать зачастую трагическое прошлое, проблемы иммиграции разжигают страхи из-за неопределенности будущего. Демографический состав Америки изменяется неумолимо и стремительно, и требования новых иммигрантов не укладываются четко в черно-белую парадигму дискриминации, сопротивления, вины и встречного обвинения. Действительно, даже черные и белые иммигранты — из Ганы и с Украины, из Сомали и из Румынии — прибывают на эти берега неотягощенными расовой динамикой предыдущей эпохи.

Во время кампании по выборам в Сенат я видел лица этой новой Америки — на индийских рынках на Девон-авеню, в новой сияющей мечети юго-западного пригорода, на армянской свадьбе и на филиппинском балу, на встречах Корейско-американского совета и Ассоциации нигерийских инженеров. Куда бы я ни ходил, я встречал иммигрантов, которые цеплялись за любое жилье и работу, какую им удавалось найти: мыли посуду, водили такси или работали в химчистке своего родственника, копили деньги, организовывали бизнес и оживляли умирающие районы и наконец переезжали в пригороды и воспитывали детей, чей акцент выдавал не страну их родителей, а их чикагское свидетельство о рождении, подростков, которые слушали рэп и ходили за покупками в торговый центр и планировали стать докторами, юристами, инженерами и даже политиками.

По всей стране разыгрывается классическая иммигрантская история, история честолюбивых замыслов и

адаптации, тяжелого труда и образования, ассимиляции и движения вверх. Но сегодняшние иммигранты проходят эту историю на гиперскорости. Получая выгоду от того, что сейчас нация более терпимая и более светская, чем та, с какой сталкивались иммигранты предыдущего поколения, нация, которая стала уважать свой иммигрантский миф, они сделались более уверены в том, что их место здесь, более настойчивы в требовании своих прав. Как сенатор я получаю бесчисленные приглашения выступить перед этими новыми американцами, и меня часто спрашивают о моих взглядах на внешнюю политику — какова моя позиция, скажем, по Кипру или относительно будущего Тайваня. Их могут волновать вопросы, специфичные для их сферы деятельности, — аптекарь-американец индийского происхождения может жаловаться по поводу компенсации стоимости рецептурных лекарств по программе «Медикэр», кореец — владелец малого предприятия может лоббировать изменения в налоговом кодексе.

Но прежде всего они хотят подтверждения того, что они тоже американцы. После каждого появления перед иммигрантской аудиторией я могу рассчитывать на хорошую головомойку от членов моего штаба; по их мнению, мои высказывания всегда построены по трехчленной структуре: «Я ваш друг», «[Вставить название страны] является колыбелью цивилизации» и «Вы — воплощение американской мечты». Они правы, мои слова просты, так как я понял: уже само присутствие перед этими новоиспеченными американцами показывает, что они важны, что они — избиратели, необходимые для моей победы, и полноправные граждане, заслуживающие уважения.

Конечно, не все мои выступления перед иммигрантами следуют этой простой структуре. После 11 сентября, например, мои встречи с американцами арабского и пакистанского происхождения носили более серьезный характер, так как рассказы о задержаниях и допросах ФБР и пристальные взгляды соседей пошатнули их ощущение безопасности и того, что они не чужие. Они получили напоминание о том, что история иммиграции в этой стране имеет и неприятную, скрытую сторону; им необходимо особое подтверждение, что их статус гражданина действительно что-то значит, что Америка усвоила урок интернирования японцев во время Второй мировой войны и что я буду с ними, если вдруг политические ветры подуют в неблагоприятном направлении.

Но как раз на встречах с латиноамериканцами, в таких районах, как Пилзен и Литтл-Виллидж, в таких городах, как Сисеро и Орора, я вынужден задуматься над смыслом Америки, смыслом гражданства и своими зачастую противоречивыми чувствами по поводу всех происходящих изменений.

Конечно, латиноамериканцы в Иллинойсе — пуэрториканцы, колумбийцы, сальвадорцы, кубинцы и, прежде всего, мексиканцы — присутствуют уже многие поколения, с тех пор как сельскохозяйственные рабочие начали продвигаться на север и по всему региону присоединились к этническим группам, занятым на фабричных работах.

Как и другие иммигранты, они ассимилировались с местной культурой, но, как и в случае афроамериканцев, их движению наверх часто мешал расовый предрассудок. По этой причине, вероятно, черные и латиноамериканские политические лидеры и борцы за гражданские права часто ставили общие цели. В 1983 году поддержка латиноамериканцев оказалась решающей для победы на выборах первого черного мэра Чикаго Гарольда Вашингтона. За эту поддержку Вашингтон отплатил тем, что помог целому поколению молодых, прогрессивно настроенных латиноамериканцев пройти в городской совет и в Законодательное собрание штата Иллинойс. Действительно, пока их число наконец не оправдало создание собственной организации, члены Законодательного собрания из латиноамериканцев были официальными членами «черного совещания» штата Иллинойс.

Как раз на этом фоне, вскоре после того, как я прибыл в Чикаго, и сформировались мои связи с латиноамериканским сообществом. В молодости я часто работал с латиноамериканскими лидерами над различными проблемами, от не отвечающих требованиям школ и нелегальных свалок до не прошедших вакцинацию детей. Я интересовался не только политикой; я действительно полюбил пуэрториканские и мексиканские районы города — звуки сальсы и меренги, доносящиеся из квартир жаркой летней ночью, торжественность мессы в церквях, которые раньше наполняли поляки, итальянцы и ирландцы, оживленные, счастливые голоса во время игры в футбол, сдержанный юмор продавцов в бутербродной, пожилые женщины, которые хватают меня за руку и смеются над моими жалкими попытками говорить по-испански. В этих районах я приобрел друзей на всю жизнь и союзников; я считаю, что судьбы черных и смуглых должны быть навечно переплетены, должны стать краеугольным камнем коалиции, которая поможет Америке выполнить свое обещание.

Однако, когда я вернулся после юридического факультета, в Чикаго уже стала проявляться напряженность между черными и латиноамериканцами. Между 1990 и 2000 годами испаноязычное население Чикаго выросло на тридцать восемь процентов, так что латиноамериканское сообщество уже не хотело быть младшим партнером в коалиции черных и смуглых. После смерти Гарольда Вашингтона на сцену вышла новая когорта выборных лиц из латиноамериканцев, связанных с Ричардом М. Дейли и остатками старой политической машины Чикаго: мужчины и женщины, которых интересовали не столько благородные принципы и разноцветные коалиции, сколько перевод растущего политического влияния в контракты и рабочие места. В то время как другие предприятия и магазины кое-как перебивались, латиноамериканские фирмы процветали, частично благодаря финансовым связям со странами происхождения и тому, что клиентура удерживалась языковым барьером. Казалось, что на всех низкооплачиваемых работах, которые раньше доставались черным, стали повсюду преобладать выходцы из Мексики и Центральной Америки — официанты и помощники официанта, гостиничные горничные и посыльные, латиноамериканцы пробрались и в строительство, где уже давно отказались от труда черных. Черные начали роптать и почувствовали, что им грозит опасность; они засомневались, не получится ли так, что их снова обойдут те, кто только что приехал.

Мне не следует преувеличивать раскол. Так как оба сообщества имеют множество общих проблем, от стремительно растущего процента отсева из средней школы до недостаточного медицинского страхования, черные и латиноамериканцы по-прежнему находят общие цели. Как бы ни были раздражены черные, проходя мимо стройки в черном квартале и видя там только мексиканских рабочих, я редко слышу, чтобы они обвиняли самих рабочих; обычно они направляют свой гнев на подрядчиков, нанявших мексиканцев. Если расспросить

настойчивее, то многие черные неохотно восхитятся латиноамериканскими иммигрантами — их сильной трудовой этикой и преданностью семье, их готовностью начать с низов и сделать максимум из того малого, что у них есть.

Однако нельзя отрицать того, что многие черные разделяют с белыми тревогу по поводу волны нелегальных иммигрантов, захлестнувшей наши южные границы,— ощущение, что происходящее сейчас в корне отличается от того, что было раньше. Не все эти опасения безосновательны. Такого числа иммигрантов страна не видела более столетия. И если этот огромный наплыв в основном низкоквалифицированных рабочих оказывает некоторое благоприятное воздействие на экономику в целом — особенно тем, что поддерживает молодость нашей рабочей силы, в противоположность все больше стареющей Европы и Японии, — это также грозит понизить зарплаты американцев на производственных специальностях и еще больше перегрузит «страховочную сетку». Эти нынешние опасения настораживают тем, что напоминают ксенофобию, когда-то направленную против только что прибывших итальянцев, ирландцев и славян, — опасения, что латиноамериканцы по существу отличаются и культурой, и темпераментом и не смогут полностью ассимилироваться; опасения, что при таких демографических сдвигах, какие происходят сейчас, латиноамериканцы вырвут бразды правления из рук тех, кто привык обладать политической властью.

Однако для большинства американцев тревоги по поводу нелегальной иммиграции идут глубже, чем боязнь утратить устойчивое экономическое положение, и это не просто расизм. В прошлом иммиграция происходила на условиях Америки; расстилать ковровую дорожку можно было выборочно, на основании навыков иммигранта, цвета его кожи или потребностей промышленности. Неквалифицированный рабочий, китаец, русский или грек, оказывался чужим в чужой стране, отрезанным от родины, подверженным зачастую строгим ограничениям, вынужденным приспосабливаться к правилам, созданным другими.

Сейчас, похоже, эти условия больше не действуют. Иммигранты приходят в результате проницаемости границы, а не в результате какой-нибудь систематической правительственной программы; близость Мексики, а также безнадежная нищета многих ее жителей наводит на мысль о том, что поток через границу невозможно уменьшить или тем более остановить. Спутники, телефонные карты и электронные денежные переводы, а также сама величина растущего латиноамериканского рынка облегчат сегодняшним иммигрантам поддержание языковых и культурных связей с родной страной (информационные программы испаноязычной телекоммуникационной компании «Унивисьон» имеют сейчас самый высокий рейтинг в Чикаго). Родившиеся в Америке подозревают, что это они, а не иммигранты вынуждены адаптироваться. В этом смысле споры об иммиграции уже касаются не потери рабочих мест, а утраты независимости; это еще один пример — такой же как 11 сентября, птичий грипп, компьютерные вирусы и перенос производства в Китай — того, что Америка, похоже, не способна распоряжаться собственной судьбой.

Как раз в такой неустойчивой ситуации — страсти были накалены с обеих спорящих сторон — весной 2006-го Сенат США рассматривал полную реформу закона об иммиграции. Когда на улицах протестовали сотни тысяч иммигрантов, а южные границы ринулись охранять члены самопровозглашенного «комитета бдительности» под названием «Минитмен», был очень ответственный политический момент для демократов, республиканцев и президента.

Под руководством Теда Кеннеди и Джона Маккейна Сенат разработал компромиссный проект закона с тремя основными компонентами. Законопроект усиливал безопасность границ и, благодаря поправке, которую я написал совместно с Чаком Грассли, значительно затруднял нелегальный наем работников. Законопроект также признавал трудность депортации двенадцати миллионов не имеющих надлежащих документов иммигрантов и определял длительную, одиннадцатилетнюю процедуру, в результате которой многие из них могут получить гражданство. Наконец, законопроект включал в себя программу по использованию иностранных рабочих, которая позволит двумстам тысячам иностранных рабочих въехать в страну для временной работы.

Взвесив все, я решил, что законопроект стоит поддержать. Однако меня беспокоило положение об иностранных рабочих; это был по существу подарок крупному бизнесу, возможность нанимать иммигрантов, не предоставляя им прав гражданства, — в действительности средство Для бизнеса пользоваться преимуществами аутсорсинга, без необходимости размещать свои предприятия за границей. Для решения этой проблемы мне удалось включить формулировку, которая требует, чтобы любая работа вначале была предложена американским рабочим и чтобы работодатели не сбивали зарплаты американцам, платя иностранным рабочим меньше, чем заплатили бы американским. Идея заключалась в том, чтобы предприятия прибегали к найму иностранных рабочих только тогда, когда есть нехватка рабочей силы.

Это была поправка, направленная непосредственно на то, чтобы помочь американским рабочим, вот почему все профсоюзы активно ее поддержали. Но как только это положение было включено в законопроект, некоторые консерваторы как в Сенате, так и за его пределами начали нападать на меня за якобы «требование того, чтобы иностранным рабочим платили больше, чем американским».

Однажды в зале Сената я подошел к одному из коллег-республиканцев, который поставил мне это в вину. Я объяснил, что закон на самом деле защитит американских рабочих, так как у работодателей не будет стимула нанимать иностранцев, если им нужно будит платить столько же, сколько американцам. Коллега-республиканец, который весьма красноречиво выступал против любого законопроекта, который легализовал бы статус не имеющих соответствующих документов иммигрантов, покачал головой.

— Мелкие предприниматели все равно будут нанимать иммигрантов, — сказал он. — Из-за твоей поправки им только придется платить больше.

— Но зачем им нанимать иммигрантов вместо американских рабочих, если обходится это во столько же? — спросил я его.

Он улыбнулся:

— Давай признаем это, Барак. Просто мексиканцы готовы работать усерднее, чем американцы.

То, что противники законопроекта об иммиграции могут делать такие заявления в частном порядке,

притворяясь на публике, будто выступают за американских рабочих, указывает на масштаб цинизма и лицемерия, присущих спорам об иммиграции. Но, учитывая недовольство народа, его опасения и тревоги, по всей стране ежедневно подпитываемые Лу Доббсом и радиоведущими, я едва ли удивлен тем, что компромиссный законопроект до сих пор находится в Палате представителей, с тех пор как покинул Сенат.

И если быть честным перед собой, то должен признаться, что и я не свободен от таких нативистских чувств. Когда я вижу, как на проиммигрантских демонстрациях размахивают мексиканскими флагами, меня иногда охватывает патриотическое негодование. Когда я вынужден прибегать к переводчику, чтобы объясниться с парнем, который ремонтирует мою машину, я несколько разочарован.

Однажды, когда в Капитолии дебаты по поводу иммиграции начали накаляться, ко мне в кабинет пришла группа активистов и попросила, чтобы я поддержал частную просьбу о легализации статуса тридцати депортированных граждан Мексики, у которых остались тут супруги и дети с законным правом проживания. Один из членов моего штаба, Денни Сепульведа, молодой человек чилийского происхождения, провел встречу и объяснил группе, что, хотя я сочувствую их положению и являюсь одним из главных инициаторов принятого Сенатом законопроекта об иммиграции, мне неудобно поддерживать законодательный акт, который выделит тридцать человек из миллионов, находящихся в похожей ситуации, и даст им особое разрешение. Некоторые из группы начали раздражаться; они предположили, что меня не волнуют семьи иммигрантов и дети иммигрантов, что меня больше волнуют границы, чем справедливость. Один из активистов обвинил Денни в том, что он забыл, откуда происходит, что он не настоящий латиноамериканец.

Услышав о том, что произошло, я был одновременно и зол, и разочарован. Я хотел позвонить этим людям и объяснить, что американское гражданство — это привилегия, а не право, что без четких, осмысленных границ и уважения к закону само то, что привело их в Америку, будет поставлено под угрозу и что в любом случае я не позволю оскорблять членов своего штаба — особенно того из них, кто защищает их же дело.

Денни отговорил меня от звонка, разумно предположив, что это может привести к обратным результатам. Несколько недель спустя одним субботним утром я был в церкви Святого Пия в Пилзене на семинаре по натурализации, организованном конгрессменом Луисом Гутьерресом, Межнациональным союзом работников сферы обслуживания и несколькими группами защиты прав иммигрантов, которые посещали мой офис. Снаружи церкви выстроилось около тысячи человек, включая молодые семьи, пожилые пары и женщин с колясками; внутри люди молча сидели на деревянных скамьях, сжимали в руках американские флажки, розданные организаторами, и ждали, когда их позовет один из добровольцев, который поможет им начать многолетний процесс получения гражданства.

Когда я шел по проходу, некоторые из собравшихся улыбались и махали рукой; другие неуверенно кивали, когда я протягивал им руку и представлялся. Я познакомился с мексиканкой, которая не говорила по-английски, но сын которой находился в Ираке; я узнал молодого колумбийца, который парковал машины в местном ресторане, и узнал, что он изучает бухгалтерское дело в двухгодичном колледже. В какой-то момент ко мне подошла девочка лет семи или восьми, родители которой стояли сзади, и попросила у меня автограф; она сказала, что изучает в школе систему правления и покажет автограф в классе.

Я спросил, как ее зовут. Она ответила, что ее зовут Кристина и что она в третьем классе. Я сказал ее родителям, что они должны ею гордиться. И, глядя на то, как Кристина переводит им мои слова на испанский, я очередной раз осознал, что Америке нечего бояться этих приезжих, что они прибыли сюда по той же причине, что и семьи сто пятьдесят лет назад, — все те, кто бежал из Европы от голода, войн и жесткой иерархии, все те, у кого могло и не быть законных документов, связей или уникальных навыков, но кто нес с собой надежду на лучшую жизнь.

У нас есть право и обязанность охранять свои границы. Мы можем заявить тем, кто уже здесь, что гражданство влечет за собой обязанности — общий язык, общее соблюдение законов, общую цель, общую судьбу. Но в конечном счете опасность для нашего образа жизни не в том, что все у нас окажется заполонено теми, кто выглядит не так, как мы, или еще не говорит на нашем языке. Опасность возникнет тогда, когда мы не признаем человеческую природу Кристины и ее семьи — если мы откажем им в правах и возможностях, которые сами воспринимаем как само собой разумеющееся, или, в более общих чертах, если мы будем продолжать бездействовать, в то время как Америка может стать все более неравной, а это неравенство будет следовать расовым границам и тем самым питать расовый конфликт и, по мере того как страна станет все более черной или смуглой, этого неравенства не смогут больше выдерживать ни наша демократия, ни наша экономика.

Не такого будущего я хочу для Кристины, сказал я про себя, глядя, как она и ее семья машут на прощание рукой. Не такого будущего я хочу для своих дочерей. Их Америка будет еще разнообразнее, культура еще более многоязыковой. Мои дочери выучат испанский, и от этого им будет только лучше. Кристина узнает про Розу Паркс и поймет, что жизнь черной швеи имеет отношение к ее жизни. Проблема, с которой столкнутся мои девочки и Кристина, может не иметь такой моральной ясности, как проблема сегрегированного автобуса, но в той или иной форме их поколение подвергнется испытанию — как подверглась ему миссис Паркс, как подверглись ему «рейсы свободы», как подвергаемся ему все мы — теми голосами, которые хотели бы разобщить нас и обратить друг против друга.

И к тому времени, когда они подвергнутся такому испытанию, я надеюсь, что Кристина и мои дочери уже прочтут об истории этой страны и признают, что им Дано нечто драгоценное.

Америка такая большая, что в ней хватит места всем их мечтам.

ГЛАВА 8 Мир за пределами наших границ

Индонезия — страна островов; в общей сложности это более семнадцати тысяч островов, протянувшихся вдоль экватора между Индийским и Тихим океанами, между Австралией и Южно-Китайским морем. Большинство индонезийцев — представители малайских племен и живут на крупных островах: на Яве, Суматре,

Калимантане, Су-лавеси и Бали. На таких крайних восточных островах, как Амбон, и принадлежащей Индонезии части Новой Гвинеи большинство принадлежит к меланезийцам. Климат Индонезии тропический, и в джунглях когда-то было много таких экзотических видов животных, как орангутан и су-матрский тигр. Сейчас эти джунгли быстро исчезают в результате хищнической добычи древесины и полезных ископаемых, крупномасштабного производства риса, чая, кофе и пальмового масла. Лишенные своей привычной среды обитания, орангутаны считаются сейчас вымирающим видом, и на воле живет всего нескольких сотен су-матранских тигров.

Имея более чем двести сорок миллионов жителей, Индонезия является четвертой страной в мире по численности населения после Китая, Индии и Соединенных Штатов. В стране проживает более семисот этнических групп, и в ней говорят более чем на семистах сорока двух языках. Почти девяносто процентов населения Индонезии исповедует ислам и составляет самую крупную исламскую нацию в мире. Индонезия является единственным азиатским членом ОПЕК, не относящимся к региону Ближнего и Среднего Востока, однако вследствие старения инфраструктуры, истощения ресурсов и высокого внутреннего потребления она нетто-импортер сырой нефти. Государственный язык страны — индонезийский. Столица — Джакарта. Денежная единица — индонезийская рупия.

Большинство американцев Индонезию на карте найти не могут.

Это удивляет индонезийцев, так как последние шестьдесят лет судьба их народа напрямую привязана к внешней политике США. Архипелагом большую часть его истории управляла череда султанатов и часто дробящихся царств, но затем, в семнадцатом веке, он стал голландской колонией — Голландской Ост-Индией, — и этот статус продержался за ним более трех столетий. В преддверии Второй мировой войны богатые нефтяные ресурсы Голландской Ост-Индии стали основной целью японской экспансии; связав свою судьбу с державами «Оси» и столкнувшись с введенным США нефтяным эмбарго, Япония нуждалась в топливе для своих вооруженных сил и промышленности. После атаки на Перл-Харбор Япония быстро перешла к захвату голландской колонии, оккупация которой продолжалась в течение всей войны.

С капитуляцией Японии в 1945 году зародившееся патриотическое движение объявило о независимости страны. Голландцы с этим не согласились и попытались вернуть свою бывшую территорию. Последовали четыре года кро-вопролитья. В конце концов Голландия уступила растущему международному давлению (правительство США, уже обеспокоенное распространением коммунизма под знаменем антиколониализма, пригрозило Нидерландам прекращением финансирования по плану Маршалла) и признала суверенитет Индонезии. Главный вождь движения за независимость, харизматическая, яркая личность по имени Су-карно, стал первым президентом Индонезии.

Сукарно очень сильно разочаровал Вашингтон. Вместе с Неру из Индии и Насером из Египта он способствовал созданию движения неприсоединения. Это была попытка недавно освободившихся от колониального правления народов идти самостоятельным путем между Западом и Советским блоком. Коммунистическая партия Индонезии, никогда официально не бывшая у власти, росла численно и увеличивала свое влияние. Сам Сукарно все больше изощрялся в антизападной риторике, национализировал основные отрасли промышленности, отказался от помощи США, усиливал связи с Советским Союзом и Китаем. Поскольку американская армия увязла во Вьетнаме, а центральным принципом внешней политики США был «принцип домино», ЦРУ начало тайно оказывать помощь подрывным элементам внутри Индонезии и устанавливать тесные контакты с индонезийскими офицерами, многие из которых прошли подготовку в США. В 1965 году под предводительством генерала Сухарто военные выступили против Сукарно и, пользуясь чрезвычайными полномочиями, приступили к массовому уничтожению коммунистов и сочувствующих им. Согласно подсчетам, во время этих репрессий было убито от пятисот тысяч до миллиона человек, семьсот пятьдесят тысяч были брошены в тюрьмы либо высланы из страны.

Как раз через два года после начала репресий, в 1967 году, в том же году, когда Сухарто стал исполняющим обязанности президента, я с матерью прибыл в Джакарту: она вышла замуж за индонезийского студента, с которым познакомилась в Гавайском университете. Тогда мне было шесть лет, а матери двадцать четыре. В последующие годы она всегда утверждала — если бы, мол, знала, что происходило в предшествующие месяцы, ни за что бы не проделала этот путь. Но она ничего не знала — полная история о перевороте и репресиях еще не появилась в американской прессе. Индонезийцы об этом тоже не говорили. Мой отчим, студенческую визу которого отменили, когда он был еще на Гавайях и которого призвали в индонезийскую армию за несколько месяцев до нашего приезда, отказывался обсуждать с моей матерью политику и говорил, что есть то, о чем лучше забыть.

И действительно, в Индонезии было легко забыть о прошлом. В те дни Джакарта была еще сонным захолустьем, домов выше четырех-пяти этажей строили мало, велорикш было больше, чем автомобилей, городской центр и богатые районы — с колониальным изяществом и зелеными ухоженными газонами — быстро уступали место маленьким деревням с немощеными улицами и открытыми сточными канавами, пыльными рынками и лачугами из необожженного кирпича, фанеры и рифленого железа на пологих берегах мутных рек, где семьи купались и стирали белье, как паломники в Ганге.

В те далекие годы семья наша не была богата; в индонезийской армии лейтенантам много не платили. Мы жили в скромном доме на окраине города — без кондиционера, холодильника и смывного туалета. Машины у нас не было — мой отчим ездил на мотоцикле, а мать каждое утро отправлялась на автобусе в американское посольство, где она работала учителем английского. Так как у нас не было денег на международную школу, куда ходили почти все дети «экспатов», я посещал местные индонезийские школы и бегал по улицам с детьми земледельцев, слуг, портных и служащих.

В семь или восемь лет меня это особо не беспокоило. Те годы запомнились мне как счастливое время, полное приключений и тайн, — дни с погоней за цыплятами и бегством от водяного буйвола, вечера с театром теней и рассказами о привидениях, уличные торговцы с восхитительными сластями у дверей нашего дома. Хотя я понимал, конечно, что по сравнению с соседями мы жили неплохо — в отличие от многих, еды у нас всегда было

достаточно.

И вероятно, еще лучше этого я понимал, уже в раннем возрасте, что положение моей семьи определялось не только нашим достатком, но и нашими связями с Западом. И пусть мою мать сердили суждения, которые она слышала от других американцев в Джакарте, их снисходительное отношение к индонезийцам, их нежелание что-либо узнать о стране, которая их принимала, но, учитывая обменный курс, она была рада, что ей платят доллары, а не рупии, как ее коллегам-индонезийцам в посольстве. И пусть мы жили как индонезийцы, однако очень часто мать отводила меня в Американский клуб, где я мог вдоволь нырять в бассейн, смотреть мультфильмы и пить кока-колу. Иногда, когда в гости приходили мои друзья-индонезийцы, я показывал им книги с фотографиями Диснейленда или Эмпайр-стейт-билдинг, которые присылала мне бабушка; иногда мы листали каталоги «Сирса» и удивлялись выставленным сокровищам. Я понимал, что все это было частью моего наследия и выделяло меня из других, так как моя мать и я были гражданами США, пользовались благами их могущества, находились под их защитой.

Степень этого могущества трудно было не увидеть. Вооруженные силы США и Индонезии проводили совместные учения и организовывали учебные программы для офицеров. Президент Сухарто привлек американских экономистов для разработки плана развития Индонезии, основанного на рыночной экономике и иностранных инвестициях. Американские консультанты по развитию постоянно предлагали свои услуги правительственным министерствам, помогая справиться с мощным наплывом иностранной экономической помощи от американского Агентства международного развития и Всемирного банка. И хотя коррупция пронизывала все уровни правительства — даже простейшее взаимодействие с полицейским или чиновником предполагало взятку, и почти все импортируемые и экспортируемые товары, от нефти до пшеницы и автомобилей, проходили через компании, контролируемые президентом, его семьей или членами правящей хунты, — достаточно средств от нефтяных богатств и иностранной помощи вкладывалось в школы, дороги и инфраструктуру, так что общий уровень жизни в целом значительно повысился: между 1967 и 1997 годами доход на душу населения вырос от пятидесяти до четырех тысяч шестисот долларов в год. На взгляд США Индонезия стала образцом стабильности, надежным поставщиком сырья и импортером западных товаров, верным союзником и оплотом антикоммунизма.

Я пробыл в Индонезии достаточно долго и сам смог увидеть что-то из этого новоприобретенного благополучия. Вернувшись из армии, мой отчим начал работать в американской нефтяной компании. Мы переехали в дом побольше, у нас появилась машина с шофером, холодильник и телевизор. Но в 1971 году мать — заботясь о моем образовании и, вероятно, предчувствуя свое отчуждение от отчима — отправила меня жить к бабушке с дедушкой на Гавайи. Через год она с моей сестрой тоже переехала на Гавайи. Связи матери с Индонезией никогда не ослабевали; последующие двадцать лет она ездила туда и обратно, работая на международные агентства по полгода или по году подряд в качестве специалиста по вопросам женского развития и разрабатывая проекты, помогающие деревенским женщинам открыть собственное дело или вывести свои изделия на рынок. Но, хотя, будучи подростком, я три или четыре раза ненадолго приезжал в Индонезию, моя жизнь и мои интересы постепенно переместились в другое место.

Так что дальнейшая история Индонезии знакома мне в основном по книгам, газетам и рассказам матери. В течение двадцати пяти лет экономика Индонезии продолжала развиваться урывками. Джакарта стала столичным городом с девятью миллионами жителей, с небоскребами, трущобами, смогом и кошмарными пробками. Люди покидали деревни и вливались в ряды наемных рабочих построенных на иностранные инвестиции промышленных предприятий, изготовляющих кроссовки для «Найка» или рубашки для «Гэп». Бали превратился в излюбленный курорт серферов и рок-звезд, курорт с пятизвезд-ными отелями, интернет-доступом и «Кентакки фрайд чикен». К началу девяностых Индонезия уже считалась одним из «азиатских тигров» — еще одна история великого успеха глобализации.

Даже в более темных аспектах жизни Индонезии — ее политике и положении с правами человека — появились признаки улучшения. Режим Сухарто после 1967 года не проявлял такой жестокости, какая была в Ираке при Саддаме Хусейне; благодаря своей мягкой, спокойной манере президент Индонезии никогда не привлекал такого внимания, как более демонстративные личности — Пиночет или шах Ирана. Но по любым меркам режим Сухарто был жестко репрессивным. Аресты и пытки инакомыслящих были обычным делом, свободы печати не существовало, выборы были лишь формальностью. Когда в таких районах, как Аче, возникали национально-сепаратистские движения, армия действовала не только против повстанцев, но и (для быстрого возмездия) против мирных жителей — убивала, насиловала, жгла деревни. И в течение семидесятых и восьмидесятых годов все это происходило с ведома, если не при откровенном одобрении, администраций США.

Однако с окончанием холодной войны отношение Вашингтона начало меняться. Государственный департамент стал оказывать на Индонезию давление по вопросам нарушения прав человека. В 1992 году, после того как индонезийские военные расправились с мирной демонстрацией в Дили в Восточном Тиморе, Конгресс прекратил военную помощь индонезийскому правительству. К 1996 году индонезийские сторонники реформ начали выходить на улицы, открыто говорить о коррупции в верхних эшелонах власти, о произволе военных и необходимости свободных и честных выборов.

Вдруг в 1997 году все пошло прахом. Повышенный спрос на валюту и ценные бумаги во всей Азии захватил экономику Индонезии, уже десятилетия подрывавшуюся коррупцией. Курс рупии за несколько месяцев упал на восемьдесят пять процентов. Баланс индонезийских компаний, бравших кредиты в долларах, рухнул. За предоставление срочной ссуды в сорок три миллиарда долларов Международный валютный фонд, или МВФ, где преобладали представители Запада, настоял на введении ряда жестких мер экономии (снижение государственных субсидий, повышение процентных ставок), которые привели к почти двукратному росту цен на такие основные товары, как рис и керосин. Когда кризис был преодолен, экономика Индонезии «упала» почти на четырнадцать процентов. Бунты и демонстрации усилились, Сухарто в конце концов был вынужден уйти в отставку, и в 1998 году в стране прошли первые свободные выборы, на которых боролись сорок восемь партий и примерно девяносто три

миллиона людей отдали свои голоса.

Внешне, по крайней мере, Индонезия пережила двойное потрясение — от финансового краха и демократизации. Торговля на фондовой бирже процветает, вторые всеобщие выборы прошли без крупных происшествий, и произошла мирная передача власти. И если коррупция остается повсеместной и военные сохраняют большое влияние, все же наблюдается бурный рост независимых газет и политических партий для выражения недовольства.

С другой стороны, демократия не вернула благосостояния. Доход на душу населения примерно на двадцать два процента ниже, чем в 1997 году. Разрыв между богатыми и бедными, который всегда был огромным, увеличился еще больше. Общее ощущение потери у индонезийцев усиливается интернетом и спутниковым телевидением, которые в подробностях преподносят образы недоступных богатств Лондона, Нью-Йорка, Гонконга и Парижа. И антиамериканские настроения, которых почти не было во времена правления Сухарто, сейчас широко распространены, отчасти благодаря мысли, что азиатский финансовый кризис был специально устроен нью-йоркскими биржевыми дельцами и МВФ. Опрос 2003 года показал, что у индонезийцев более хорошее мнение об Осаме бин Ладене, чем о Джордже У. Буше.

Все это подчеркивает, вероятно, самое большое изменение в Индонезии — рост в стране воинственного исламского фундаментализма. Традиционно индонезийцы исповедовали терпимую, чуть ли не синкретическую ветвь ислама, пропитанную буддийскими, индуистскими и анимистическими традициями, дошедшими из более ранних эпох. Под зорким наблюдением однозначно светского правительства Сухарто алкоголь был разрешен, те, кто не был мусульманами, свободно исповедовали свою веру, а женщины, которые в юбках или саронгах ехали на работу в автобусах или на мотороллерах, обладали теми же правами, что и мужчины. Сегодня исламские партии образуют один из самых крупных политических блоков, многие требуют введения шариата. Благодаря средствам с Ближнего Востока в деревнях активно действуют ваххабитские муллы, школы и мечети. Многие индонезийские женщины стали носить платки, столь обычные в мусульманских странах Северной Африки и Персидского залива; воинствующие сторонники ислама и сдмопровоз-глашенная «полиция нравов» нападают на церкви, ночные клубы, казино и бордели. В 2002 году теракт в ночном клубе на Бали унес жизни более чем двухсот человек; сходные взрывы, произведенные террористами-самоубийцами, произошли в Джакарте в 2004 и на Бали в 2005 годах. Члены «Джемаа Исламия», воинствующей исламской организации, имеющей связи с «Аль-Кайдой», были привлечены к суду по делу о взрывах; трое были приговорены к смертной казни, но духовный лидер организации, Абу Бакар Башир, провел в тюрьме два года и два месяца и был выпущен на свободу.

Когда я в последний раз был на Бали, то останавливался на пляже всего в нескольких милях от места тех взрывов. Думая о том острове, обо всей Индонезии, я не могу избавиться от воспоминаний — ощущение ссохшейся грязи под босыми ногами, когда я гулял по рисовым полям; рассвет за вулканическими пиками; призыв муэдзина вечером и то, как пахнут горящие дрова; споры о цене у придорожного фруктового лотка; дикие звуки оркестра гамелан, освещенные пламенем лица музыкантов. Я бы хотел привезти сюда Мишель и девочек, чтобы поделиться с ними этой частью моей жизни, полазать по тысячелетним развалинам Прамбанана или поплавать в речке высоко в балийских горах.

Но моя поездка все откладывается. Я хронически занят, да и путешествовать с маленькими детьми всегда трудно. И, вероятно, меня тревожит, что я обнаружу: страна моего детства уже не соответствует моим воспоминаниям. И хотя мир стал меньше благодаря прямым рейсам, сотовым телефонам, кабельному телевидению и интернет-кафе, Индонезия кажется сейчас более далекой, чем тридцать лет назад.

Я боюсь, что она становится страной чужих.

В международных вопросах опасно делать экстраполяции на каком-либо конкретном примере. История, география, культура и конфликты каждой страны создают ее неповторимый образ. И все же во многих смыслах Индонезия служит полезной метафорой для мира за пределами наших границ — мира, в котором постоянно сталкиваются глобализация и сектантство, нищета и изобилие, современность и старина.

Индонезия также служит хорошим примером внешней политики США за последние пятьдесят лет. В общих чертах, по крайней мере, она вся тут присутствует: наша роль в освобождении бывших колоний и создание международных институтов для того, чтобы помочь справиться с порядком, сложившимся после Второй мировой войны; тенденция рассматривать страны и конфликты сквозь призму холодной войны; неустанное поощрение нами капитализма американского стиля и многонациональных корпораций; терпимость к тирании, коррупции и ухудшению экологической обстановки, а иногда и потворство, если это служило нашим интересам; наши оптимистические надежды, когда холодная война окончилась, на то, что «Биг-Маки» и интернет покончат с давними конфликтами; растущая экономическая мощь Азии и увеличивающееся недовольство в отношении США, ставших единственной мировой супердержавой; понимание того, что, по крайней мере в первое время, демократизация может обнажить, а не облегчить этническую ненависть и религиозные противоречия и что чудеса глобализации также могут способствовать нестабильности, распространению пандемий и терроризму.

Другими словами, наш послужной список содержит разные примеры — не только в Индонезии, но и по всему миру. В одних случаях американская внешняя политика была дальновидной, одновременно служила и нашим государственным интересам, и идеалам и интересам других народов. В других случаях действия Америки были ошибочны, основаны на ложных посылках, которые не учитывают законных желаний других народов, подрывают к нам доверие и делают мир более опасным.

Такая двусмысленность не должна удивлять, ведь внешняя политика США всегда была смесью, борющихся импульсов. В первые дни Республики часто преобладала политика изоляционизма — боязнь интриг иностранных государств, которая подходила стране, только появившейся в результате Войны за независимость. «К чему, — спрашивал Джордж Вашингтон в своем знаменитом прощальном обращении, — делать нашу судьбу зависимой от судьбы любой части Европы и связывать наш мир и процветание с проявлениями честолюбия, соперничества, интересов, настроений или капризов Европы?» Взгляд Вашингтона подкреплялся тем, что он называл «географически отдаленным положением», расстоянием, которое позволяло молодой стране «пренебречь материаль-

ным ущербом от внешних неприятностей».

Более того, хотя из-за своего революционного рождения и республиканской формы правления Америка и может симпатизировать тем, кто стремится к свободе в других странах, первые американские лидеры предостерегали против идеалистических попыток экспортировать наш образ жизни; согласно Джону Куинси Адамсу, Америке не следует «идти искать за своими пределами чудовищ, чтобы их уничтожить», и также ей не следует «становиться мировым диктатором». Провидение поставило перед Америкой задачу построить новый мир, а не переделывать старый; защищенная океанами, с изобильными природным ресурсами, Америка лучше всего может служить своему делу свободы, сосредоточившись на собственном развитии, став маяком надежды для других стран и народов всего мира.

Но если нежелание ввязываться в запутанные дела с иностранными государствами отпечатано у нас в ДНК, то также отпечатано и стремление к расширению — географическому, экономическому и идеологическому. Томас Джефферсон с самого начала говорил о неизбежности расширения за пределы первоначальных тринадцати штатов, и его график расширения был сильно ускорен Луизианской покупкой и экспедицией Льюиса и Кларка. Тот же Джон Куинси Адаме, который предостерегал Америку от авантюр за границей, сделался неутомимым сторонником континентального расширения и послужил главным создателем доктрины Монро — предупреждения европейским державам, чтобы те держались подальше от Западного полушария. По мере того как американские солдаты и поселенцы планомерно продвигались на запад и юго-запад, следующие одна за другой администрации описывали аннексию территории как «предначертание судьбы» — убеждение в том, что это расширение предопределено, оно есть часть Божьего промысла распространить на весь континент то, что Эндрю Джексон назвал «зоной свободы».

Конечно, предначертание судьбы также означало и завоевание — кровавые ожесточенные бои с племенами коренных американцев, прогоняемых с земли, и с мексиканской армией, защищающей свои границы. Это завоевание, как и рабство, противоречило принципам основания Америки, его склонны были объяснять в расистских терминах, это было завоевание, полностью впитать которое американской мифологии всегда было трудно, но которое другие страны признавали тем, чем оно являлось, — применением грубой силы.

С окончанием Гражданской войны и консолидацией того, что сейчас является континентальной частью США, эту силу нельзя было отрицать. Желая расширить рынки для своих товаров, получить сырье для промышленности и сохранять свободные морские пути для торговли, страна обратила свое внимание вовне. Были аннексированы Гавайи, что дало Америке точку опоры в Тихом океане. В результате Испано-американской войны Америка получила в подчинение Пуэрто-Рико, Гуам и Филиппины; когда некоторые члены Сената выступили против военной оккупации архипелага, отдаленного на семь тысяч миль, — оккупации, требующей тысяч солдат США для подавления движения за независимость, — один сенатор возразил, что это приобретение означает «обширную торговлю, богатство и власть» и обеспечит США доступ к китайскому рынку. Америка никогда не проводила систематической колонизации, как европейские страны, но она избавилась от всех комплексов, не дававших вмешиваться в дела стран, которые она сочла стратегически важными. Теодор Рузвельт, например, внес дополнение в доктрину Монро — в нем заявлялось, что Соединенные Штаты совершат интервенцию в любую страну Латинской Америки и в любую страну Карибского бассейна, правительство которой ей не понравится. «У Америки нет выбора, играть или не играть великую роль в мире, — заявлял Рузвельт. — Мы должны играть великую роль. Все, что Америка может решить, — играть ей эту роль хорошо или плохо».

Так что к началу двадцатого столетия мотивы внешней политики США очень мало отличались от мотивов других великих держав, движимых соображениями «реальной политики» и коммерческими интересами. Но у населения в целом изоляционистские настроения оставались сильны, особенно когда дело касалось конфликтов в Европе и когда жизненно важные интересы США не были явно затронуты. Однако техника и торговля делали мир меньше; определять, какие интересы жизненные, а какие нет, становилось все труднее. Во время Первой мировой войны Вудро Вильсон избегал участия США до тех пор, пока немецкие подводные лодки, постоянно пускающие на дно американские суда, и надвигающееся крушение всей Европы не сделали нейтралитет невозможным. Когда война закончилась, Америка превратилась в господствующую мировую державу — державу, процветание которой, как понимал Вильсон, будет связано с миром и процветанием далеких земель.

Как раз реагируя на эту новую реалию, Вильсон пытался переосмыслить идею предначертания судьбы Америки. Чтобы сделать «мир безопасным для демократии», требовалось не только победить в войне, утверждал он; в американских интересах способствовать самоопределению всех народов и дать миру правовую структуру, которая в будущем поможет избежать конфликтов. В Версальский договор, который определял условия капитуляции Германии, Вильсон предложил внести положение о создании Лиги Наций для улаживания международных конфликтов, а также Международного суда и комплекса международных законов, которые наложили бы ограничения не только на слабого, но и на сильного. «Сейчас самое время демократии доказать свою чистоту и свою духовную силу, чтобы одержать победу, — сказал Вильсон. — И это предначертание судьбы Соединенных Штатов — быть впереди в попытке дать этому духу победить».

Поначалу предложения Вильсона в Соединенных Штатах и во всем мире встретили с энтузиазмом. Сенат США, однако, был менее воодушевлен. Сенатор-республиканец Генри Кэбот Лодж посчитал Лигу Наций — и саму идею международного права — ущемлением суверенитета Америки, неразумным ограничением способности Америки навязывать свою волю во всем мире. Сенат отказался ратифицировать членство США в Лиге, чему способствовало наличие в обеих партиях традиционных изоляционистов (многие из которых выступали против вступления Америки в Первую мировую войну), а также упрямое нежелание Вильсона идти на компромисс.

В последующие двадцать лет Америка совершенно ушла в себя — сократила армию и флот, отказалась присоединиться к Международному суду, бездействовала, в то время как Италия, Япония и нацистская Германия наращивали свою военную мощь. Сенат сделался очагом изоляционизма, издал закон о нейтралитете, который не позволял Соединенным Штатам оказывать помощь странам, подвергшимся нападению держав «Оси», и постоянно игнорировал призывы президента, в то время как армии Гитлера продвигались маршем по Европе. Только

после бомбардировки Перл-Харбора поняла Америка свою ужасную ошибку. «Нет такого понятия, как безопасность для какой-либо страны — или личности — в мире, управляемом принципами гангстеризма, — говорил Франклин Делано Рузвельт в обращении к народу после нападения. — Мы не можем больше измерять свою безопасность милями на карте».

После Второй мировой войны Соединенным Штатам представилась возможность применить в своей внешней политике результаты этих уроков. Когда Европа и Япония лежали в руинах, а Советский Союз был обескровлен боями на восточном фронте, но уже проявлял намерение как можно дальше распространить тоталитарный коммунизм, Америка встала перед выбором. Среди тех, кто справа, были утверждавшие, что лишь односторонняя внешняя политика и незамедлительное вторжение в Советский Союз может предотвратить зарождающуюся коммунистическую опасность. И хотя тот изоляционизм, что преобладал в тридцатые, теперь был полностью дискредитирован, левые часто преуменьшали советскую агрессивность, полагая, что, с учетом потерь Советского Союза и решающей роли в победе союзников, Сталин наверняка примирился.

Америка не пошла ни по тому ни по другому пути. Послевоенные руководители президент Трумэн, Дин Аче-сон, Джордж Маршалл и Джордж Кеннан построили новый послевоенный порядок, соединивший в себе идеализм Вильсона и трезвый реализм, признание силы Америки и ее способности управлять событиями во всем мире. Да, утверждали они, мир — это опасное место, советская угроза реальна; Америке необходимо сохранять военное превосходство и быть готовой применить силу для защиты своих интересов по всему миру. Но даже сила Соединенных Штатов ограниченна; и поскольку борьба против коммунизма, так же как и борьба идей, — испытание того, чья система может лучше служить надеждам и мечтам миллиардов людей по всему миру, одна лишь военная сила не может обеспечить долгосрочное процветание и безопасность.

Таким образом, то, что нужно было Америке, это надежные союзники — союзники, которые разделяли идеалы свободы, демократии, власти закона и которые видели свою выгоду в рыночной экономике. Такие союзы, военные и экономические, в которые вступают добровольно и которые поддерживают по обоюдному согласию, будут более прочны — и вызовут меньше недовольства, — чем любое скопление вассальных государств, какое бы ни собрал американский империализм. Аналогичным образом, в американских интересах было сотрудничать с другими странами в создании международных институтов и способствовать установлению международных норм не из наивного представления о том, что сами международные законы и договоры прекратят конфликты между странами или устранят необходимость американских военных акций, а потому, что чем больше укреплено норм международного права и чем больше Америка проявляет готовность сдерживать применение своей силы, тем меньше будет возникать конфликтов и тем более легитимными будут казаться наши действия в глазах мира, когда нам все-таки придется применить военную силу.

Менее чем за десятилетие инфраструктура нового мирового порядка была создана. Была разработана стратегия США по сдерживанию коммунистической экспансии, поддерживаемая не только войсками, но и соглашениями с НАТО и Японией по вопросам безопасности; принят план Маршалла по восстановлению разрушенного войной хозяйства; Бреттон-Вудское соглашение должно было обеспечивать стабильность мировых финансовых рынков, а Генеральное соглашение о таможенных тарифах и торговле устанавливало правила мировой торговли; США поддерживали обретение независимости всеми бывшими европейскими колониями; МВФ и Всемирный банк помогали интеграции недавно обретших независимость народов в мировую экономику; а Организация Объединенных Наций решала вопросы коллективной безопасности и международного сотрудничества.

Шестьдесят лет спустя мы можем видеть результаты этого грандиозного послевоенного мероприятия: удалось достичь благополучного исхода холодной войны, избежать ядерной катастрофы, фактически положить конец конфликту между великими военными державами мира и вступить в эпоху невиданного экономического роста в нашей стране и за рубежом.

Это замечательное достижение, возможно, величайший, после победы над фашизмом, дар нам от величайшего поколения. Но, как и любая система, выстроенная человеком, она обладала недостатками и противоречиями; она могла пасть жертвой перекосов политики, греха высокомерия, разрушающего воздействия страха. Из-за советской угрозы и потрясения от захвата коммунистами Китая и Северной Кореи американские политические стратегии стали рассматривать национально-освободительные движения, межэтническую борьбу, попытки реформ и отклоняющиеся влево политические курсы во всем мире сквозь лупу холодной войны — они считали, что потенциальная опасность перевешивает нашу заявленную приверженность к свободе и демократии. Десятилетиями мы терпели и даже поддерживали воров вроде Мобуту и убийц вроде Норьеги, если те выступали против коммунизма. Иногда США проводили секретные операции по смещению демократически избранных руководителей в таких странах, как Иран, что вызвало далеко идущие последствия, которые преследуют нас до сих пор.

Американский политический курс по сдерживанию включал в себя также наращивание военной мощи, и по запасам вооружения США сравнялись, а затем превзошли Советский Союз и Китай. Со временем «железный треугольник» из Пентагона, оборонных подрядчиков и конгрессменов из округов с большими оборонными расходами обрели большую власть и стали формировать внешнюю политику США. И хотя опасность ядерной войны устраняла возможность прямой военной конфронтации с соперничающими супердержавами, американские разработчики политических стратегий все больше рассматривали проблемы в других частях мира сквозь военную, а не дипломатическую призму.

И вот что главное: со временем послевоенная система начала страдать от того, что слишком много внимания было уделено политике и недостаточно — формированию единодушия внутри страны. Сразу после войны Америка была настолько сильна еще и потому, что внутри страны имелось единодушие относительно внешней политики. Могли быть острые разногласия между республиканцами и демократами, но на краю пропасти политическая игра обычно прекращалась; подразумевалось, что профессионалы из Белого дома, Пентагона, Государственного департамента или ЦРУ примут решение исходя из фактов и здравого смысла, а не

из идеологии или интересов предвыборной кампании. Более того, единодушие охватывало широкую публику; такие программы, как план Маршалла, требовавшие значительных вложений средств, не могли бы проводиться, если бы американцы не доверяли своему правительству, а также если бы правительственные чиновники не верили в то, что американскому народу можно изложить факты, ведущие к принятию решений, которые требуют потратить доллары из их налогов или посылать их сыновей на войну.

В процессе холодной войны ключевые элементы этого единодушия начали разрушаться. Политики обнаружили, что могут получить больше голосов, если займут более жесткую позицию по отношению к коммунизму, чем их противники. На демократов нападали за «потерю Китая». Маккартизм разрушал карьеры и подавлял инакомыслие. Кеннеди обвинял республиканцев в мифическом «отставании по ракетам», чтобы победить Никсона, который, в свою очередь, сделал карьеру, обвиняя своих оппонентов в связях с коммунизмом. У президентов Эйзенхауэра, Кеннеди и Джонсона суждения оказались затуманены опасением, что им припишут «нерешительность в отношении к коммунизму». Такие методы холодной войны, как секретность, слежка и дезинформация, применявшиеся против правительств и населений других стран, сделались инструментами внутренней политики, средством для преследования критиков, получения поддержки сомнительных политических курсов или сокрытия ошибок. Сами идеалы, которые мы обещали нести миру, предавались в нашей же стране.

Все эти тенденции достигли критической точки во Вьетнаме. Катастрофические последствия этого конфликта — для доверия к нам и для нашего международного положения, для наших вооруженных сил (которым потребовалось целое поколение, чтобы оправиться) и, прежде всего, для тех, кто воевал, — хорошо документированы. Но, возможно, самой большой жертвой той войны стало доверие американского народа к своему правительству, а также доверие американцев друг к другу. Энергичные действия пресс-центра и показ трупов американских солдат по телевизору привели к тому, что американцы начали понимать: самые лучшие и умные в Вашингтоне не всегда знают, что они делают, — и не всегда говорят правду. Многие левые стали все сильнее протестовать не только против войны во Вьетнаме, но и против более широких целей американской внешней политики. По их мнению, президент Джонсон, генерал Уэстморленд, ЦРУ, «военно-промышленный комплекс» и международные организации вроде Всемирного банка — все суть проявления американского высокомерия, ура-патриотизма, расизма, капитализма и империализма. Правые возражали им, возлагая ответственность не только за потерю Вьетнама, но и за потерю Америкой главенствующего положения в мире на тех, кто «сначала винит Америку» — демонстрантов, хиппи, Джейн Фонду, интеллектуалов «Лиги плюща» и либеральные СМИ, которые порочат патриотизм, проповедуют моральный релятивизм и подрывают решимость Америки противостоять безбожному коммунизму.

Правда, это были карикатуры, плоды трудов активистов и политических консультантов. Большинство американцев находилось где-то посередине, они все еще поддерживали попытки Америки победить коммунизм, но скептически относились к американским программам, которые могли повлечь большое число жертв. В семидесятые и восьмидесятые годы можно было встретить и демократов-ястребов, и республиканцев-голубей; в Конгрессе были люди вроде Марка Хэтфилда из Орегона и Сэма Нанна из Джорджии, которые пытались сохранить традицию двухпартийной внешней политики. Но во время выборов впечатление публики формировалось карикатурами, так как республиканцы все больше изображали демократов мягкими в вопросах обороны, а те, кто с подозрением относился к военным и секретным операциям за рубежом, становились сторонниками Демократической партии.

Как раз на этом фоне — в эпоху разделения, а не в эпоху единодушия — большинство живущих сейчас американцев сформировали свои взгляды на внешнюю политику. Это были годы Никсона и Киссинджера, чьи внешнеполитические программы были тактически превосходны, но на них бросали тень внутриполитические программы и бомбардировки Камбоджи. Это были годы Джимми Картера, демократа, делавшего упор на права человека, который казался готовым снова поставить в один ряд моральные соображения и сильную оборону, пока нефтяные кризисы, унизительный захват заложников в Иране и вторжение Советского Союза в Афганистан не выставили его наивным и неумелым.

Самой крупной фигурой был, вероятно, Рональд Рейган, славившийся как четкой позицией в отношении коммунизма, так и слепотой в отношении других причин мировых несчастий. Лично я стал совершеннолетним во время его президентства — я изучал международные отношения в Колумбийском университете, а затем работал в Чикаго — и, как многие демократы в те дни, ужасался результатам рей-гановской политики в отношении стран третьего мира: его администрация поддерживала режим апартеида в Южной Африке, финансировала эскадроны смерти в Сальвадоре, вторглась на крошечную беззащитную Гренаду. Чем больше я изучал политику в области ядерного вооружения, тем больше находил программу звездных войн непродуманной; пропасть между возвышенной риторикой Рейгана и пошлым делом «Иран — контрас» лишила меня дара речи.

Но иногда, во время споров с кем-нибудь из друзей, занимающих левые позиции, я вдруг начинал защищать аспекты мировоззрения Рейгана. Я не понимал, например, почему сторонники прогресса должны меньше беспокоиться об угнетении за железным занавесом, чем о зверствах в Чили. Я отказывался верить, что американские мультина-циональные компании и условия международной торговли одни виноваты в нищете в разных частях света; никто не заставлял коррумпированных вождей стран третьего мира воровать у собственного народа. Я мог возражать против размеров наращивания Рейганом вооружений, но, учитывая вторжение Советского Союза в Афганистан, опережать Советы в военном отношении было явно разумно. Гордость за нашу страну, уважение к нашим вооруженным силам, здравая оценка опасности за пределами наших границ, утверждение, что нельзя легко приравнять Восток и Запад, — во всем этом я с Рейганом не спорю. И когда Берлинская стена рухнула, я должен был отдать должное старику, хотя никогда не отдавал ему своего голоса.

Многие люди — в том числе многие демократы — голосовали за Рейгана, отчего республиканцы стали утверждать, что его президентство восстановило в Америке единодушие относительно внешнеполитического курса. Конечно, это единодушие на самом деле не подвергалось испытанию; война против коммунизма в основном велась Рейганом опосредованно в условиях дефицита бюджета, без размещения войск США. Как

оказалось, после окончания холодной войны доктрина Рейгана уже плохо подходила к новому миру.

Возврат Джорджа Уокера Буша к более традиционной, «реалистичной» внешней политике позволил ему неплохо справиться с ситуацией, вызванной распадом Советского Союза, и компетентно провести первую войну в Персидском заливе. Но поскольку внимание публики было сосредоточено на внутренней экономике, его умение создавать международные коалиции или рассудительно проецировать образ сильной Америки не спасло его президентство.

К тому времени, когда пост занял Билл Клинтон, обычный здравый смысл предполагал, что внешняя политика Америки после холодной войны будет больше делом торговли, чем танков, скорее защитой американских авторских прав, чем американских жизней. Клинтон и сам понимал, что глобализация ставит новые задачи не только экономике, но и безопасности. Способствуя свободной торговле и укрепляя международную финансовую систему, администрация Клинтона также работала над окончанием затяжных конфликтов на Балканах и в Северной Ирландии и над продвижением демократии в Восточной Европе, Латинской Америке, Африке и на территории бывшего Советского Союза. Но в глазах общественности внешнеполитическому курсу девяностых не доставало четкого стержня или великих императивов. В частности, военные акции США казались исключительно делом выбора, а не необходимостью — возможно, результатом нашего желания осадить государства-изгои — либо следствием гуманистических соображений и моральных обязательств перед сомалийцами, гаитянами, боснийцами и другими несчастными.

Но вот настало 11 сентября — и американцы почувствовали, что их мир перевернулся.

В январе 2006 года я сел на военно-транспортный самолет «Локхид С-130» и направился в свое первое путешествие в Ирак. Двое из сопровождавших меня коллег — Эван Бэй, сенатор от Индианы, и конгрессмен Гарольд Форд-младший из Теннеси — уже проделывали раньше этот путь и предупредили меня, что посадка в Багдаде может быть немного неприятна: чтобы избежать возможного вражеского обстрела, военные самолеты рядом со столицей Ирака перед посадкой и после взлета зачастую проделывают серию вызывающих тошноту маневров. Однако наш самолет летел сквозь утренний туман, и трудно было ощутить тревогу. Пристегнутые к брезентовым креслам, почти все мои коллеги-пассажиры уснули, привалив головы к идущим вдоль фюзеляжа ребрам жесткости. Один член экипажа, похоже, играл в видеоигру, другой спокойно листал планы полетов.

Это было через четыре с половиной года после того, как я услышал сообщения о том, что самолет врезался во Всемирный торговый центр. Я в это время находился в Чикаго, ехал в деловую часть города на слушание в законодательном органе штата. Сообщения по радио в автомобиле были обрывочны, и я решил, что, вероятно, произошел несчастный случай, небольшой винтовой самолет сбился с курса. Но когда я приехал на собрание, врезался уже второй самолет, и нам велели покинуть здание. На улице в разных местах столпились люди, они смотрели в небо и на Сирс-тауэр. Позднее, в моей юридической конторе, мы сидели и неподвижно смотрели на кошмарные картины, разворачивающиеся на экране телевизора, — самолет, темный, как тень, исчезает среди стекла и стали, мужчины и женщины цепляются за карнизы, затем падают; возгласы и рыдания внизу, и наконец облака пыли заслонили солнце.

Следующие несколько недель я делал то же, что и большинство американцев, — звонил знакомым в Нью-Йорк и федеральный округ Колумбия, посылал пожертвования, слушал речь президента, скорбел по погибшим. И для меня, как и для большинства из нас, трагедия 11 сентября была глубоко личной. На меня подействовали не просто масштаб разрушений или воспоминания о пяти годах, проведенных в Нью-Йорке, — воспоминания об улицах и видах, превращенных теперь в руины. Скорее это было живое представление тех обычных действий, которые наверняка совершали 11 сентября люди за несколько часов до того, как погибли, той ежедневной рутины, которая составляет жизнь современного мира, — посадка на самолет, толкучка при выходе из пригородного поезда, спешная покупка кофе и утренней газеты, беседа в лифте. Для большинства американцев такая рутина символизирует победу порядка над хаосом, конкретное выражение нашей убежденности, что, пока мы делаем физические упражнения, пристегиваем ремни безопасности, имеем работу с премиями и льготами и избегаем определенных кварталов, безопасность нам гарантирована, семьи наши под защитой.

Но сейчас хаос был у порога. И как следствие, мы должны были действовать иначе, понимать мир иначе. Нам надо было ответить на призыв народа. Когда не прошло еще и недели после атаки, я стал свидетелем тому, как Сенат проголосовал 98 :0, а Палата представителей 420:1 за то, чтобы дать президенту полномочия и «всю необходимую и соответствующую силу против государств, организаций и лиц», которые стояли за этими атаками. Интерес к службе в вооруженных силах и количество заявок на вступление в ЦРУ взлетели вверх, так как молодые люди по всей Америке решили служить своей стране. И мы не были одиноки. В Париже «Монд» вышла с заголовком «Nous sommes tous Americains» («Мы все американцы»). В Каире в мечетях прошли траурные молитвы. Впервые со дня основания, с 1949 года, НАТО ввел в действие параграф 5 своего устава, согласившись, что нападение на одного из членов союза «должно рассматриваться как нападение на всех». Имея справедливость за спиной и весь мир рядом, мы практически за месяц изгнали из Кабула правительство талибов; члены «Аль-Кайды» бежали, были схвачены либо уничтожены.

Действия администрации начались успешно, подумал я, проводились спокойно, размеренно и с минимальными потерями (только позднее мы узнаем, в какой степени то, что мы оказали недостаточное военное давление на силы «Аль-Кайды» в Тора-Бора, могло позволить Осаме бин Ладену бежать). И так, вместе с остальным миром, я с нетерпением ждал того, что, как я думал, последует: объявления внешнеполитического курса США на двадцать первое столетие, такого, который не только приспособит наше военное планирование, разведывательные операции и мероприятия по обороне отечества для борьбы с угрозой, исходящей от террористической сети, но и создаст международный консенсус относительно задач, которые ставит транснациональная угроза.

Эта новая программа так и не появилась. Вместо нее мы получили набор устаревших политических стратегий из прошлых эпох, с которых сдули пыль, слепили вместе и приделали новые ярлыки. «Империя зла» Рейгана теперь стала «Осью зла», версия Рузвельта доктрины Монро — идея, что мы можем смещать неугодные

нам правительства, — стала ныне и доктриной Буша, только теперь она распространялась за пределы Западного полушария и охватывала весь мир. Предназначение судьбы снова было в моде; все, что нужно, согласно Бушу, это американская огневая мощь, американская решимость и «коалиция единомышленников».

Но, хуже всего, видимо то, что администрация Буша воскресила политические стратегии, невиданные со времен холодной войны. Смещение Саддама Хусейна служило лакмусовой бумажкой для бушевской доктрины превентивной войны, а сомневающихся в причинах вторжения стали обвинять в том, что они «мягки в вопросах терроризма» или ведут себя «не по-американски». Вместо правдивой оценки всех «за» и «против» этой кампании администрация начала информационное наступление: для поддержки своей позиции скрыла донесения разведки, сильно занизила финансовые расходы и необходимое количество личного состава, стало пугать призраком грибовидных облаков.

Наступление увенчалось успехом: к осени 2002 года большинство американцев были убеждены в том, что Саддам Хусейн имеет оружие массового уничтожения, и по крайней мере шестьдесят шесть процентов полагали (ошибочно), что иракский лидер был лично замешан в атаках 11 сентября. Поддержка вторжения в Ирак — и рейтинг одобрения Буша — составлял примерно шестьдесят процентов. Для победы на предварительных выборах республиканцы усилили нападение и стали требовать провести голосование о том, чтобы санкционировать применение силы против Саддама Хусейна. И 11 октября 2002 года двадцать восемь из пятидесяти бывших в Сенате демократов и все, кроме одного, республиканцы, предоставили Бушу полномочия, которых он добивался.

Это голосование меня разочаровало, хотя я понимал, какому давлению подверглись демократы. Я и сам испытал подобное. К осени 2002 года я уже решил баллотироваться в Сенат США и понимал, что вопрос войны с Ираком имеет огромное значение в любой избирательной кампании. Когда группа чикагских активистов спросила, не выступлю ли я на антивоенном митинге, запланированном на октябрь, некоторые из моих друзей не рекомендовали мне занимать столь открытую позицию по такому чувствительному вопросу. Не только идея вторжения была очень популярна, но и я, по существу, не считал дело против войны решенным раз и навсегда. Как и многие аналитики, я полагал, что Саддам обладает химическим и биологическим оружием и жаждет получить ядерное оружие. Я считал, что, раз он постоянно игнорирует резолюции ООН и не допускает международных наблюдателей, такое поведение должно иметь последствия. То, что Саддам кроваво расправлялся с собственным народом, было неоспоримо; я не сомневался в том, что миру и народу Ирака без него будет лучше.

Но я чувствовал, что исходящая от Саддама угроза не является близкой, что основания для войны, выдвинутые администрацией, шатки и мотивированы идеологически, к тому же война в Афганистане была еще далеко не закончена. И было ясно, что, избрав поспешную одностороннюю военную акцию вместо жестких дипломатических мер, принудительных проверок и целевых санкций, Америка упускала возможность создания широкой базы для поддержки своего политического курса.

Так что я произнес речь. Двум тысячам человек на Федеральной площади в Чикаго я объяснил, что в отличие от многих из собравшихся я не выступаю против любых войн — что мой дедушка отправился на призывной пункт в день бомбардировки Перл-Харбора и сражался в армии Паттона. Я также сказал: «После того как я стал свидетелем смерти и разрушения, праха и слез, я поддержал обещание администрации преследовать и искоренять тех, кто убивает невиновных во имя нетерпимости», и «Я сам охотно возьму оружие, чтобы предотвратить повторение подобной трагедии».

Чего я не мог поддержать, так это «глупой войны, поспешной войны, войны, основанной не на разуме, а на эмоциях, войны, основанной не на принципах, а на политических махинациях». И я сказал:

— Я знаю, что даже после успеха в войне против Ирака США потребуется ввести оккупационные войска на неопределенный срок, с неопределенными расходами и неопределенными последствиями. Я знаю, что вторжение в Ирак без ясных причин и без сильной международной поддержки лишь раздует пламя на Ближнем Востоке, вызовет худшие, а не лучшие порывы в арабском мире и облегчит «Аль-Кайде» вербовку новых членов.

Речь была принята хорошо; активисты начали распространять текст в интернете, и за мной утвердилась репутация человека, откровенно высказывающегося по актуальным вопросам, — репутация, которая дала мне возможность одержать победу в сложных предварительных выборах в Сенат от Демократической партии. Но я еще никак не мог знать тогда, верна ли моя оценка ситуации в Ираке. Когда вторжение наконец началось и войска США беспрепятственно прошли маршем по Багдаду, когда я увидел, как падает статуя Саддама, и кадры с президентом на борту авианосца «Авраам Линкольн» на фоне транспаранта со словами «Задание выполнено», я начал думать, что мог ошибаться, и был рад тому, что Америка понесла не так много потерь.

И теперь, три года спустя, — когда число погибших американцев превысило две тысячи, а число раненых шестнадцать тысяч; после двухсот пятидесяти миллиардов уже израсходованных долларов и сотен миллиардов, которые потребуются в будущие годы для выплаты образовавшегося долга и для ухода за инвалидами войны; после прошедших в Ираке двух всеобщих выборов и одного конституционного референдума и после того, как погибли десятки тысяч иракцев; после того, как рекордно выросли антиамериканские настроения во всем мире, а Афганистан снова начал сползать в хаос, — я летел в Багдад как член Сената, частично ответственный за то, чтобы попытаться понять, как все это расхлебывать.

Посадка в Багдадском международном аэропорту оказалась не такой уж плохой — хотя я рад, что мы не могли смотреть в иллюминаторы, когда, снижаясь, С-130 выделывал пируэты. Нас встретил сопровождающий из Государственного департамента, а также военные с винтовками на плечах. После инструктажа о безопасности, записи группы крови, примерки касок и кевларовых бронежилетов мы сели в два вертолета «Черный ястреб» и отправились в Зеленую зону на малой высоте, оставляя за собой мили заброшенных полей, пересеченных узкими дорогами, разбросанные рощицы финиковых пальм и низкие бетонные укрытия — многие из них на вид были пусты, некоторые срыты до основания бульдозерами. Наконец показался Багдад, песчаного цвета столичный город, выстроенный по кольцевому плану, перерезающая его река Тигр с полосой мутной воды посередине. Даже с воздуха было заметно, что город потрепан, движение на улицах редкое — хотя почти все крыши домов утыканы

спутниковыми тарелками, что вместе со службой сотовой телефонной связи расхваливалось чиновниками США как один из успехов восстановления.

Я провел в Ираке только полтора дня, в основном в Зеленой зоне — участке площадью десять миль в центре Багдада, бывшем когда-то сердцем правления Саддама Хусейна, а теперь являвшемся контролируемой США территорией, обнесенной по периметру взрывопрочной стеной и колючей проволокой. Отряды восстановления рассказали нам о трудностях производства электроэнергии и добычи нефти из-за диверсий повстанцев; офицеры разведки описали растущую опасность, исходящую от вооруженных фанатиков при их проникновении в силы безопасности Ирака. Позднее мы встретились с членом Иракской избирательной комиссии, который с энтузиазмом говорил о хорошей явке избирателей во время последних выборов, и час мы слушали, как посол США Халилзад, умный элегантный мужчина с усталым взглядом, объяснял тонкости челночной дипломатии, которой он сейчас занимался, чтобы из шиитских, суннитских и курдских фракций создать что-то похожее на объединенное правительство.

Во второй половине дня нам представилась возможность пообедать с солдатами в огромной столовой рядом с плавательным бассейном бывшего президентского дворца Саддама. Это была смесь из регулярных сил, резервистов и подразделений Национальной гвардии из больших и маленьких городов, черные, белые и латиноамериканцы, многие из них уже по второму и третьему сроку здесь. Они с гордостью рассказывали нам, что удалось сделать их подразделениям: построить школы, защитить электротехнические сооружения, вывести вновь обученных иракских солдат в дозор, отремонтировать линии питания, идущие в далекие регионы страны. И снова и снова мне задавали один и тот же вопрос: почему пресса США сообщает только о взрывах бомб и убийствах? Есть и прогресс, настаивали они, мне надо рассказать людям дома, что работают они тут не зря.

Было легко, разговаривая с этими людьми, понять их разочарование, ведь все американцы, которых я встретил в Ираке, и военные, и гражданские, поразили меня своей преданностью, своим мастерством и откровенным признанием не только допущенных ошибок, но и предстоящих трудностей. Действительно, все предприятие в Ираке свидетельствовало об американской изобретательности, богатстве и технологиях; стоя внутри Зеленой зоны или любой другой оперативной базы в Ираке и Кувейте, можно было лишь удивляться способности правительства возвести буквально целые города на вражеской территории, автономные поселения с собственным энергоснабжением и канализацией, компьютерами и беспроводными сетями, баскетбольными площадками и даже ларьками с мороженым. Более того, всюду имелись напоминания о неповторимом свойстве американского оптимизма, которое было заметно во всем, — отсутствие цинизма, несмотря на опасность, жертвы и, казалось бы, бесконечные неудачи, убежденность в том, что в конце концов наши действия дадут лучшую жизнь народу, который мы едва знаем.

И все же несколько встреч во время моего визита будут напоминать мне о том, насколько все-таки донкихотскими казались наши усилия в Ираке, как, несмотря на американскую кровь, на все богатства и лучшие намерения, может оказаться, что здание, которое мы строим, стоит на зыбучем песке.

Первая встреча произошла в тот вечер, когда наша делегация проводила пресс-конференцию с группой иностранных корреспондентов, аккредитованных в Багдаде. После части, посвященной вопросам и ответам, я спросил корреспондентов, не останутся ли они на неофициальную беседу. Мне было интересно, сказал я, узнать кое-что о жизни за пределами Зеленой зоны. Они с радостью согласились, но предупредили, что задержаться могут только на сорок пять минут (становилось поздно, и, как и большинство жителей Багдада, они избегали передвижений после захода солнца).

Это быта группа в основном людей двадцати — тридцати лет, все были одеты неформально и могли сойти за студентов колледжа. Однако на их лицах было заметно напряжение — к этому времени в Ираке погибло уже шестьдесят журналистов. Действительно, в начале нашей беседы они извинились за то, что немного рассеянны; им только что сообщили, что одна из их коллег, корреспондент газеты «Крисчен сайенс монитор» по имени Джилл Кэррол, была похищена, а ее водитель найден убитым на обочине. Сейчас они задействовали все свои связи и пытаются узнать, где она находится. Такие случаи не редкость теперь в Багдаде, сказали они, хотя основной удар наносится исключительно по иракцам. Бои между шиитами и суннитами не прекращаются. Никто из журналистов не считал, что после выборов положение с безопасностью улучшится. Я спросил их, не думают ли они, что вывод войск США может разрядить обстановку, и ожидал услышать положительный ответ. Но все они помотали головами.

— Я думаю, что через несколько недель страна погрузится в гражданскую войну, — сказал мне один из корреспондентов. — Сто, может быть, двести тысяч погибнет. Только мы не даем здесь всему развалиться.

Тем же вечером наша делегация сопровождала посла Халилзада на обеде дома у временно исполняющего обязанности президента Ирака Джаляля Талабани. Безопасность обеспечивалась строго на всем пути нашего эскорта по лабиринту баррикад за пределами Зеленой зоны; на границах кварталов стояли солдаты США, и нас проинструктировали, чтобы мы не снимали каски и бронежилеты.

Через десять минут мы прибыли на большую виллу, где нас приветствовали президент и несколько членов временного правительства Ирака. Это были плотного телосложения мужчины, в основном за пятьдесят и за шестьдесят, с широкими улыбками, но их взгляды не выражали никаких эмоций. Я узнал только одного из министров — господина Ахмада Чалаби, шиита, получившего образование на Западе, который в качестве руководителя Иракского национального конгресса в изгнании, как считают, снабжал службы разведки США и высокопоставленных чиновников в окружении Буша информацией, на основании которой было принято решение о вторжении, — информацией, за которую группа Чалаби получила миллионы долларов и которая оказалась фальшивой. После этого Чалаби впал в немилость у своих американских покровителей; были сообщения, что он передал секретную информацию Ирану и что в Иордании выписан ордер на его арест, после того как он был заочно осужден по тридцати двум статьям за растрату средств, кражу, банковское мошенничество и валютные спекуляции. Но он явно приземлился на ноги; безупречно одетый, в сопровождении своей взрослой дочери, сейчас он являлся исполняющим обязанности министра нефтяной промышленности.

С Чалаби во время обеда я много не разговаривал. Я сидел рядом с бывшим временным министром финансов. Он производил глубокое впечатление, говорил со знанием дела об экономике Ирака, о необходимости повысить ее прозрачность и укрепить ее правовые рамки, чтобы привлечь иностранные инвестиции. В конце вечера я упомянул в беседе с одним сотрудником из штата посольства об этом своем впечатлении.

— Да, он толковый, сомнения нет, — сказал сотрудник посольства. — Конечно, он также и один из руководителей партии «Верховный Исламский Совет Ирака». Они контролируют Министерство внутренних дел, которое, в свою очередь, контролирует полицию. Ну, а полиция... там были проблемы в связи с проникновением боевиков в ее ряды. Обвинения, что она хватает суннитских лидеров, а на следующее утро обнаруживаются их тела, в таком духе... — Мой собеседник умолк и пожал плечами. — Мы работаем с тем, что есть.

Мне было трудно уснуть в ту ночь; я смотрел игру «Вашингтон редскинз», транслируемую через спутник прямо в дом с бассейном, служивший когда-то Саддаму и его гостям. Несколько раз я выключал звук и слышал, как тишину разрывали минометные выстрелы. Следующим утром мы на «Черном ястребе» направились на базу морских пехотинцев в Фаллудже, в засушливой западной части Ирака, в провинции Анбар. Одни из самых жестоких боев с повстанцами происходили в Анбаре, где преобладают сунниты, и атмосфера в лагере была намного мрачнее, чем в Зеленой зоне; всего лишь вчера пять морских пехотинцев, совершавших патрулирование, были убиты заложенной у дороги бомбой и в перестрелке. Солдаты здесь выглядели более «зелеными», большинству из них едва за двадцать, у многих еще юношеские прыщи и неоформившиеся тела подростков.

Генерал, командир лагеря, организовал брифинг, и мы слушали, как старшие офицеры объясняли стоящую перед силами США дилемму: с увеличением возможностей они каждый день арестовывают все больше лидеров повстанцев, но, как и в случае уличных банд Чикаго, место каждого арестованного повстанца уже готовы занять два других. Похоже, что мятеж питается экономикой, а не политикой — центральное правительство не уделяет внимания Анбару, и безработица среди мужского населения составляет примерно семьдесят процентов.

— Можно заплатить какому-нибудь мальчишке два или три доллара, и он подложит бомбу, — сказал один из офицеров. — Здесь это большие деньги.

К вечеру появился небольшой туман, который задержал наш вылет в Киркук. Пока мы ждали, один из моих советников по внешней политике, Марк Липперт, отошел в сторону поговорить с одним из старших офицеров, а я завел беседу с майором, ответственным за борьбу с повстанческими выступлениями в регионе. Это был человек с тихим голосом, невысокий, в очках; его легко можно было представить в роли учителя математики в средней школе. И действительно, оказалось, что, до того как поступить в морскую пехоту, он несколько лет провел на Филиппинах в составе Корпуса мира. Многое из того, что он усвоил там, необходимо применить в работе военных в Ираке, сказал он мне. У него даже отдаленно нет такого числа говорящих по-арабски, какое нужно, чтобы вызвать доверие у местного населения. Необходимо, чтобы вооруженные силы США лучше понимали особенности других культур, необходимо развивать долгосрочные отношения с местными лидерами и обеспечить совместные действия сил безопасности и отрядов восстановления, чтобы иракцы видели конкретные результаты усилий США. Все это потребует времени, сказал он, но уже видны перемены к лучшему, так как военные начали применять эти методы по всей стране.

Сопровождающий офицер дал нам знать, что вертолет готов к взлету. Я пожелал майору удачи и направился к кабине. Со мной поравнялся Марк, и я спросил его, что он узнал из разговора со старшим офицером.

— Я спросил его, что, по его мнению, надо сделать, чтобы лучше всего справиться с ситуацией.

— И что он сказал?

— Уйти.

История действий Америки в Ираке будет анализироваться и обсуждаться еще многие годы — вообще-то, это история, которая еще пишется. В данный момент ситуация там ухудшилась настолько, что, похоже, уже началась фактически гражданская война, и хотя я убежден, что все американцы — независимо от их взглядов относительно самого вторжения — заинтересованы в благополучном разрешении ситуации в Ираке, я не могу честно сказать, что оптимистично настроен относительно скорых перспектив этого разрешения.

Я убежден в том, что на данном этапе политические махинации — расчеты тех жестких холодных людей, с которыми я обедал, — а не применение американской силы определяют события в Ираке. Я также убежден в том, что на этом этапе наши стратегические цели должны быть четко определены: достичь хоть какой-то стабильности в Ираке, обеспечить, чтобы находящиеся у власти в Ираке не относились враждебно к Соединенным Штатам, и не допустить превращения Ирака в базу террористов. Для достижения этих целей — я считаю, что это в интересах американцев и иракцев, — нужно начать к концу 2006 года поэтапный вывод войск США из Ирака, хотя о том, как скоро может быть осуществлен полный вывод войск, судить можно, лишь опираясь на ряд предположений — о способности иракского правительства обеспечить хотя бы основные гарантии и услуги своему народу, о степени, в какой наше присутствие способствует движению сопротивления, и о вероятности того, что в отсутствие войск США Ирак может скатиться к полномасштабной гражданской войне. Когда закаленные боями офицеры морской пехоты предлагают уходить, а скептично настроенные иностранные корреспонденты советуют остаться, нелегко дать ответ.

Но все же уже можно сделать некоторые выводы из нашего пребывания в Ираке. Трудности возникают там не просто из-за плохого исполнения. Они отражают ошибочность концепции. Фактом является то, что почти через пять лет после 11 сентября и через пятнадцать лет после распада Советского Союза у Соединенных Штатов по-прежнему нет последовательной политики обеспечения национальной безопасности. Вместо руководящих принципов у нас есть нечто похожее на серии специальных решений с сомнительными результатами. Почему мы вмешиваемся именно в Ираке, а не в Северной Корее или Бирме? Почему в Боснии, а не в Дарфуре? Нашей целью в Иране является смена режима, ядерное разоружение, предотвращение распространения ядерного оружия или все три? Считаем ли мы своим долгом применять силу всюду, где деспотичный режим терроризирует народ, — и если так, то как долго мы там останемся, чтобы обеспечить укоренение демократии? Как мы относимся к странам вроде Китая, которые либерализируются экономически, но не политически? Работаем ли мы с ООН по всем

вопросам или только тогда, когда ООН готово ратифицировать уже принятые нами решения?

Возможно, кто-то в Белом доме имеет четкие ответы на эти вопросы. Но наши союзники — да и наши враги — ответов этих не знают. И что более важно, не знает их и американский народ. Без ясно изложенной стратегии, которую общественность поддерживает и мир понимает, у Америки будет недоставать легитимности — и в конечном счете силы,— необходимой ей для того, чтобы сделать мир безопаснее, чем он есть сегодня. Нам необходимо пересмотреть основу внешнеполитического курса, которая сравнится по смелости и охвату с послевоенными политическими концепциями Трумэна, нам нужна такая основа, которая бы соответствовала и задачам, и возможностям нового тысячелетия, такая основа, которая направит применение силы и выразит наши самые глубокие идеалы и убеждения.

Я не утверждаю, что эта великая стратегия лежит у меня в боковом кармане. Но я знаю, во что я верю, и сделал бы несколько предложений, с которыми американцы наверняка смогут согласиться, приняв их как отправные точки для нового консенсуса.

Для начала нам следует понять, что любой возврат к изоляционизму — или внешнеполитический подход, который отрицает необходимость использовать иногда войска США, — работать не будет. Импульс удалиться от мира остается сильной скрытой тенденцией у обеих партий, особенно когда речь идет о возможных жертвах среди граждан США. Например, после того как в 1993 году по Могадишо проволокли тела солдат США, республиканцы обвинили президента Клинтона в том, что он безрассудно расходует силы США на плохо продуманные операции; и отчасти благодаря событиям в Сомали кандидат в президенты на выборах 2000 года Джордж У. Буш поклялся никогда больше не расходовать военные ресурсы Америки на «построение нации». Понятно, действия администрации Буша в Ираке вызвали куда более сильную обратную реакцию. Согласно опросу, проведенному Исследовательским центром Пью, почти через пять лет после атак одиннадцатого сентября сорок шесть процентов американцев пришло к заключению, что Соединенным Штатам следует «на международном уровне заниматься своими делами, а другие страны пусть обходятся, как могут, самостоятельно».

Реакция особенно была сильна среди либералов, которые видят в Ираке повторение ошибок, допущенных Америкой во Вьетнаме. Разочарование, вызванное Ираком, и сомнительная тактика, применявшаяся администрацией, чтобы привести доводы в пользу войны, даже заставили многих левых преуменьшать опасность, исходящую от террористов и распространителей ядерного оружия; согласно опросу, проведенному в январе 2005 года, у назвавших себя консерваторами вероятность признать уничтожение «Аль-Кайды» основной целью внешней политики была на двадцать девять пунктов больше, чем у либералов, и на двадцать шесть пунктов больше была вероятность назвать основной целью внешней политики недопущение попадания ядерного оружия к враждебным группировкам или странам. С другой стороны, тремя самыми главными внешнеполитическими целями для либералов были вывод войск из Ирака, прекращение распространения СПИДа и более тесное сотрудничество с союзниками.

Цели, которые выбирают либералы, имеют достоинства. Но они едва ли составляют последовательную политику обеспечения национальной безопасности. Полезно напомнить себе, что Осама бин Ладен — это не Хо Ши Мин и что опасность, перед которой стоят сейчас Соединенные Штаты, реальна, сложна по структуре и может причинить большие разрушения. Наша недавняя политика положение только ухудшила, но, если мы уйдем из Ирака завтра, Соединенные Штаты по-прежнему останутся мишенью, учитывая их доминирующее положение в существующем мировом порядке. Конечно, консерваторы также ошибаются, если считают, что мы можем просто устранить «злодеев», после чего мир пусть сам заботится о себе. Глобализация делает нашу экономику, наше здоровье и нашу безопасность заложниками событий на другой стороне света. И ни одна другая страна на планете не имеет таких возможностей формировать мировую систему или построить консенсус вокруг нового комплекса международных правил, которые расширяют территории свободы, личной безопасности и экономического благополучия. Нравится нам это или нет, но если мы хотим сделать Америку более безопасной, нам надо помочь сделать мир более безопасным.

Второе, что мы должны признать, — это то, что условия безопасности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, фундаментально отличаются от тех, что существовали пятьдесят, двадцать пять или даже десять лет назад. Когда Трумэн, Ачесон, Кеннан и Маршалл принялись разрабатывать архитектуру послевоенного мирового порядка, они исходили из противоборства великих держав, которые доминировали в девятнадцатом веке и начале двадцатого. В том мире самая большая опасность для Америки исходила от держав-экспансионистов вроде нацистской Германии и Советской России, которые могли использовать большие армии и мощный запас вооружений для вторжения на ключевые территории, могли лишить нас доступа к важным ресурсам и диктовать условия мировой торговли.

Того мира больше нет. Интеграция Германии и Японии в мировую систему либеральных демократии и экономики свободного рынка фактически ликвидировала угрозу конфликта великих держав в пределах свободного мира. Появление ядерного вооружения и «взаимное гарантированное уничтожение» делало риск войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом маловероятным даже до падения Берлинской стены. Сегодня самые могучие государства мира (к которым все с большим основанием можно причислить Китай) — и, что столь же важно, подавляющее большинство людей, живущих в этих странах, — практически безоговорочно признают общий комплекс правил, регулирующих торговлю, экономическую политику и правовое и дипломатическое разрешение конфликтов, даже если в более широком смысле свобода и демократия не всюду соблюдаются в пределах нх границ.

Растущая опасность, таким образом, исходит в первую очередь из частей света, находящихся на границе мировой экономики, где международные «правила дорожного движения» не утвердились, — из сферы слабых и разрушающихся государств, деспотичного правления, коррупции и хронического насилия; от стран, в которых подавляющее большинство населения живет в нищете, не образовано и отрезано от мировой информационной сети; из мест, где правители боятся, что глобализация ослабит их власть, подорвет традиционную культуру или вытеснит местные институты.

В прошлом существовало мнение, что Америка спокойно может не обращать внимания на страны и личности в этих изолированных регионах. И пусть они могут враждебно относиться к нашему мировоззрению, национализировать предприятия США, вызывать взлет цен на товары, вовлекаться в орбиту Советов или коммунистического Китая или даже нападать на посольства США и военный персонал за границей, но они не могут нанести нам удар там, где мы живем. 11 сентября показало, что это уже не так. Те самые информационные связи, которые все теснее сплачивают мир, дали силу желающим этот мир разорвать.

Террористические сети способны распространять свои доктрины в мгновение ока; они могут нащупывать самые слабые звенья в мировой экономической системе, зная, что последствия атаки в Лондоне или Токио будут ощутимы в Нью-Йорке или Гонконге; оружие и технику, которые когда-то принадлежали исключительно государствам-нациям, теперь можно купить на черном рынке или скачать их чертежи из интернета; свободное передвижение людей и товаров через границы — источник жизненной силы глобальной экономики — может быть использовано для смертоносных целей.

Если государства-нации больше не обладают монополией на массовое насилие; если фактически вероятность того, что государства-нации предпримут против нас прямую атаку, все уменьшается, так как у них есть фиксированный адрес, по которому мы можем послать ответ; если быстрорастущая опасность является транснациональной — террористические сети, стремящиеся сдержать или разрушить силы глобализации, возможные пандемии вроде птичьего гриппа или катастрофические изменения мирового климата, — то как тогда должна измениться наша стратегия национальной безопасности?

Для начала наши оборонные расходы и организационная структура вооруженных сил должны отражать новую реальность. С начала холодной войны наша способность не допустить агрессию одного государства против другого в большой степени гарантировала безопасность любой стране, которая брала на себя обязательство соблюдать международные законы и нормы. Это наши корабли охраняют морские пути. И это наш ядерный зонтик не дал Европе и Японии оказаться втянутыми в гонку вооружений во время холодной войны и — по крайней мере, до недавнего времени — давал основание большинству стран полагать, что насчет ядерной бомбы можно не беспокоиться. Пока Россия и Китай сохраняют свои крупные армии и не избавились полностью от инстинкта давить на всех силой и пока горстка стран-изгоев готова напасть на другие суверенные государства, как Саддам напал на Кувейт в 1991 году, нам придется иногда выполнять роль шерифа поневоле, всемирную роль. Это не изменится — да и не должно.

С другой стороны, пора признать, что оборонный бюджет и организационная структура вооруженных сил, построенные принципиально с расчетом на Третью мировую войну, имеет мало стратегического смысла. Военный и оборонный бюджет США в 2005 году превысил пятьсот двадцать два миллиарда долларов — это больше, чем военный и оборонный бюджет тридцати стран, вместе взятых. Валовой внутренний продукт США превосходит валовой внутренний продукт двух крупнейших стран с самой быстрорастущей экономикой — Китая и Индии,— вместе взятых. Нам необходимо сохранять стратегическую расстановку сил, которая позволит справляться с угрозой, исходящей от стран-изгоев вроде Северной Кореи и Ирана, и отвечать на вызов таких потенциальных соперников, как Китай. Действительно, учитывая уменьшение наших сил после войн в Ираке и Афганистане, нам, вероятно, потребуется немного увеличить бюджет в непосредственном будущем, чтобы сохранить боеготовность и заменить материальную часть.

Но нашей самой сложной военной задачей будет не опережение Китая (да и нашей самой крупной задачей относительно Китая вполне может быть задача экономическая, а не военная). Скорее всего, потребуется ступить на неуправляемую или враждебную территорию, где превосходно чувствуют себя террористы. Для этого необходимо более разумное соотношение между тем, что мы тратим на оборудование самого высшего качества, и тем, что мы тратим на наших людей в форме. Это должно означать увеличение численности личного состава наших вооруженных сил для сохранения сменного графика, поддержание соответствующего уровня оснащенности и обучение личного состава языкам, сбору разведывательной информации и навыкам установления мира, которые им будут необходимы для успешного выполнения очень многосторонних и сложных заданий.

Однако изменения структуры наших вооруженных сил будет недостаточно. Для того чтобы справляться с асимметричной угрозой, с которой мы столкнемся в будущем, — террористическими сетями и горсткой стран, их поддерживающих, — структура наших вооруженных сил будет в конечном счете иметь меньшее значение, чем то, как мы решим эти силы использовать. Соединенные Штаты победили в холодной войне не просто потому, что обогнали Советский Союз по вооружению, а потому, что американские ценности одержали верх в суде международного общественного мнения, включая и тех, кто жил при коммунистических режимах. И в еще большей степени, чем во времена холодной войны, борьба против исламских террористов будет не просто военной кампанией, а битвой за общественное мнение в исламском мире, среди наших союзников и в Соединенных Штатах. Осама бин Ладен понимает, что не может победить Соединенные Штаты в обычной войне. Что он и его союзники в состоянии сделать, так это причинить такую боль, которая спровоцирует реакцию вроде той, что мы видели в случае с Ираком, — плохо подготовленное, непродуманное вторжение США в мусульманскую страну, которое вызывает движение сопротивления, основанное на религиозном чувстве и национальной гордости, что, в свою очередь, вызывает необходимость длительной и сложной оккупации силами США, а это ведет к росту жертв среди войск США и местного гражданского населения. Все это раздувает антиамериканские настроения среди мусульман, увеличивает число потенциальных рекрутов для террористических организаций, и американский народ начинает сомневаться не только в войне, но и в той политической линии, которая вообще вовлекает нас в исламский мир.

Это план того, как выиграть войну, сидя в пещере, и пока, во всяком случае, мы следуем этому сценарию. Дабы изменить сценарий, мы должны сделать так, чтобы любое применение Америкой военной силы способствовало, а не препятствовало достижению более широких целей: лишить террористические сети возможности причинять разрушения и победить в глобальной борьбе идей.

Что это означает в практическом смысле? Нам следует исходить из того, что Соединенные Штаты, как и все

суверенные страны, имеют одностороннее право защищаться от нападения. И как таковая наша кампания по ликвидации баз «Аль-Кайды» и режима талибов, давшего им укрытие, совершенно оправданна и рассматривалась как легитимная даже в большинстве исламских стран. Вероятно, лучше иметь поддержку союзников в таких военных кампаниях, но наша непосредственная безопасность не может быть заложницей желания иметь международный консенсус; если нам придется действовать в одиночку, американский народ должен быть готов заплатить любую цену и нести любое бремя, чтобы защитить свою страну.

Я бы также заявил, что у нас есть право предпринимать односторонние военные акции для ликвидации *непосредственной* угрозы нашей безопасности — при условии, что под непосредственной угрозой понимается страна, группировка либо личность, которая активно готовится нанести удар по объектам США (или союзников, с которыми США имеет взаимное соглашение об обороне) и имеет или получит возможность нанести этот удар в ближайшем будущем. «Аль-Кайда» подходит под эти критерии, и мы можем и должны наносить ей упреждающие удары, где только возможно. Ирак при Саддаме Хусейне не соответствовал этим критериям, вот почему наше вмешательство является такой грубой стратегической ошибкой. Если мы собираемся действовать односторонне, нам лучше иметь полную информацию о наших целях.

Однако я убежден, что, как только мы выходим за рамки самообороны, почти всегда в наших стратегических интересах действовать многосторонне. Под этим я не имею в виду, что Совет безопасности ООН — организация, которая по своей структуре и своим правилам зачастую оказывается реликтом времен холодной войны,— должен обладать правом вето на наши решения. Но я не считаю, что нам достаточно заручиться поддержкой Соединенного Королевства и Того — поступать как угодно. Действовать многосторонне означает делать то, что делали Джордж Г. Буш и его команда во время первой войны в Персидском заливе, — заниматься тяжелой дипломатической работой для получения максимальной международной поддержки наших действий и обеспечения того, что наши действия будут способствовать еще лучшему признанию международных норм.

Зачем нам так себя вести? А затем, что от соблюдения международных «правил дорожного движения» никто не получит столько пользы, как мы. Мы не сможем убедить других соблюдать эти правила, если будем вести себя так, словно они писаны для всех, кроме нас. Когда единственная мировая сверхдержава добровольно сдерживает свою силу и соблюдает международные правила поведения, она дает понять, что это правила, которым стоит следовать, и лишает террористов и диктаторов того аргумента, что эти правила просто инструмент американского империализма.

Глобальное долевое участие также позволяет Соединенным Штатам уменьшить нагрузку, когда требуется проведение военной акции, и увеличивает шансы на успех. Учитывая относительно скромные оборонные бюджеты большинства наших союзников, разделение военного бремени в некоторых случаях может оказаться иллюзией, но на Балканах и в Афганистане наши партнеры по НАТО действительно брали на себя долю риска и расходов. Кроме того, в тех конфликтах, в которые мы, скорее всего, окажемся вовлечены, начальная военная операция часто будет менее сложной и дорогостоящей, чем последующая работа — обучение местной полиции, восстановление электро- и водоснабжения, построение работающей судебной системы, поощрение независимых средств массовой информации, создание инфраструктуры в сфере общественного здравоохранения и подготовка выборов. Союзники могут участвовать в оплате перевозки грузов и предложить свои знания, как это было на Балканах и в Афганистане, но вероятность того, что они это сделают, будет выше, если наши действия получат международную поддержку еще в самом начале. На языке военных легитимность будет «фактором повышения боевой эффективности».

Также важно то, что кропотливый процесс создания коалиций заставляет нас выслушивать и другие точки зрения и таким образом смотреть, куда мы собираемся прыгнуть. Когда мы не защищаемся от прямой угрозы, в нашем распоряжении есть время; наша военная сила становится всего лишь одним из множества инструментов (хотя и необычайно важным), призванных оказывать влияние на события и продвигать наши интересы в мире — интересы в сохранении доступа к ключевым энергетическим ресурсам, в сохранении стабильности финансового рынка, в уважении международных границ и в предотвращении геноцида. Преследуя эти интересы, мы должны проводить трезвый анализ, сравнивая затраты и выгоды применения силы и других имеющихся в нашем распоряжении инструментов.

Стоит ли дешевая нефть этих затрат на войну — людских и материальных? Приведет наше военное вмешательство в конкретный этнический конфликт к долговременному политическому урегулированию или необходимости неопределенно долго задействовать силы США? Может ли наш спор с каким-нибудь государством быть разрешен дипломатически или при помощи координированной последовательности санкций? Если мы хотим одержать победу в более широкой борьбе идей, то в расчет должно приниматься мнение мирового сообщества. И пусть иногда неприятно слышать антиамериканские заявления от наших европейских союзников, пользующихся нашей защитой, или слышать речи в Генеральной Ассамблее ООН, рассчитанные на то, чтобы затемнить вопрос, отвлечь внимание или оправдать бездеятельность, вполне возможно, что под всей этой риторикой скрываются перспективы, которые прояснят ситуацию и помогут нам принять верные стратегические решения.

Наконец, вовлекая союзников, мы включаем их в трудную, методичную, жизненно важную и необходимую работу по ограничению возможности террористов причинять вред. Работа эта подразумевает перекрытие каналов финансирования террористов и обмен разведывательной информацией для задержания подозреваемых в терроризме лиц и проникновения в их группы; наша неспособность эффективно координировать сбор разведданных даже между различными службами США, а также недостаток в сборе агентурной информации непростительны. Что еще более важно, так это то, что нам необходимо объединить усилия, чтобы не дать террористам доступ к оружию массового уничтожения.

Один из лучших примеров такого сотрудничества был приведен в девяностые годы сенатором-республиканцем Ричардом Лугаром от штата Индиана и бывшим сенатором-демократом Сэмом Нанном от штата Джорджия, которые понимали необходимость образовать коалицию до того, как наступит кризис, и использовали

это для решения важной проблемы — предотвращения распространения ядерного вооружения. Посылка программы, получившей название программы Нанна — Лугара, была проста: после падения Советского Союза главную опасность для Соединенных Штатов представляет — не считая случайного запуска ракет — не первый удар по приказу Горбачева или Ельцина, а переход ядерных материалов и технологии в руки террористов или государств-изгоев, что могло быть результатом стремительного экономического падения России, коррупции среди военных, обнищания российских ученых и пришедших в негодность систем охраны. По программе Нанна — Лугара Америка предоставляла средства для ремонта этих систем, и хотя программа вызвала опасение у тех, кто привык мыслить категориями холодной войны, это оказалось одним из самых важных вложений, какое мы только могли сделать, чтобы защитить себя от катастрофы.

В августе 2005 года я ездил с сенатором Лугаром, чтобы посмотреть на некоторые результаты. Это была моя первая поездка в Россию и на Украину, и я не мог даже вообразить лучшего гида, чем Дик, удивительно активного семидесятитрехлетнего человека с мягкими невозмутимыми манерами и непроницаемой улыбкой, которые сослужили ему хорошую службу во время наших бесконечных встреч с иностранными чиновниками. Вместе мы посетили ядерные объекты в Саратове, где русские генералы с гордостью показали недавно сделанные новое ограждение и систему безопасности; потом они угостили нас обедом с борщом, водкой, тушеной картошкой и крайне подозрительной заливной рыбой. В Перми, на территории, где производился демонтаж тактических ракет SS-24 (РТ-23 УТТХ «Молодец») и SS-25 (РТ-2П «Тополь»), мы походили внутри пустых оболочек диаметром в восемь футов и молча посмотрели на массивные, гладкие, еще действующие ракеты, которые сейчас были уложены в склады, но когда-то нацелены на города Европы.

В тихом жилом квартале Киева нам показали украинское подобие Санитарно-эпидемиологического центра, скромное трехэтажное здание, похожее на учебную лабораторию средней школы. Во время экскурсии, после того как мы посмотрели на открытые из-за отсутствия кондиционеров окна и на грубо приделанные к дверным косякам полосы железа, чтобы не пролезли мыши, нас подвели к небольшому холодильнику, который защищала только веревочка с печатью. Женщина средних лет в лабораторном халате и хирургической маске вынула из холодильника пробирки, помахала ими в футе от моего лица и что-то сказала по-украински.

— Это сибирская язва, — пояснил переводчик, указав на пробирку в правой руке женщины. — А это, — сказал он, показывая на пробирку в левой руке, — чума.

Я оглянулся и увидел, что Лугар отошел к дальней стене.

— Хочешь взглянуть поближе, Дик? — спросил я, тоже отходя.

— Уже был, уже видел, — ответил он с улыбкой. Были моменты во время нашего путешествия, которые

напоминали нам о днях холодной войны. В аэропорту в Перми, например, пограничник двадцати с чем-то лет задержал нас на три часа из-за того, что мы не позволили ему обыскать наш самолет, так что нашим сотрудникам пришлось обрывать телефоны посольства США и Министерства иностранных дел в Москве. И все же почти все, что мы видели и слышали, — магазин «Кельвин Кляйн» и салон «Мазерати» на Красной площади; остановившийся перед рестораном кортеж из джипов, за рулем которых крепкие парни в свободных костюмах, которые когда-то, вероятно, бежали открыть дверь кремлевскому чиновнику, а теперь находятся в службе безопасности какого-нибудь русского миллиардера-олигарха; группы угрюмых подростков в футболках и волочащихся по земле джинсах, передающие друг другу сигареты, слушающие плееры и прогуливающиеся по изящным киевским бульварам, — подчеркивало бесповоротность процесса если не политической, то экономической интеграции Востока и Запада.

Отчасти это было причиной, чувствовал я, того, как тепло принимали меня и Лугара на всех этих различных военных объектах. Наше присутствие обещало не только деньги на систему безопасности, ограждения, мониторы и тому подобное; оно также говорило работающим на этих объектах людям, что они все еще важны. Они сделали карьеру, их чествовали за то, что они совершенствовали орудия войны. Сейчас они обнаружили, что организации, которыми они руководят, — это остатки прошлого, что их институты едва ли нужны стране, чей народ озабочен в первую очередь тем, как быстро сделать деньги.

Во всяком случае, такое ощущение было в Донецке, промышленном городе на юго-востоке Украины, в котором мы остановились, чтобы посетить объект, где осуществлялось уничтожение обычных вооружений. Объект находился в сельской местности, ехать к нему надо было по узким дорогам, которые иногда перегораживали стада коз. Директор объекта, полный, веселый мужчина, который напомнил мне чикагского ответственного за вывоз мусора из района, провел нас между рядами темных, похожих на склады строений разной степени ветхости, где группы рабочих ловко разбирали различные наземные мины и танковые боеприпасы, а пустые оболочки снарядов сваливались в кучи, которые доходили мне до плеча. Им нужна помощь США, объяснил директор, так как у Украины не хватает денег справиться со всеми боеприпасами, оставшимися от холодной войны и Афганистана, — при таких темпах, как сейчас, обезвреживание этих боеприпасов может занять шестьдесят лет. А тем временем боеприпасы будут по-прежнему разбросаны по всей стране, будут храниться в сараях без замков, подвергаться воздействию погодных условий, и не только боеприпасы, но и мощная взрывчатка и переносные зенитно-ракетные комплексы — орудия уничтожения, которые могут оказаться в руках военных вождей в Сомали, у тамильских боевиков на Шри-Ланке, у повстанцев в Ираке.

Пока начальник рассказывал, наша группа вошла в другое строение, где женщины в хирургических масках стояли перед столами и вынимали гексоген — боевое взрывчатое вещество — из различных боеприпасов и складывали его в мешки. В другом помещении я натолкнулся на двух мужчин в майках, которые курили рядом со старым шипящим бойлером и стряхивали пепел в открытый водосток с водой оранжевого цвета. Один из нашей группы подозвал меня и показал на пожелтевший плакат на стене. Это был пережиток войны в Афганистане, как нам объяснили: инструкция, как прятать взрывчатку в игрушках, которые надо было оставлять в деревне, чтобы ничего не подозревающие дети принесли их домой.

Свидетельство людского безумия, подумал я.

Документальное подтверждение того, как империи себя разрушают.

И последний аспект внешней политики США, который необходимо обсудить, касается не столько предотвращения войны, сколько содействия делу мира. В тот год, когда я родился, президент Кеннеди в своей инаугураци-онной речи сказал: «Тем людям в лачугах и деревнях на половине земного шара, старающимся порвать узы массовой нищеты, мы обещаем приложить все усилия, чтобы дать им возможность помочь себе самим, на период, какой потребуется, — не потому, что это могут сделать коммунисты, не потому, что нам нужны их голоса, но потому, что это правильно. Если свободное общество не может помочь тем многим, кто беден, оно не сможет спасти тех немногих, кто богат». Сорок пять лет спустя массовая нищета по-прежнему существует. Если мы хотим исполнить обещание Кеннеди и послужить нашим долгосрочным интересам безопасности, нам придется не только более разумно применять силу. Нам придется сориентировать свой политический курс на то, чтобы способствовать уменьшению сфер нестабильности, нищеты и насилия по всему миру и заинтересовать большее число людей в том мировом порядке, который так хорошо нам служит.

Конечно, кто-то будет спорить с моей начальной посылкой, что любая мировая система, выстроенная по подобию США, может облегчить тяжелое положение в бедных странах. Для этих критиков представление Америки о том, какой должна быть международная система — свободная торговля, открытый рынок, беспрепятственное распространение информации, правопорядок, демократические выборы и подобное, — это просто проявление американского империализма, рассчитанное на то, чтобы эксплуатировать дешевый труд и природные ресурсы других стран и заразить незападные культуры упадническими идеями. Вместо того чтобы подчиняться американским правилам, говорят они, другим странам надо противостоять попыткам Америки распространить свою гегемонию; этим странам надо следовать своему пути развития, брать пример с левого популиста Уго Чавеса или обратиться к более традиционным принципам социальной организации вроде исламского закона.

Я не отметаю сразу всех этих критиков. Ведь современную международную систему действительно разработали Америка и ее западные партнеры; ведь это к нам — к нашей системе учета, к нашему языку, нашему доллару, к нашим законам об авторском праве, нашей технике и нашей массовой культуре — пришлось привыкать миру в последние пятьдесят лет. И если в общем международная система способствовала росту уровня достатка в самых развитых странах мира, многих людей она оставила позади — это явление, о котором западные разработчики политических стратегий часто забывают, а иногда и усугубляют.

В конечном счете, однако, я убежден в том, что критики ошибаются, когда думают, что бедным в мире будет лучше, если они отвергнут идеалы свободного рынка и либеральной демократии. Когда борцы за права человека из разных стран приходят ко мне в офис и рассказывают о том, как их сажали в тюрьму или пытали за убеждения, это не значит, что они выступают американскими агентами. И когда мой двоюродный брат в Кении жалуется, что невозможно найти работу, если не дашь взятку чиновнику правящей партии, это не значит, что ему промыли мозги и внушили западные идеи. Кто-то сомневается в том, что, если дать такую возможность, большинство жителей Северной Кореи предпочтут жить в Южной Корее и что многие кубинцы не отказались бы жить в Майами?

Ни один человек, никакая культура не выносит запугивания. Никому не нравится жить в страхе из-за того, что он мыслит иначе. Никому не нравится быть нищим и голодным, и никому не нравится жить при такой экономической системе, при которой плоды труда постоянно остаются без вознаграждения. Система свободного рынка и либеральной демократии, характерная почти для всех развитых стран мира, может иметь недостатки; очень часто она выражает интересы сильных в ущерб слабым. Но система постоянно изменяется и улучшается — и как раз благодаря этой открытости к изменениям либеральные демократии, основанные на свободном рынке, дают людям во всем мире больше возможностей добиться лучшей жизни.

Наша задача, таким образом, заключается в том, чтобы политика США направляла международную систему в сторону равенства, справедливости и благосостояния — чтобы законы, которые мы поддерживаем, служили и нашим интересам, и интересам борющегося мира. И нам полезно помнить несколько основных принципов. В первую очередь следует скептически относиться к тем, кто считает, будто мы можем в одиночку освободить другие народы от тирании. Я согласен с тем, что Джордж У. Буш сказал в своем втором инаугурационном обращении о всеобщем желании быть свободными. Но в истории мало примеров того, чтобы желаемая людьми свобода была предоставлена при помощи вмешательства извне. Почти во всех имевших успех социальных движениях последнего столетия, от кампании Ганди против британского правления и движения «Солидарность» в Польше до движения против апартеида в Южной Африке, демократия являлась результатом местного пробуждения.

Мы можем вдохновить других людей потребовать свобод; мы можем использовать международные форумы и договоры для того, чтобы установить стандарты для других; мы можем давать средства недавно возникшим демократиям, чтобы помочь институализировать систему честных выборов, обучить независимых журналистов и привить привычку гражданского участия; мы можем говорить от имени местных лидеров, права которых нарушаются; и мы можем оказывать экономическое и дипломатическое давление на тех, кто постоянно нарушает права собственного народа.

Но когда мы пытаемся принести демократию на штыках, финансово подкармливаем партии, чьи экономические программы кажутся Вашингтону более дружественными, или подпадаем под влияние эмигрантов вроде Чалаби, чьи амбиции никак не соответствуют местным интересам, мы не просто обрекаем себя на неудачу. Мы помогаем деспотическим режимам выставлять демократических активистов пособниками иностранных держав и мешаем возникновению истинной демократии на местах.

Выводом из этого является то, что свобода означает больше, чем выборы. В 1941 году Франклин Делано Рузвельт сказал, что с нетерпением жаждет увидеть мир, основанный на четырех основных свободах: на свободе слова, свободе вероисповедания, свободе от нищеты и свободе от страха. Наш собственный опыт говорит, что две последние свободы — свобода от нищеты и свобода от страха — являются предпосылками для всех остальных. Для половины населения земного шара, примерно трех миллиардов людей в разных концах света, живущих менее чем на два доллара в день, выборы — это в лучшем случае средство, а не цель; начальная точка, а не избавление.

Эти люди надеются не столько на «электо-кратию», сколько на базовые элементы, которые для большинства из нас означают нормальную жизнь — пища, кров, электричество, основная медико-санитарная помощь, образование для детей и возможность жить, не страдая от коррупции, насилия и деспотической власти. Если мы хотим завоевать умы и сердца жителей Каракаса, Джакарты, Найроби или Тегерана, то расставить урны для голосования будет недостаточно. Мы должны сделать так, чтобы законы, которые мы поддерживаем, способствовали, а не мешали чувству материальной и личной безопасности.

Они могут потребовать, чтобы мы посмотрели в зеркало. Например, Соединенные Штаты и другие развитые страны постоянно требуют того, чтобы развивающиеся страны убрали торговые барьеры, которые защищают их от конкуренции, хотя мы твердо защищаем свои собственные избирательные округа от экспортных товаров, которые помогли бы помочь бедным странам вылезти из нищеты. В своем рвении защитить патенты американских фармацевтических компаний мы мешали таким странам, как Бразилия, производить лекарства от СПИДа, которые могут спасти миллионы жизней. Под руководством Вашингтона Международный валютный фонд, созданный после Второй мировой войны для того, чтобы стать последним кредитором в критической ситуации, многократно вынуждал находящиеся в финансовом кризисе страны, такие как Индонезия, проводить болезненные реорганизации (резкое повышение процентных ставок, сокращение расходов правительства на социальные нужды, прекращение субсидирования ключевых отраслей), которые приносили большие трудности народам этих стран, — такую горькую пилюлю мы, американцы, себе вряд ли прописали бы.

Другая ветвь мировой финансовой системы, Всемирный банк, славится тем, что финансирует крупные дорогие проекты, которые приносят пользу высокооплачиваемым консультантам и местной элите с хорошими связями, но мало полезны простым гражданам — хотя как раз эти простые граждане и вынуждены расплачиваться, когда приходит время выплаты долга. Более того, страны, успешно развившиеся при действующей международной системе, иногда не обращают внимания на жесткие экономические предписания Вашингтона, проводят политику протекционизма, защищая зарождающиеся производства, и проводят агрессивную промышленную политику. МВФ и Всемирный банк должны признать, что нет единого рецепта, который подошел бы для развития любой страны.

Нет, конечно, ничего плохого в политике «строгой любви», когда дело касается предоставления бедным странам помощи в целях развития. Очень многие бедные страны обременены архаичным, даже феодальным, законодательством о собственности и о банках; в прошлом очень много программ иностранной помощи просто питали местные элиты, деньги перекачивались на счета в швейцарские банки. Более того, слишком долго международная политика предоставления помощи не учитывала ту ключевую роль, которую правопорядок и принципы прозрачности играют в развитии любой страны. В эпоху, когда международные финансовые сделки держатся на надежных, обеспеченных правовой санкцией контрактах, можно было бы ожидать, что взлет мирового бизнеса вызовет широкие правовые реформы. Но в действительности страны вроде Индии, Нигерии и Китая разработали две правовые системы — одну для иностранцев и элиты, а другую для простых людей.

А что касается стран вроде Сомали, Сьерра-Леоне или Конго, ну, там вообще едва ли есть закон. Иногда, когда я рассматриваю бедственное положение Африки — миллионы больны СПИДом, постоянные засухи и голод, диктатуры, всюду коррупция, жестокость двенадцатилетних партизан, которые ничего не знают, ничего не умеют, кроме как размахивать мачете и стрелять из АК-47, — я ловлю себя на том, что погружаюсь в скептицизм и отчаяние, пока не вспоминаю, что противомоскитная сетка, которая спасает от малярии, стоит три доллара, что программа добровольного тестирования на ВИЧ в Уганде значительно сократила скорость распространения заболевания при цене три или четыре доллара за тест, что всего лишь немного внимания — международная демонстрация силы или создание цивилизованных зон безопасности — могло бы остановить резню в Руанде и что такие сложные в прошлом страны, как Мозамбик, проделали значительные шаги в сторону реформы.

Франклин Делано Рузвельт был, безусловно, прав, когда сказал: «Как нация мы можем гордиться тем, что мы мягкосердечны; но мы не можем себе позволить быть мягкоголовыми». Надо понимать, что мы не можем помочь Африке, если Африка в конечном счете сама себе не хочет помочь. Однако в Африке имеются положительные тенденции, часто заслоненные удручающими новостями. Демократия распространяется. Во многих местах развивается экономика. Нам надо использовать эти проблески надежды и помочь приверженным этим идеям лидерам и гражданам во всех частях Африки построить лучшее будущее, к которому они, как и мы, так стремимся.

Более того, мы ошибаемся, если считаем, что, говоря словами одного комментатора, «должны научиться невозмутимо взирать на то, как другие умирают», и это нам обойдется без последствий. Беспорядок порождает беспорядок; бессердечие к другим имеет тенденцию распространиться и вылиться в бессердечие друг к другу. И если морального права нам не достаточно, чтобы оказывать влияние, когда континент рушится, то, конечно, есть и действенные причины, по которым Соединенным Штатам и их союзникам следует позаботиться о разваливающихся странах, которые не могут контролировать свою территорию, не могут бороться с эпидемиями, парализованы гражданской войной и зверствами. Это в такой период беззакония талибы захватили власть в Афганистане. Это в Судане, где сейчас медленно распространяется геноцид, Осама бин Ладен устроил на несколько лет свой лагерь. Это среди нищеты безымянных трущоб появится следующий вирус-убийца.

Конечно, мы не можем надеяться справиться с этими острыми проблемами в Африке или где-нибудь еще в одиночку. По этой причине нам следует тратить больше времени и денег для укрепления возможностей международных институтов, чтобы они могли выполнить часть этой работы. Но на самом деле мы делаем обратное. Уже много лет консерваторы в Соединенных Штатах извлекают политическую пользу из проблем в ООН: лицемерные резолюции, осуждающие один только Израиль, кафкианский абсурд с избранием в Комиссию ООН по правам человека таких стран, как Зимбабве и Ливия, и совсем недавние финансовые махинации, связанные с программой «Нефть в обмен на продовольствие».

Эти критики правы. На каждую хорошо работающую структуру ООН вроде ЮНИСЕФ приходится несколько, которые не делают ничего, кроме как проводят конференции, представляют отчеты и дают синекуры

третьестепенным чиновникам из разных стран. Но эти недостатки не должны служить аргументом для сокращения нашего участия в международных организациях и не должны служить оправданием для односторонних действий США. Чем лучше миротворческие силы ООН справляются с предотвращением гражданских войн и столкновений на национальной почве, тем меньше нам придется выступать полицейскими в регионах, где мы бы хотели иметь стабильность. Чем достовернее информация, предоставляемая Международным агентством по атомной энергии, тем больше вероятность того, что мы мобилизуем союзников против попыток стран-изгоев получить ядерное оружие. Чем больше возможностей у Всемирной организации здравоохранения, тем меньше вероятность того, что нам придется бороться с эпидемией гриппа у нас в стране. Ни одна страна не заинтересована так, как мы, в укреплении международных институтов — ведь поэтому мы вообще и выступали за их создание, и поэтому мы должны быть первыми в их совершенствовании.

Наконец, тем, кого раздражает перспектива сотрудничества с союзниками в решении насущных глобальных проблем, позвольте предложить хотя бы одну область, где мы можем действовать односторонне и усилить нашу позицию в мире, — это совершенствование нашей собственной демократии. Когда мы продолжаем расходовать миллиарды долларов на имеющие сомнительную ценность системы вооружения, не желая потратить деньги на защиту крайне уязвимых химических предприятий в крупных городах, становится все труднее убедить другие страны обезопасить их атомные электростанции. Когда мы держим подозреваемых неопределенный срок без суда или переправляем их под покровом ночи в страну, где, как знаем, их будут пытать, то ослабляем свою способность оказывать давление на деспотические режимы для защиты прав человека и законо-порядка. Когда мы, богатейшая страна на земле и потребители двадцати пяти процентов всего ископаемого топлива, не можем заставить себя хоть чуть-чуть повысить стандарт эффективности топлива, чтобы ослабить нашу зависимость от саудовских нефтяных месторождений и замедлить глобальное потепление, следует ожидать, что нам будет трудно убедить Китай не связываться с такими поставщиками нефти, как Иран или Судан, — и не стоит ожидать эффективного сотрудничества с их стороны в решении наших экологических проблем.

Это нежелание принимать трудные решения и действовать сообразно с собственными идеалами не просто подрывает доверие к США в глазах всего мира. Это подрывает доверие к правительству в глазах американцев. В конце концов, успех любого внешнеполитического курса будет определяться тем, как мы обойдемся с самым ценным ресурсом — американским народом и системой самоуправления, унаследованной от наших отцов-основателей. Мир опасен и сложен; работа по его переустройству будет долгой и трудной и потребует определенных жертв. Американский народ идет на такие жертвы, так как он прекрасно понимает стоящий перед ним выбор; способность на такие жертвы рождается уверенностью в нашей демократии. Франклин Делано Рузвельт понимал это, когда после атаки на Перл-Харбор сказал: «Правительство полагается на стойкость американского народа». Трумэн понимал это и поэтому работал с Дином Ачесоном над созданием Комитета по подготовке плана Маршалла, в который вошли бизнесмены, ученые, лидеры профсоюзного движения, представители духовенства и те, кто мог агитировать за этот план по всей стране. Похоже, это урок, который руководителям Америки надо выучить заново.

В Иерусалиме я смотрел на Старый город, на Купол Скалы, на Стену Плача и на Храм Гроба Господня, думал о двух тысячах лет войны и слухах о войне, которые стал символизировать этот клочок земли, и размышлял: возможно, напрасна вера в то, что конфликт этот может закончиться в наше время, или в то, что Америка, при всей ее мощи, может вызвать какие-то стойкие изменения в мировом развитии.

Но вскоре я отбросил такие мысли — это мысли старика. Какой бы трудной ни казалась работа, я убежден, что мы должны принести мир на Ближний Восток не только ради людей этого региона, но также и ради безопасности наших детей.

И возможно, судьба мира зависит не просто от событий на поле боя; возможно, она зависит в такой же степени от нашей работы там, где мир, но нужна помощь. Я помню сообщение новостей о цунами, обрушившемся на Восточную Азию в 2004 году, — города на западном побережье Индонезии оказались смыты, тысячи людей унесены в море. И тогда, в последующие недели, я с гордостью увидел, как американцы послали больше миллиарда долларов помощи, собранных из частных пожертвований, и как военные корабли США отправили тысячи моряков для содействия в спасении и восстановлении. Согласно газетным сообщениям, шестьдесят пять процентов опрошенных индонезийцев сказали, что благодаря этой помощи у них сложилось более доброжелательное отношение к США. Я не настолько наивен, чтобы верить в то, что один эпизод после той катастрофы может стереть десятилетия недоверия.

Однако это начало.

ГЛАВА 9 Семья

К началу второго года работы в Сенате в моей жизни установился какой-то ритм. Я покидал Чикаго в понедельник вечером или во вторник утром, в зависимости от расписания голосований. Кроме ежедневного посещения спортивного зала и редкого обеда или ужина с другом, остальные три дня в Сенате были заняты рядом предсказуемых действий — работа в комитете, голосование, совещание за обедом с членами партии, заявления, речи, фотографирование со стажерами, мероприятия по сбору средств, ответы на телефонные звонки, разбор корреспонденции, изучение законопроектов, подготовка статей к публикации, запись подкастов, присутствие на конференциях, встреча с избирателями и посещение бесконечного числа собраний. В четверг во второй половине дня мы узнаем из курилки, когда будет последнее голосование, и в назначенный час я становлюсь в очередь вместе с коллегами, чтобы отдать свой голос, а потом спешу по ступеням Капитолия в надежде успеть на рейс, который доставит меня в Чикаго до того, как девочки лягут спать.

Несмотря на лихорадочное расписание, работа мне нравится, хотя иногда и вызывает чувство неудовлетворенности. Вопреки общепринятому мнению в Сенате в течение года поименное голосование проходит только по нескольким важным законопроектам, и практически ни один из них не поддерживается представителями партии

меньшинства. В результате большая часть важных инициатив — формирование инновационных округов средних школ, план помощи американским автомобилестроителям при оплате медико-санитарного обслуживания бывших работников в обмен на повышение стандартов экономии топлива, расширение программы грантов Пелла для помощи студентам с низким доходом в оплате обучения — проводится в комитетах.

С другой стороны, благодаря огромной работе, проделанной моими помощниками, мне удалось провести значительное количество поправок. Мы смогли добыть средства для бездомных ветеранов, обеспечили налоговые льготы для заправочных станций, продающих топливо E85. Мы добыли средства на то, чтобы помочь Всемирной организации здравоохранения проводить наблюдения и вовремя предотвращать возможность эпидемии птичьего гриппа. Мы внесли поправку, не допускающую заключения контрактов вне конкурса на ликвидацию последствий урагана «Катрина», и это означает, что фактически больше денег поступит непосредственно пострадавшим от трагедии. Ни одна из этих поправок не преобразует страну, но мне было приятно знать, что каждая из них немного помогла кому-то или сделала закон чуть экономнее, ответственнее или справедливее.

Однажды в феврале я был особенно доволен, так как только что закончились слушания поддерживаемого мной и Диком Лугаром законопроекта, который был направлен на ограничение распространения вооружения и нелегальной торговли оружием. Поскольку Дик был в Сенате не только ведущим специалистом по вопросам распространения вооружения, но также и председателем комитета Сената по международным отношениям, перспективы у законопроекта казались многообещающими. Желая поделиться хорошими известиями, я позвонил Мишель из своего офиса в Вашингтоне и начал объяснять важность законопроекта — начал говорить о том, как переносные зенитные ракетные комплексы могут угрожать коммерческим перелетам, если попадут не в те руки, как запасы стрелкового оружия, оставшиеся со времен холодной войны, продолжают питать конфликты в разных частях земного шара. Мишель прервала меня:

— У нас муравьи.

— А?

— Я нашла в кухне муравьев. И наверху в ванной.

— Понятно...

— Надо, чтобы ты завтра по дороге домой купил ловушки для муравьев. Я бы сама их купила, но мне еще вести девочек на прием к врачу после школы. Сможешь их купить?

— Ладно. Ловушки для муравьев.

— Ловушки для муравьев. Не забудь, ладно? И купи несколько. Ну, мне надо идти на встречу. Люблю тебя.

Я повесил трубку и подумал, покупают ли после работы по дороге домой ловушки для муравьев Тед Кеннеди и Джон Маккейн.

Большинство из тех, кто знакомится с моей женой, быстро приходят к выводу, что она замечательная. В этом они правы — она умная, веселая и просто очаровательная. Она еще и красивая, но ее красота не та, что отпугивает мужчин и отталкивает женщин; это естественная красота матери и занятого работой профессионала, а не отфото-шопленный образ, какой мы видим на обложках глянцевых журналов. Часто, после того как услышат, как она говорит на каком-нибудь мероприятии, или поработав с ней над каким-либо проектом, люди подходят ко мне и говорят что-нибудь вроде: «Знаешь, о тебе у меня очень хорошее мнение, Барак, но твоя жена... просто супер!» Я киваю, понимая, что если бы она была моим конкурентом на выборах, она бы без особого труда победила.

К счастью для меня, Мишель никогда не станет заниматься политикой. «У меня терпения не хватит», — отвечает она тем, кто спрашивает. И как всегда, она говорит правду.

Я познакомился с Мишель летом 1988 года, когда мы оба работали в Чикаго в крупной юридической компании «Сидли Остин». Хотя Мишель на три года младше меня, она была уже практикующим юристом, так как поступила на юридический факультет Гарвардского университета сразу после колледжа. Я тогда окончил первый курс юридического факультета и был нанят в качестве практиканта.

Это был трудный переходный период в моей жизни. Я поступил на юридический факультет, три года проработав в социальной сфере, и хотя мне нравилось то, что я учил, я по-прежнему сомневался в правильности своего выбора. В душе я боялся, что это означает отречение от юношеских идеалов, признание жестокой реальности денег и власти — мира такого, какой он есть, а не такого, каким он должен быть.

Сама идея работы в крупной юридической фирме, так близко и одновременно так далеко от бедного района, где все еще работали мои друзья, только усиливала эти опасения. Но так как долги по студенческим кредитам быстро росли, мне нельзя было отказываться от денег, которые предлагала «Сидли» за три месяца работы. Так что, сняв самую дешевую квартиру, какую только смог найти, и купив три первых в моей жизни костюма и пару ботинок, которые оказались малы на полразмера и из-за которых следующие девять недель я просто хромал, я в начале июля одним дождливым утром пришел в фирму и был направлен в кабинет молодого адвоката, которому поручили руководить моей практикой.

Я не помню подробностей того первого разговора с Мишель. Помню, что она оказалась высокой — на каблуках почти моего роста — и симпатичной, с дружелюбной манерой профессионала, которая сочеталась с ее английским костюмом и блузкой. Она объяснила, как в фирме назначается работа, характер различных групп практики и то, как нужно учитывать подлежащие оплате клиентом часы. Показав мне мой кабинет, она провела экскурсию по библиотеке и передала меня одному из партнеров, сказав, что встретится со мной в обед.

Позже Мишель призналась мне, что была приятно удивлена, когда я вошел к ней в кабинет; на снимке, который я до этого прислал для анкеты фирмы, нос у меня казался великоват (еще огромнее, чем на самом деле, как могла бы она сказать), и она очень скептично отнеслась к словам секретарш, видевших меня во время собеседования и сказавших ей, что я симпатичный: «Я решила, что их просто поразил черный в костюме и с работой». Но если я и произвел впечатление на Мишель, она никак не дала этого понять, когда мы пошли на обед. Я узнал, что она выросла в Саутсайде в небольшом одноэтажном доме к северу от района, где я работал организатором. Отец ее трудился машинистом на городской насосной станции; мать была домохозяйкой, пока дети не

выросли, и теперь работала секретаршей в банке. Мишель училась в начальной школе Брин-Мор, перешла в специализированную школу Уитни Янг и затем последовала за своим братом, известным баскетболистом, в Принстон. В «Сидли» она работала в отделе защиты интеллектуальной собственности и специализировалась на индустрии развлечений; в какой-то момент, как она сказала, ей, возможно, пришлось бы перебраться в Лос-Анджелес или Нью-Йорк, для того чтобы продолжить карьеру.

О, в тот день Мишель была полна планов, занята ускоренным продвижением, и у нее не было времени, как она выразилась, чтобы отвлекаться — особенно на мужчин. Но она умела смеяться, весело и легко, и, как я заметил, не особо спешила назад на работу. И было кое-что еще: огонек в больших темных глазах, мелькавший каждый раз, когда я на нее смотрел, тень неуверенности, словно глубоко в душе она понимала, насколько все на самом деле хрупко и что, если она однажды расслабится, даже на мгновение, все ее планы могут тут же рухнуть. Этот легкий намек на уязвимость тронул меня.

Последующие несколько недель мы виделись каждый день: в юридической библиотеке, в кафетерии или во время многочисленных пикников, которые юридические фирмы устраивают для своих практикантов, дабы убедить их в том, что их занятие юриспруденцией не будет постоянным, то есть не будет состоять из бесконечных часов изучения документов. Мишель сводила меня на несколько вечеринок, тактично не обращая внимания на мой небогатый гардероб, и даже попыталась познакомить меня с несколькими своими друзьями. Однако она отказалась пойти на настоящее свидание. Это неприлично, сказала она, так как она мой наставник.

— Это плохая отговорка, — сказал я ей. — Да и в чем ты меня наставляешь? Ты показываешь мне, как работает копировальная машина. Ты говоришь, в какие рестораны зайти. Не думай, что руководство сочтет одно свидание серьезным нарушением трудовой этики.

Она помотала головой:

— Извини.

— Ладно, я уволюсь. Как тогда? Ты мой наставник. Скажи, с кем мне надо поговорить.

В конце концов я ее уговорил. После корпоративного пикника она подвезла меня домой, и я предложил купить ей стаканчик мороженого в «Баскин-Роббинс» на другой стороне улицы. Мы сидели на поребрике душным жарким вечером, ели мороженое, и я рассказывал ей о том, как работал подростком в «Баскин-Роббинс» и как было трудно выглядеть круто в коричневом фартуке и шапочке. Она сказала, что в детстве два или три года она ничего не желала есть, кроме арахисового масла и желе. Я сказал, что хотел бы познакомиться с ее семьей. Она ответила, что тоже хочет меня с ней познакомить.

Я спросил, можно ли ее поцеловать. У нее был вкус шоколада.

Остаток лета мы провели вместе. Я рассказывал ей о своей предыдущей работе, о жизни в Индонезии и о том, как можно кататься на гребне волны без доски. Она рассказала мне о друзьях детства, о поездке в Париж, когда училась в средней школе, и о своих любимых песнях Стиви Уандера.

Но понимать Мишель я начал только после того, как познакомился с ее семьей. Когда я пришел домой к Робинсонам, мне показалось, что я очутился на съемочной площадке сериала «Предоставьте это Биверу». Тут был Фрейзер, славный, добродушный отец, который никогда не пропускал ни одного рабочего дня и ни одной игры своего сына. Тут была Мэриан, симпатичная, благоразумная мать, которая пекла торты ко дню рождения, поддерживала в доме порядок и до этого работала на общественных началах в школе, чтобы дети ее вели себя хорошо, а учителя делали то, что им полагается. Там был Крейг, известный баскетболист, высокий, дружелюбный, любезный и веселый, который работал менеджером в инвестиционном банке, но мечтал перейти однажды на тренерскую работу. И там всюду были дяди, тети и их дети, которые заходили, чтобы посидеть за кухонным столом и поесть так, что чуть не лопались, рассказать глупые истории, послушать старые дедушкины пластинки с джазом и смеяться допоздна.

Единственное, чего недоставало, так это собаки. Мэриан не хотела, чтобы собака устроила в доме погром.

Что подчеркивало этот образ семейного счастья, так это то, что Робинсонам пришлось пережить трудности, которые редко можно увидеть по телевизору в прайм-тайм. Были, конечно, обычные проблемы из-за расовой принадлежности: ограниченные возможности родителей Мишель, росших в Чикаго в пятидесятые и шестидесятые годы; деятельность агентов недвижимости и панические сплетни, из-за которых белые семьи покинули район; дополнительная энергия, необходимая черным родителям, для того чтобы компенсировать более низкий доход, более неспокойные улицы, недофинансируемые детские площадки и безразличие школ.

Но в семье Робинсонов была и особая трагедия. В тридцать лет, когда он был в расцвете сил, отцу Мишель поставили диагноз «рассеянный склероз». Последующие двадцать пять лет, в течение которых состояние его постоянно ухудшалось, он выполнял свои семейные обязанности без какой бы то ни было жалости к себе, утром, чтобы успеть на работу, выходил на час раньше, через силу делал все дающиеся с трудом физические действия — от вождения автомобиля до застегивания рубашки, — улыбаясь и шутя переходил — вначале хромал, затем стал пользоваться двумя тростями, и на его лысеющей голове выступали капли пота — через поле, чтобы посмотреть, как играет его сын, или через гостиную, чтобы поцеловать дочь.

Когда мы поженились, Мишель помогла мне понять, какую скрытую жертву пришлось принести семье из-за болезни отца; какое бремя была вынуждена нести мать Мишель; как четко очерчена была их совместная жизнь, даже простую загородную прогулку приходилось тщательно планировать, чтобы избежать проблем или неловкости; какой страшно беспорядочной была жизнь за улыбками и смехом.

Но тогда я видел только радостную сторону семьи Робинсонов. Для такого, как я, который много времени провел, переезжая с места на место, который почти не знал своего отца и генеалогическое древо которого разбросано по всему свету, дом, построенный Фрейзером и Мэриан Робинсон для себя и своих детей вызывал неожиданную тоску по стабильности. Так же как и Мишель видела во мне жизнь, полную приключений, опасности, путешествий в экзотические страны, большую широту, чем ту, что она до этого себе позволяла.

Через шесть месяцев после того, как мы с Мишель познакомились, отец ее неожиданно умер в результате осложнений после операции на почке. Я прилетел в Чикаго и стоял у его могилы, а Мишель стояла рядом,

положив голову мне на плечо. Когда опускали гроб, я пообещал Фрейзеру Робинсону заботиться о его девочке. Я понимал, что каким-то невыразимым, еще очень неясным образом она и я становились одной семьей.

Сейчас много говорят об упадке американской семьи. Сторонники социального консерватизма утверждают, что традиционная семья подвергается постоянной атаке со стороны Голливуда и гей-парадов. Либералы указывают на экономические факторы — от замедления роста зарплат до отсутствия удовлетворительных дневных детских учреждений, — которые оказывают все большее давление на семью. Наша массовая культура подпитывает тревогу рассказами о женщинах, обреченных на постоянное одиночество, мужчинах, не желающих брать на себя долгосрочную ответственность, и подростках, вовлеченных в бесконечные сексуальные эскапады. Нет ничего устоявшегося, в отличие от того, как было раньше; наши роли и отношения кажутся хаотичными.

Учитывая, что полемика эта затянулась, может быть, полезно отойти в сторону и вспомнить, что институт брака не собирается исчезнуть в скором времени. Хотя правда то, что показатель количества браков с пятидесятых годов постоянно уменьшается, частично это объясняется тем, что все больше американцев откладывают вступление в брак, чтобы получить образование или сделать карьеру; к сорока пяти годам восемьдесят девять процентов женщин и восемьдесят три процента мужчин хотя бы раз связывали себя узами брака. Шестьдесят семь процентов американских семей по-прежнему образованы состоящими в браке парами, и подавляющее большинство американцев по-прежнему считают брак лучшим основанием для личной близости, экономической стабильности и воспитания детей.

Однако нельзя отрицать того, что за последние пятьдесят лет характер семьи изменился. Хотя показатель количества разводов снизился на двадцать один процент после своего пика в конце семидесятых и начале восьмидесятых, половина из всех первых браков по-прежнему заканчивается разводом. В сравнении с нашими дедушками и бабушками мы более терпимы к добрачным половым связям, более склонны жить в сожительстве или в одиночку. Мы также более склонны воспитывать детей в нетрадиционной семье; шестьдесят процентов разводов затрагивает детей, тридцать три процента всех детей рождается вне брака, и тридцать четыре процента детей живут не со своими настоящими отцами.

Эти тенденции особенно сильны среди афроамериканцев, и вполне можно сказать, что афроамериканская ну-клеарная семья находится на грани краха. С 1950 года показатель количества браков для черных женщин стремительно упал с шестидесяти двух до тридцати шести процентов. Между 1960 и 1995 годами число афроамериканских детей, живущих с двумя состоящими в браке родителями, уменьшилось более чем в два раза; сегодня пятьдесят четыре процента всех афроамериканских детей живут в семьях с одним родителем, в то время как у белых детей этот показатель составляет двадцать три процента.

На взрослых, по крайней мере, воздействие этих изменений различно. Исследования указывают на то, что в среднем у пар, состоящих в браке, лучше здоровье, выше достаток и они более счастливы, никто, однако, не утверждает, что мужчина или женщина получает пользу, продолжая жить в неудачном или допускающем насилие браке. Конечно, решение все большего числа афроамериканцев отложить брак имеет смысл; дело не только в том, что современная экономика требует больше времени на обучение, но исследования показывают, что пары, которые подождали со вступлением в брак примерно до тридцатилетнего возраста, имеют большую вероятность сохранить брак, чем те, кто вступил в него молодыми.

Но, каково бы ни было воздействие на взрослых, эти тенденции не так хороши для наших детей. Многие одинокие матери — включая мою мать — проделывают героическую роботу во имя своих детей. И все же у детей, живущих с одинокими матерями, в пять раз больше вероятность быть бедными, чем у детей, живущих в полной семье. У детей из семей с одним родителем больше вероятность оставить школу и стать в раннем возрасте родителями, даже без учета фактора дохода. И свидетельства также предполагают, что в среднем дети, которые живут со своими настоящими матерью и отцом, учатся лучше, чем те, что живут в приемных семьях или с родителями, не заключившими брак.

В свете этих фактов разумной целью будет укрепление брака для тех, кто его предпочитает, и препятствование возникновению нежелательных беременностей вне брака. Например, большинство согласится, что ни федеральные программы социального обеспечения, ни Налоговый кодекс не должны ставить в невыгодное положение пары, состоящие в браке; эти аспекты реформы системы социального обеспечения, проведенные при Клинтоне, и те элементы налогового плана Буша, которые снижают тариф на брак, пользуются сильной поддержкой обеих партий.

То же самое относится к предотвращению подростковой беременности. Все согласны с тем, что подростковая беременность может создать самые разные проблемы и для матери, и для ребенка. С 1990 года показатель подростковой беременности упал на двадцать восемь процентов, что хорошо с любой точки зрения. Но на подростков по-прежнему приходится почти четверть всех рожденных вне брака детей, и у женщин, родивших в подростковом возрасте, больше вероятность того, что и впоследствии они родят детей вне брака. Программы, проводимые по месту жительства, которые зарекомендовали себя в предотвращении нежелательных беременностей — и за счет побуждения к половому воздержанию, и за счет содействия правильному использованию противозачаточных средств, — заслуживают широкой поддержки.

Наконец, предварительные исследования показывают, что семинары по семейной жизни могут оказать большую помощь в том, чтобы сохранить брак и побудить пары, живущие вместе, образовать более долговечный союз. То, что следует расширить доступ к подобным услугам для пар с низким доходом, возможно, в комплексе с профессиональной подготовкой и стажировкой, медицинским обслуживанием и другими уже имеющимися услугами,— с этим наверняка согласятся все.

Но для многих социальных консерваторов этого подхода с позиций здравого смысла не достаточно. Они хотят вернуть прошлое, в котором половые отношения вне брака влекли наказание и позор, получить развод было намного труднее, а брак предлагал не только личную реализацию, но и четко очерченные социальные роли для мужчин и женщин. По их мнению, любая политическая линия правительства, которая якобы вознаграждает то, что они считают аморальным поведением, или просто выражает к этому нейтральное отношение —

предоставление молодым людям средств предупреждения беременности, аборты, социальная помощь матерям-одиночкам или юридическое признание однополых союзов, — по своей природе принижает ценность института брака. Как они утверждают, такие политические линии подводят нас еще на один шаг к дивному новому миру, в котором будут стерты половые различия, секс будет лишь формой развлечения, брак можно будет легко расторгнуть, материнство станет обузой, а сама цивилизация будет стоять на песке.

Я понимаю стремление внести какой-то порядок в культуру, находящуюся в постоянном движении. Я, конечно, ценю желание родителей оградить детей от влияния ценностей, которые эти родители считают вредными; я часто чувствую то же самое, когда слышу слова песен по радио.

Но в целом я мало симпатизирую тем, кто хочет задействовать правительство, чтобы обеспечить соблюдение норм половой морали. Как и большинство американцев, считаю вопросы секса, вступления в брак и рождения детей очень личными — находящимися в самом центре нашей системы личной свободы. Там, где личные решения могут нанести значительный вред другим — что истинно в случае плохого или жестокого обращения с детьми, инцеста, бигамии, домашнего насилия или неуплаты алиментов на ребенка, — общество имеет право и обязано вступиться. (Убежденные в том, что зародыш является личностью, к этой категории добавят, наверное, и аборт.) В остальных случаях я не заинтересован в том, чтобы президент, Конгресс или правительственная бюрократия регламентировали то, что происходит у американцев в спальне.

Более того, я не думаю, что мы укрепляем семью, когда запугиванием и силой заставляем людей вступать в отношения, которые для них, по нашему мнению, подходят лучше всего, или когда наказываем тех, кто не соответствует нашим представлениям о половом при.нічий. Я хочу способствовать тому, чтобы молодые люди проявляли большее уважение к сексу и интимным отношениям, и приветствую родителей, приходы и местные общественные программы, которые учат этому. Но я не хочу обрекать девушку-подростка на жизнь, полную страданий из-за недоступности средств контрацепции. Я хочу, чтобы пары поняли ценность обязательств и жертв, связанных с браком. Но я не хочу использовать силу закона, чтобы удерживать пары вместе, независимо от их личных обстоятельств.

Возможно, я считаю, что пути человеческого сердца слишком разнообразны, а моя собственная жизнь слишком несовершенна, чтобы я мог судить мораль других. Но я знаю, что за четырнадцать лет нашего брака у нас с Мишель ни разу не возникло спора из-за того, что другие люди делают в своей личной жизни.

То, о чем мы все-таки спорим — постоянно, — это как совместить работу и семью так, чтобы это было справедливо в отношении Мишель и хорошо для наших детей. В этом мы не одиноки. В шестидесятые и начале семидесятых годов такая семья, как та, где выросла Мишель, была нормой — более чем в семидесяти процентах семей мать сидела дома, а отец был единственным кормильцем.

Сегодня соотношение поменялось на противоположное. Семьдесят процентов семей возглавляется либо двумя работающими родителями, либо работающим родителем-одиночкой. В результате получилось то, что мой советник по вопросам стратегии и специалист по вопросам работы и семьи Карен Корнблу называет «семьей жонглеров», в которой родители с трудом пытаются оплатить счета, присматривают за детьми, поддерживают домашнее хозяйство и собственные отношения. Такое постоянное жонглирование оказывает негативное влияние на семейную жизнь. Карен объясняла это, когда была руководителем программы «Работа и семья» при организации «Нью-Америка фаундейшн», и сообщила перед сенатской подкомиссией по делам детей и семьи следующее:

Сегодня у американцев в неделю на двадцать два часа меньше, чтобы проводить время с детьми, чем в 1969 году. Каждый день миллионы детей оставляются в нелицензи-рованных детских дневных учреждениях или дома с телевизором вместо няньки. Работающие матери ежедневно теряют почти час сна, пытаясь со всем справиться. Последние данные показывают, что у родителей детей школьного возраста сильно проявляются признаки стресса — стресса, который влияет на производительность их работы, — когда у них негибкое рабочее расписание и нет надежного места, где можно оставить ребенка после школы.

Знакомые слова?

Многие социальные консерваторы дают понять, что отток женщин из дома на работу является прямым следствием феминистской идеологии, и, следовательно, ситуация может быть восстановлена, если женщины одумаются и вернутся к своей традиционной роли домохозяек. Это правда, что идеи о равенстве женщин сыграли решительную роль в трансформации занятости; в понимании большинства американцев возможность для женщин делать карьеру, добиться материальной независимости и реализовать свои таланты наравне с мужчинами является одним из великих достижений современной жизни.

Но для средней американки решение пойти на работу - это не просто смена отношения. Это стремление свести концы с концами.

Рассмотрим факты. За последние тридцать лет средний заработок американских мужчин вырос менее чем на один процент с учетом инфляции. В то же время цены на все, от жилья до медицинского обслуживания и образования, постоянно росли. Как раз зарплата мамы и не дала большой части американских семей выпасть из среднего класса. В своей книге «Ловушка двойного дохода» Элизабет Уоррен и Амелия Тьяги отмечают, что приносимый в дом матерями дополнительный доход идет не на предметы роскоши. Почти весь он идет на то, что семья считает вложением в будущее детей, - дошкольное образование, плату за обучение в колледже и, прежде всего, за жилье в безопасном районе с хорошей школой. Действительно, по причине этих постоянных затрат и дополнительных расходов из-за того, что мать работает (в частности, расходов на дневное детское учреждение и второй автомобиль), средняя семья с двумя работающими родителями имеет меньший дискреционный доход и меньшую материальную стабильность, чем имела тридцать лет назад семья с одним работающим родителем.

Так может ли средняя семья вернуться к жизни на доход одного члена? Нет, когда все остальные семьи в районе имеют два источника дохода и предлагают цены на жилье, школы и колледж. Уоррен и Тьяги показывают, что сегодня средняя семья с единственным кормильцем, которая попыталась бы сохранить стиль жизни среднего класса, имела бы дискреционный доход на шестьдесят процентов меньше, чем такая же семья в семидесятые

годы. Другими словами, для большинства семей иметь маму домохозяйкой означает жить в менее безопасном районе и отправить детей учиться в менее конкурентоспособную школу.

Не все американцы готовы на такой выбор. Они пытаются делать максимум при имеющихся обстоятельствах, понимая, что такую семью, в какой они выросли, - такую семью, в какой воспитывали своих детей Фрейзер и Мэриан Робинсон, - содержать стало намного сложнее.

К этой новой реальности пришлось приспособиться и женщинам, и мужчинам. Но с Мишель трудно поспорить, когда она утверждает, что тяготы современной жизни на женщину падают в большей степени.

В первые несколько лет нашего брака мы с Мишель прошли через обычное привыкание, через которое проходят все пары: умение читать мысли друг друга, принятие чуждых причуд и привычек. Мишель любила вставать рано и после десяти вечера глаза ее слипались. Я же ночная сова и мог быть не в духе (противным, как говорит Мишель) в первые полчаса после того, как встал с кровати. Частично из-за того, что я работал над своей первой книгой, и, вероятно, оттого что я долго был единственным ребенком в семье и часто проводил вечера, спрятавшись у себя в комнате, то, что я считал нормой, часто заставляло Мишель чувствовать себя одинокой. Я постоянно после завтрака оставлял масло на столе и забывал завязать пакет с хлебом; Мишель же просто гребла квитанции за нарушение правил парковки.

Но в основном те годы были полны обычных удовольствий — визиты в кинотеатры, обеды с друзьями, иногда посещение концертов. Мы оба много работали: я был юристом в одной небольшой фирме, занимающейся гражданскими правами, и начал преподавать на юридическом факультете Чикагского университета, а Мишель решила оставить свою юридическую практику, чтобы вначале пойти на работу в чикагский Департамент планирования, а затем руководить чикагским отделением национальной программы под названием «Паблик Эллайз». Время, которое мы проводили вместе, стало еще более сжатым, когда я выставил свою кандидатуру в законодательное собрание штата, но, несмотря на мое длительное отсутствие и ее общую неприязнь к политике, Мишель поддержала это решение. «Я понимаю, тебе очень этого хочется», — говорила она мне. Вечерами, когда я был в Спрингфилде, мы разговаривали по телефону, смеялись, делились радостями и печалями дней нашей разлуки, и я засыпал, уверенный в нашей любви.

Затем родилась Малия, 4 июля, в День независимости США, такая спокойная и такая красивая, с большими завораживающими глазами, которые, казалось, начали изучать мир, как только открылись. Малия появилась в идеальное для нас обоих время: так как я был не на сессии и преподавать летом мне было не нужно, я каждый вечер мог проводить дома; в то время как Мишель решила пойти на работу с неполным рабочим днем в Чикагский университет, чтобы больше времени проводить с ребенком, и эта новая работа начиналась только в октябре. Три волшебных месяца мы оба волновались, суетились вокруг нашего новорожденного малыша, проверяли, дышит ли она, заставляли ее улыбнуться, пели ей песни и фотографировали столько раз, что задумались, а не портим ли ей зрение. Разность наших биоритмов неожиданно оказалась полезной: пока Мишель наслаждалась заслуженным сном, я, не ложась до часу или двух, менял пеленки, грел грудное молоко, укачивал дочку на руках и думал, что ей может сниться.

Но когда настала осень — у меня снова начались занятия, снова началась сессия законодательного собрания, а Мишель вернулась на работу — наши отношения стали не такими безоблачными. Я часто отсутствовал по три дня подряд, и даже когда я был в Чикаго, мне надо было присутствовать на вечерних собраниях, проверять работы студентов или писать письма. Мишель обнаружила, что неполный рабочий день имел странную тенденцию разрастаться. Мы нашли замечательную надомную сиделку, чтобы она присматривала за Малией, пока мы на работе, но так как теперь нам надо было платить сиделке за полный рабочий день, начались трудности с деньгами.

Нас мучили усталость и стресс, у нас не было времени ни на разговоры, ни на романтические отношения. Когда я начал свою неудачную предвыборную кампанию, выставив свою кандидатуру на выборах в Конгресс, Мишель не стала делать вид, что довольна моим решением. То, что я не наводил после себя порядок на кухне, теперь умиляло меньше. Когда я нагибался утром, чтобы поцеловать Мишель на прощание, в ответ меня лишь чмокали в щеку. Когда родилась Саша — такая же красивая и такая же спокойная, как и ее сестра, — жена уже едва сдерживала злость.

— Ты только о себе думаешь, — говорила она мне. — Я не подозревала, что семьей мне придется заниматься одной.

Меня уязвили такие обвинения, я решил, что она несправедлива. Я ведь не пировал каждый вечер с друзьями. От Мишель я требовал мало — я не ожидал, что она будет штопать мне носки или накрывать ужин к моему приходу. Каждый раз, когда мог, я помогал с детьми. В ответ я просил лишь немного чуткости. Но вместо этого я получал бесконечные обсуждения того, как вести домашнее хозяйство, длинные списки того, что мне надо сделать или что я забыл сделать, и общее кислое отношение. Я напоминал Мишель, что по сравнению с большинством семей мы невероятно счастливы. Я напоминал ей также, что, несмотря на все мои недостатки, я люблю ее и девочек больше всего на свете. Я считал, что моей любви должно быть достаточно. Жаловаться у нее нет причин.

Только поразмыслив, после того как те трудные годы миновали и дети пошли в школу, я начал понимать, что приходилось испытывать Мишель в то время — все типичные трудности работающей матери. Как бы я ни считал себя сторонником эмансипации — сколько бы я ни говорил себе, что Мишель и я равные партнеры и что ее мечты и стремления так же важны, как и мои, — на самом деле, когда появились дети, приспосабливаться пришлось ей, а не мне. Естественно, я помогал, но это всегда было на моих условиях, по моему расписанию. В то же время это ей пришлось приостановить карьерный рост. Это ей пришлось заботиться о том, чтобы дети были накормлены и каждый вечер выкупаны. Если Малия или Саша заболевала или сиделка не являлась, это ей очень часто приходилось звонить на работу и отменять встречу.

Мишель было тяжело не только из-за того, что ей приходилось разрываться между детьми и работой. Ей было тяжело еще и из-за того, что, по ее мнению, оба дела она делала недостаточно хорошо. Это было, конечно,

неправда; работодатели ее любили, и все замечали, какая она хорошая мать. Но я понял, что в ее представлении два образа конфликтовали — желание быть такой женщиной, какой была ее мать, сильной, надежной, хорошей хозяйкой и всегда находящейся рядом с детьми, и желание выделиться в своей профессии, оставить след в мире и претворить в жизнь все те планы, какие были у нее в первый день нашей встречи.

В конце концов, я должен отдать должное силе Мишель — ее готовности справиться с этими трудностями и пойти на жертвы ради меня и девочек — за то, что мы пережили те трудные времена. Но в нашем распоряжении были еще ресурсы, которых нет у многих американских семей. Во-первых, наш с Мишель профессиональный статус означал, что мы в случае непредвиденных обстоятельств могли изменить свое расписание без риска потерять работу. Пятьдесят семь процентов американских работников не имеют такой роскоши; более того, большинство из них могут взять отгул для присмотра за ребенком только за свой счет или в счет отпуска. Для родителей, которые все-таки пытаются иметь собственное расписание, гибкость часто означает работу с неполным рабочим днем без возможности карьерного роста и почти или совершенно без дополнительных выплат.

Также мы с Мишель имели достаточный доход для того, чтобы оплатить все услуги, которые облегчают нагрузку на семью с работающими супругами: надежное детское учреждение, при необходимости дополнительные услуги сиделки, обеды на вынос, когда у нас не было ни времени, ни сил готовить, домработница раз в неделю, чтобы прибрать в доме, частное дошкольное заведение и летний лагерь, когда дети подросли. Для большинства американских семей такая помощь недоступна по материальным причинам. Плата за детские учреждения особенно непомерна; Соединенные Штаты практически единственная западная страна, не предоставляющая всем своим работающим гражданам услуг качественных субсидируемых правительством дневных детских учреждений.

Наконец, у нас была моя теща, которая живет всего в пятнадцати минутах от нас, в том же доме, в котором воспитывалась Мишель. Мэриан под семьдесят, но выглядит она на десять лет моложе, и в прошлом году, когда Мишель вернулась на полный рабочий день, Мэриан решила сократить часы работы в банке, чтобы забирать девочек из школы и присматривать за ними каждый день. Для многих американских семей такая помощь просто недоступна; более того, во многих семьях ситуация обратная — кому-то в семье, кроме выполнения других семейных обязанностей, приходится ухаживать за престарелым родителем.

Конечно же, федеральное правительство не может обеспечить каждую семью замечательной, здоровой, работающей не полный день тещей, живущей поблизости. Но если мы всерьез подходим к семейным ценностям, то можем составить программы, которые немного облегчат жонглирование работой и воспитанием детей. Мы можем начать с создания качественных дневных детских учреждений, доступных любой семье, которая в этом нуждается. В отличие от европейских стран в Соединенных Штатах дневной уход за детьми — мероприятие бессистемное. Улучшение аттестации и обучения тех, кто занимается дневным уходом за детьми, расширение налоговых зачетов, выплачиваемых за ребенка, на федеральном уровне и на уровне штата и субсидии со скользящей шкалой для семей, в них нуждающихся, — все это может обеспечить родителям и с низким доходом, и принадлежащим к среднему классу спокойствие в течение рабочего дня — и быть полезно работодателям вследствие сокращения числа прогулов.

Настало также время модернизировать наши школы — не только ради работающих родителей, но и для того, чтобы помочь подготовить наших детей к жизни в мире с усилившейся конкуренцией. Бесчисленные исследования подтверждают пользу сильной программы дошкольного образования, поэтому их предпочитают даже семьи, в которых один из родителей остается дома. То же относится и к продленному дню, летней школе и проводимым после уроков программам. Обеспечение всем детям доступа к этим преимуществам будет стоить денег, но, поскольку это часть более широкой реформы школьного образования, такую цену мы как общество должны быть готовы заплатить.

Прежде всего нам надо добиться того, чтобы работодатели сделали рабочее расписание более гибким. Администрация Клинтона шагнула в этом направлении, издав Закон о медицинском отпуске и отпуске по семейным обстоятельствам, но поскольку этот закон предусматривает только неоплачиваемый отпуск и относится только к компаниям, имеющим более пятидесяти работников, большинство американских рабочих не могут воспользоваться его преимуществом. И хотя все другие богатые страны, за исключением одной, в какой-то форме предоставляют оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, деловые круги сильно сопротивляются введению обязательного оплачиваемого отпуска, отчасти из-за беспокойства о том, как это скажется на мелких предприятиях.

Применив творческий подход, мы наверняка выйдем из этого тупика. Калифорния недавно начала оплачивать отпуск из фонда страхования по нетрудоспособности, так что теперь затраты несет не только один работодатель.

Мы можем также предоставить родителям гибкий график для их ежедневных потребностей. Крупные компании уже имеют программы гибкого рабочего графика и отмечают повышение морального духа сотрудников и снижение текучести рабочей силы. Великобритания по-новому подошла к этой проблеме — в рамках очень популярной кампании «Равновесие труда и жизни» родители детей до шести лет имеют право подать работодателю письменное требование изменить их рабочий график. Работодатели не обязаны удовлетворять это требование, но они обязаны встретиться с работником для рассмотрения этого вопроса; пока только четверть британских родителей, имеющих на это право, сумели договориться о более выгодном для семьи расписании, не снижающем производительности труда. Сочетая подобные новаторские методы, техническую поддержку и формируя общественное мнение, правительство может помочь бизнесу лучше относиться к своим работникам при минимальных затратах.

Естественно, ни одна из этих программ не должна препятствовать решению родителей оставаться одному из них дома, несмотря на материальные жертвы. Для некоторых семей это может означать то, что им придется обходиться без каких-то материальных благ. Для других может означать домашнее обучение или переезд в район, где жить дешевле. В некоторых семьях дома останется отец — хотя в большинстве семей по-прежнему за детьми в первую очередь будет ухаживать мать.

Каким бы ни было решение, отнестись к нему следует с уважением. Если социальные консерваторы в чем-то и правы, так это в том, что наша современная культура иногда не может полностью оценить огромный эмоциональный и материальный вклад — жертвы и просто тяжелый труд, — который вносит мать-домохозяйка. В чем социальные консерваторы не правы, так это в утверждении, будто подобная традиционная роль является присущей от природы — лучшей или единственно возможной моделью материнства. Я хочу, чтобы у моих дочерей была возможность выбирать, что лучше для них и их семей. Будет у них этот выбор или нет, зависит не только от их собственных усилий и отношений. Мишель показала мне, что также это будет зависеть и от мужчин — от того, будут ли они уважать и создавать женщинам условия для выбора.

— Здравствуй, папа.

— Здравствуй, моя сладкая.

Сейчас вечер пятницы, и я вернулся домой пораньше, чтобы присмотреть за девочками, пока Мишель в парикмахерской. Я беру Малию в охапку и замечаю на кухне светловолосую девочку, которая смотрит на меня сквозь очки, которые ей велики.

— Кто это? — спросил я, ставя Малию на пол.

— Это Сэм. Она пришла поиграть.

— Привет, Сэм.

Я протянул Сэм руку.

Сэм поколебалась, затем слабо ее пожала. Малия закатила глаза.

— Послушай, папа... с детьми не здороваются за руку.

— Не здороваются?

— Нет, — сказала Малия. — Даже подростки не пожимают руку. Может, ты и не заметил, но сейчас двадцать первый век.

Малия взглянула на Сэм, которая сдерживала улыбку.

— Так что же делают в двадцать первом веке?

— Просто говорят «привет». Иногда машут рукой. В общем, все.

— Понятно. Надеюсь, я не поставил вас в неловкое положение.

Малия улыбнулась.

— Все нормально, папа. Ты не знал, так как привык здороваться за руку со взрослыми.

— Это правда. А где твоя сестра?

— Наверху.

Я поднялся наверх и обнаружил, что Саша стоит в трусиках и розовом топике. Она обняла меня и затем сказала, что не может найти шорты. Я посмотрел в шкафу и нашел синие шорты, которые лежали на видном месте в ее ящике.

— А это что?

Саша нахмурилась, неохотно взяла у меня шорты и надела. Через несколько минут она забралась ко мне на колени.

— Эти шорты неудобные, папа.

Мы вернулись к шкафу Саши, снова выдвинули ящик и нашли другие шорты, тоже синие.

— Как тебе эти? — спросил я.

Саша снова нахмурилась. Стоя так, она была похожа на трехфутовую копию своей мамы. Пришли Малия и Сэм посмотреть, как решается проблема.

— Саше не нравятся ни те ни эти шорты, — сообщила Малия.

Я повернулся к Саше и поинтересовался почему. Она недоверчиво оглядела меня с ног до головы.

— Розовый и синий не сочетаются, — заявила она наконец.

Малия и Сэм захихикали. Я попытался придать себе такой строгий вид, какой был бы в такой ситуации у Мишель, и сказал Саше, чтобы она надела эти шорты. Она послушалась, но я понимаю, что она просто сделала мне одолжение.

Что касается дочерей, то они не покупаются на мою строгость.

Подобно многим сегодня, я воспитывался без отца. Мои родители развелись, когда мне было два года, и большую часть своей жизни я знал отца только по письмам, которые он присылал, и по рассказам матери и бабушки с дедушкой. В моей жизни мужчины все же присутствовали — отчим жил с нами четыре года, а мой дедушка вместе с бабушкой помогал воспитывать меня все остальное время — и оба были хорошими людьми и относились ко мне с любовью. Но мои отношения с ними были вынужденно неполными. В случае с отчимом — из-за недолгого общения и его природной замкнутости. И как бы близок я ни был с дедушкой, он был слишком стар и слишком обременен проблемами, так что не мог много меня воспитывать.

Так что устойчивость моей жизни придавали женщины — бабушка, чья упрямая практичность держала семью на плаву, и моя мать, чья любовь и чистота духа давали равновесие миру — моему и моей сестры. Благодаря им я никогда не испытывал недостатка в чем-либо важном. От них я впитал ценности, которые руководят мной по сей день.

Но по мере взросления я стал понимать, как трудно было матери и бабушке воспитывать нас без мужчины в доме. Я чувствовал также след, который оставляет на ребенке отсутствие отца. Я решил, что безответственное отношение моего отца к своим детям, отдаленность отчима и ошибки моего дедушки будут для меня наглядным уроком и что у моих детей будет отец, на которого они смогут положиться.

В самом общем смысле мне удалось этого добиться. Брак мой сохраняется, и семья моя обеспечена. Я посещаю родительские собрания и танцевальные репетиции, и дочери купаются в моей любви. И все же из всех областей своей жизни больше всего я сомневаюсь в своей способности быть мужем и отцом.

Я понимаю, что в этом я не один; на каком-то уровне я просто испытываю те же противоречивые чувства, что и другие отцы, при нестабильной экономике и меняющихся социальных нормах. Становясь все менее дости-

жимым, образ отца пятидесятых годов — отца, который работает с девяти до пяти и содержит семью, каждый вечер садится за приготовленный женой ужин, тренирует команду юниоров и умеет держать в руках молоток, — влияет на культуру не меньше, чем образ матери-домохозяйки. Для многих мужчин сегодня неспособность быть единственным кормильцем в семье является источником недовольства и даже стыда; и не надо быть сторонником экономического детерминизма, чтобы считать, что высокий уровень безработицы и низкие зарплаты способствуют низкой заинтересованности в воспитании детей и низкому уровню браков среди афроамериканских мужчин.

Для работающих мужчин в не меньшей степени, чем для работающих женщин, условия найма изменились. Являются ли отцы высокооплачиваемыми профессионалами или обслуживают конвейер, от них ожидают, чтобы они работали больше времени, чем раньше. И рабочее расписание становится более напряженным как раз тогда, когда ожидают, что отцы — а во многих случаях они и сами этого хотят — станут более активно заниматься детьми, чем это делали их отцы.

Но даже если не только для меня идеальный образ родителя не похож на реальность, это не избавляет от мысли, что я не всегда даю своей семье все, что могу. В прошлый День отца меня пригласили выступить в Салемской баптистской церкви на южной окраине Чикаго. У меня не было заготовленного текста, но я взял тему «Что нужно, чтобы быть взрослым мужчиной». Я сказал, что настала пора мужчинам вообще и черным мужчинам в частности перестать находить отговорки, по которым их нет в семье. Я напомнил мужчинам в аудитории, что быть отцом означает не только зачать ребенка; что даже те из нас, кто физически присутствует в семье, эмоционально отсутствуют и как раз из-за того, что многие из нас не имели в доме отцов, нам надо удвоить усилия, чтобы разорвать этот круг; что, если мы хотим большего требовать от наших детей, нам следует больше требовать от самих себя.

Вспоминая свои слова, я иногда спрашиваю себя, насколько я сам соответствую своим призывам. Ведь в отличие от многих из тех, к кому я тогда обращался, мне не надо браться за две работы или идти в ночную смену, чтобы добыть хлеб для семьи. Я бы мог найти работу, которая бы позволила мне каждый вечер быть дома. Или я бы мог найти работу, которая бы приносила больше денег, работу, на которой долгие часы оправдывались бы какой-либо ощутимой пользой для моей семьи — скажем, возможностью для Мишель сократить свое рабочее время или получать какие-то крупные пособия на детей.

Но я избрал жизнь со смехотворным расписанием, жизнь, которая требует долгих расставаний с Мишель и девочками и подвергает Мишель всякого рода стрессам. Я могу сказать себе, что по большому счету я занимаюсь политикой ради Малий и Саши, что моя работа сделает этот мир лучше для них. Но такие оправдания звучат малоубедительно, когда я пропускаю школьный праздник из-за голосования или звоню Мишель и сообщаю, что сессия была продлена и отпуск придется отложить. Более того, мои недавние успехи в политике плохо успокаивают чувство вины; как однажды Мишель сказала полушутя, увидеть фотографию папы в газете — здорово, когда она там появляется в первый раз, но когда она появляется там постоянно — немного неловко.

Так что я изо всех сил пытаюсь найти ответ на витающее у меня в голове обвинение в том, что я эгоист, что занимаюсь я этим из тщеславия или затем, чтобы заполнить пустоту в сердце. Когда я в городе, я стараюсь быть дома к ужину, чтобы послушать рассказы Малий и Саши о том, как прошел их день, чтобы почитать им и уложить в постель. Я стараюсь не планировать мероприятия на воскресенья — летом я в эти дни вожу девочек в зоопарк или в бассейн, зимой мы ходим в музей или аквариум. Ругаю я своих дочерей мягко, когда они себя плохо ведут, и стараюсь, чтобы они поменьше смотрели телевизор и поменьше ели пищу с «пустыми калориями». Во всем этом я следую Мишель, хотя иногда у меня возникает ощущение, что я вторгаюсь на ее территорию — что из-за своего отсутствия я лишился определенных прав вмешиваться в построенный ею мир.

Что касается девочек, они явно чувствуют себя превосходно, несмотря на мое частое отсутствие. В основном это говорит в пользу искусства воспитания Мишель; она явно владеет оптимальным подходом к Малий и Саше, способностью установить четкие границы и при этом не душить свободу. Она также старается, чтобы мое избрание в Сенат не сильно влияло на привычный распорядок дня девочек, хотя понятие того, что сейчас считается нормальным детством американского ребенка из среднего класса, изменилось так же, как и само понятие воспитания. Прошли те времена, когда родители просто отправляли сына или дочку на улицу или в парк и велели вернуться до ужина. Сегодня, когда в новостях сообщают о похищениях и когда стали относиться с явным подозрением ко всему самопроизвольному и даже просто к малейшей расслабленности, расписание дня детей почти такое же напряженное, как и у их родителей. В нем встречи для игр, уроки балета, гимнастика, теннис, уроки игры на фортепьяно, футбол и что-то похожее на еженедельные праздники дня рождения. Я сказал Малий, что за все время, когда я рос, я был всего на двух днях рождения, на каждом из которых было всего пять или шесть детей, бумажные колпаки и торт. Она посмотрела на меня, как я смотрел на своего дедушку, когда он рассказывал о временах Великой депрессии, — со смесью любопытства и недоверия.

Все действия детей приходится координировать Мишель, что удается ей превосходно. Когда могу, я предлагаю свою помощь, что Мишель ценит, хотя старается ограничить мои обязанности. В прошлый июнь за день до празднования дня рождения Саши мне сказали достать двадцать воздушных шаров, столько пиццы с сыром, чтобы хватило на двадцать детей, и лед. Это казалось вполне исполнимым, так что, когда Мишель сообщила, что пойдет покупать мешочки с подарками, которые будут раздавать, я предложил дать и это сделать мне. Она засмеялась.

— С мешочками и подарками ты не справишься,— сказала она. — Дай объясню тебе про мешочки. Надо пойти в магазин подарков и выбрать мешочки. Затем надо выбрать, что положить в мешочки, причем содержимое мешочков для мальчиков должно отличаться от содержимого мешочков для девочек. Ты час бродишь по магазину, а потом голова просто раскалывается.

Уже не чувствуя былой уверенности, я вышел в интернет. Я нашел магазин, продающий шарики, неподалеку от гимнастической студии, где будет проходить праздник, и магазин, который обещал доставить пиццу в 3.45. На следующий день, когда гости собрались, шарики были на месте и коробки с соком стояли на

льду. Я сел с другими родителями, стал слушать последние сплетни и смотреть, как двадцать пятилетних детей бегают, кувыркаются и прыгают на спортивных снарядах, словно стая веселых эльфов. Я начал немного волноваться, когда в 3.50 пиццы еще не было, но разносчик доставил ее за пять минут до того, как дети должны были сесть за стол. Брат Мишель, Крейг, понимая, как я волнуюсь, подбодрил меня, хлопнув по плечу. Мишель, раскладывая пиццу по бумажным тарелкам, взглянула на меня и улыбнулась.

Как заключительный аккорд, когда пицца была съедена и коробки сока выпиты, после того как мы пропели «С днем рожденья тебя» и съели торт, инструктор по гимнастике выстроил всех детей вокруг старого разноцветного парашюта и велел Саше сесть в его центре. На счет «три» ее подбросили в воздух, затем второй раз, а потом и третий. И каждый раз, когда она взлетала над волной ткани, она смеялась от восторга.

Интересно, будет ли помнить Саша этот момент, когда вырастет. Возможно, нет; я, похоже, могу вернуть лишь обрывки воспоминаний из того времени, когда мне было пять лет. Но думаю, то счастье, которое она переживала на этом парашюте, отпечатается в ее памяти навсегда; такие моменты накапливаются и запечатлеваются в характере ребенка, становятся частью его души. Иногда когда я слушаю, как Мишель рассказывает о своем отце, я слышу отголосок того счастья, любви и уважения, которые Фрейзер Робинсон заслужил не благодаря славе и эффектным поступкам, а благодаря скромным обычным ежедневным делам, любви, заслуженной тем, что был рядом. И я спросил себя, смогут ли мои дочери говорить так же обо мне.

Однако окно для таких воспоминаний быстро закрывается. Малия уже явно переходит в другую фазу; ее стали больше интересовать мальчики и отношения, она стала больше обращать внимание на одежду. Малия всегда была старше своих лет, необычно умной. Однажды, когда ей было шесть, мы вместе шли вдоль озера, она вдруг ни с того ни с сего спросила, богата ли наша семья. Я сказал ей, что мы не особо богаты, но у нас есть намного больше, чем у большинства. Я поинтересовался, почему это ей стало интересно.

— Ну... я все думала об этом и решила, что не хочу быть особо богатой. Я думаю, я хочу вести простую жизнь.

Слова ее были столь неожиданны, что я рассмеялся. Она взглянула на меня и улыбнулась, но по взгляду я увидел, что сказала она это серьезно.

Я часто вспоминаю о том разговоре. Я спрашиваю себя, что Малия думает о моей не такой уж и простой жизни. Она, конечно, заметила, что другие отцы приходят на игры ее футбольной команды чаще, чем я, но если это ее и расстраивает, она не показывает виду, Малия старается щадить чувства других и смотреть на любую ситуацию с лучшей стороны. Однако меня мало утешает мысль о том, что моя восьмилетняя дочь из любви ко мне готова закрывать глаза на мои недостатки.

Я смог недавно выбраться на одну из игр Малий, когда сессия закончилась раньше обычного. Стоял приятный летний день, и, когда я прибыл, несколько полей уже были заполнены семьями — черными, белыми, латиноамериканскими и азиатскими — со всего города, женщины сидели в шезлонгах, мужчины отрабатывали удары по мячу с сыновьями, бабушки и дедушки помогали удержаться на ногах малышам. Я заметил Мишель и сел на траву рядом с ней, подошла Саша и села мне на колени. Малия была уже на поле, среди группы игроков, окруживших мяч, и хотя для футбола у нее нет данных — она на голову выше своих друзей, а ноги еще не развились в соответствии с ростом, — она играет с энтузиазмом и азартно, и мы громко болеем. В перерыв Малия подошла к нам.

— Как настроение, подружка? — спросил я ее.

— Великолепное! — Она отхлебнула воды. — Пап, у меня вопрос.

— Давай.

— Мы можем завести собаку?

— А мама что говорит?

— Она сказала спросить у тебя. Я, кажется, уже начинаю ее уговаривать.

Я взглянул на Мишель, она улыбнулась и пожала плечами.

— Давай поговорим об этом после игры, — предложил я.

— Ладно. — Малия еще хлебнула воды и поцеловала меня в щеку. — Я рада, что ты дома.

Я не успел ответить, а она развернулась и побежала на поле. И в мягком свете раннего вечера мне вдруг показалось, что я увидел свою старшую дочь женщиной, какой она станет, словно с каждым шагом она становится выше, формы ее округляются и каждый шаг длинных ног приближает ее к собственной жизни.

Я обнял крепче Сашу у себя на коленях. Вероятно, почувствовав мои мысли, Мишель взяла меня за руку. И я вспомнил слова, сказанные Мишель репортеру во время кампании, когда он спросил ее, каково быть женой политика.

— Трудно, — сказала Мишель. Затем с улыбкой добавила: — И поэтому Барак так мне признателен.

Как всегда, жена моя права.

ЭПИЛОГ

В январе 2005 года присяга при вступлении в должность сенатора США завершила процесс, начавшийся за два года до этого, в день, когда я выставил свою кандидатуру,— переход от относительно незаметной жизни к очень публичной.

Конечно, многое осталось неизменным. Семья наша по-прежнему живет в Чикаго. Я по-прежнему хожу стричься в ту же парикмахерскую «Гайд-парк», к нам с Мишель приходят те же гости, что и до выборов, и дочери наши бегают по той же детской площадке.

Но нет сомнения в том, что для меня мир глубоко изменился, и изменения эти мне не всегда приятно признавать. Мои слова, мои действия, мои налоговые декларации — все оказывается в утренних газетах или в вечерних теленовостях. Моим дочерям, когда я вожу их в зоопарк, приходится мириться с тем, что нам не дают покою исполненные лучших намерений незнакомые люди. Даже за пределами Чикаго становится все труднее

незаметно пройти по аэропорту.

Как правило, мне трудно воспринимать всерьез все это внимание. Ведь я по-прежнему иногда выхожу из дому в пиджаке и брюках от разных костюмов. Мои мысли совсем не такие стройные, а мои дни совсем не настолько организованы, как это представляется миру, так что иногда возникают комичные ситуации. Помню, однажды, до принесения присяги, мы с моими помощниками решили провести пресс-конференцию в нашем офисе. В то время по длительности стажа я был девяносто девятым, и все репортеры набились в крохотный офис в цокольном этаже Днрк-сен-билдинг, на другом конце коридора от склада Сената.

Это был мой первый день в здании, я еще не участвовал ни в одном голосовании, не внес ни одного законопроекта — более того, я даже еще не сидел за столом в Сенате, и вот один очень серьезный репортер поднял руку и спросил: «Мистер Обама, каково ваше место в истории?»

Даже некоторые репортеры засмеялись.

Отчасти эту гиперболу можно объяснить моей речью на предвыборном съезде Демократической партии в Бостоне в 2004 году, когда я впервые заслужил внимание страны. Вообще-то, почему меня избрали основным докладчиком, до сих пор остается для меня загадкой. Впервые Джона Керри я встретил после предварительных выборов в Сенат Иллинойса, когда я выступал на мероприятии по сбору средств и потом сопровождал его на предвыборном митинге, где подчеркнул важность программ профессионального обучения. Через несколько недель представители Керри попросили, чтобы я выступил на съезде, хотя еще было не понятно, в какой роли. Однажды вечером, когда я ехал из Спрингфилда в Чикаго на вечернее предвыборное собрание, руководитель избирательной кампании Керри, Мэри Бет Кахилл, позвонила и сообщила об этом. Закончив разговор, я повернулся к своему шоферу, Майку Сигнейтору:

— Похоже, это что-то важное. Майк кивнул:

— Еще бы.

До этого я был только на одном предвыборном съезде Демократической партии, на съезде 2000 года в Лос-Анджелесе. Я не планировал посещение того съезда; я только-только оправлялся после поражения в предварительных выборах в Конгресс штата Иллинойс от первого избирательного округа и был настроен посвятить большую часть лета наверстыванию упущенного в юридической практике, которую я забросил на время предвыборной кампании (в результате чего оказался совершенно на мели), а также побыть с женой и дочерью, которые в те полгода очень мало меня видели.

Но в последнюю минуту друзья и сторонники, которые планировали туда отправиться, стали настаивать, чтобы я к ним присоединился. Тебе надо, сказали они мне, заводить контакты на уровне страны для твоей следующей кампании — да и вообще, будет весело. Хотя тогда они этого не сказали, но, подозреваю, они решили, что поездка на съезд будет для меня полезной (по теории, если выбросило из седла, то лучше всего сразу снова сесть на лошадь).

В конце концов я уступил и заказал билет до Лос-Анджелеса. Приземлившись, я направился взять в аренду автомобиль, дал женщине за стойкой свою карточку «Американ экспресс» и стал смотреть по карте, как проехать к недорогому отелю, который я нашел рядом с Венис-Бич. Через несколько минут женщина вернулась с выражением неловкости на лице.

— Извините, мистер Обама, но вашу карту не принимают.

— Не может быть. Может, попробовать еще раз.

— Я пробовала дважды. Может быть, вам позвонить в «Американ экспресс».

После того как я полчаса проговорил по телефону, любезный сотрудник «Американ экспресс» разрешил аренду машины. Но происшествие послужило дурным предзнаменованием. Поскольку я не был делегатом, то не мог получить пропуск в зал заседаний; председателя иллинойского отделения партии уже завалили просьбами, и он может дать мне только пропуск на территорию. Дело кончилось тем, что почти все выступления я смотрел по телевизорам, расставленным в разных местах Стейплз-Центра, а иногда с друзьями и знакомыми проходил на VIP-места, куда явно не вписывался. К вечеру вторника я понял, что мое присутствие не служит ни моим интересам, ни интересам Демократической партии и в среду утром уже летел первым рейсом в Чикаго.

Учитывая разницу между моей предыдущей ролью незваного гостя и новой ролью главного оратора, я имел основание беспокоиться, что мое выступление в Бостоне может не вполне удаться. Но так как к тому моменту я уже привык, что во время моей кампании происходят всякие нелепости, я не особо волновался. Через несколько дней после звонка госпожи Кахилл я снова был в своем гостиничном номере в Спрингфилде, делал наброски речи и смотрел по телевизору баскетбол. Я думал о том, о чем говорил во время предвыборной кампании, — о готовности людей тяжело трудиться, если есть такая возможность, о необходимости того, чтобы правительство создало фундамент для таких возможностей, о вере в то, что американцы имеют чувство взаимного обязательства. Я составил список тем, которых мог коснуться: здравоохранение, образование, война в Ираке.

Но прежде всего я думал о словах людей, которых встречал во время кампании. Я вспомнил, как встретил в Гейлсберге Тима Уилера и его жену, пытающихся добиться для своего сына-подростка необходимой ему пересадки печени. Я вспомнил, как встретил в Ист-Молине молодого человека по имени Шеймус Ахерн, отправляющегося в Ирак, о его желании послужить своей стране, вспомнил выражение гордости и тревоги на лице его отца. Я вспомнил молодую чернокожую женщину в Ист-Сент-Луисе, чье имя я так и не расслышал, которая рассказала мне о своих попытках поступить в колледж, хотя никто в ее семье не закончил средней школы.

Меня тронули не только усилия этих людей. Меня тронула их целеустремленность, их уверенность в своих силах, их неослабевающий оптимизм пред лицом трудностей. Я вспомнил фразу, которую мой пастор, преподобный Джеремия А. Райт, однажды употребил в проповеди.

Дерзость надежды.

Это лучшее в американском духе, подумал я, — иметь дерзость вопреки всему верить, что мы можем вернуть общность нации, разорванной конфликтом; безрассудство верить, что, несмотря на личные неудачи, потерю работы, болезнь члена семьи или детство, проведенное в нищете, мы можем управлять своей судьбой — а потому

несем за нее ответственность.

Как раз эта дерзость, думал я, объединила нас в один народ. Как раз этот всепроникающий дух надежды связал историю моей семьи с историей Америки, и мою собственную историю с историей избирателей, которых я стараюсь представлять.

Я выключил баскетбол и начал писать.

Через несколько недель я прибыл в Бостон, три часа поспал и поехал из гостиницы во Флит- Центр, чтобы впервые выступить в программе «Мит-зе-пресс». Ближе к концу передачи Тим Рассерт вывел на экран отрывок из интервью 1996 года для газеты «Кливленд плейн дилер», о котором я совершенно забыл и в котором репортер спросил меня — как того, кто только начал заниматься политикой в качестве кандидата в Сенат штата Иллинойс, — что я думаю о предвыборном съезде Демократической партии в Чикаго.

Предвыборный съезд продается, да — там обеды десять тысяч долларов за блюдо, клубы избранных. Думаю, когда обычные избиратели на это посмотрят, они с полным основанием решат, что исключены из этого процесса. Они не могут позволить себе завтрак, который стоит десять тысяч долларов. Они понимают, что те, кто в состоянии себе такое позволить, получат доступ, какой они и вообразить не могут.

После того как цитата была убрана с экрана, Рассерт обратился ко мне.

— Для этого съезда сто пятьдесят жертвователей дали сорок миллионов долларов, — сказал он. — Это еще хуже, чем в Чикаго, согласно вашим стандартам. Вас это возмущает и что это говорит среднему избирателю?

Я ответил, что политика и деньги являются проблемой для обеих партий, но история голосования Джона Керри и моя показывают, что мы голосуем за то, что лучше для страны. Я сказал, что один съезд избирателей этого не изменит, но я утверждаю, что чем больше демократы смогут способствовать участию людей, которые чувствуют себя исключенными из процесса, тем больше мы будем оставаться верны нашим истокам, партии простых американцев, тем сильнее мы будем как партия.

Лично я думал, что первоначальная цитата 1996 года была лучше.

Было время, когда политические мероприятия запечатлевали актуальность и драматизм политики — когда кандидаты определялись представителями партийных фракций, подсчетом голосов, давлением, когда страсти или ошибка могли вызвать второй, третий или четвертый тур голосования. Но то время давно прошло. С приходом предварительных выборов, когда наступил давно назревший конец доминированию партийных боссов и прекратились закулисные сделки, на сегодняшних предвыборных съездах не происходит ничего неожиданного. Они скорее являются рекламным роликом партии и ее кандидата длиной в неделю, а также средством вознаградить верных партии и главных спонсоров четырьмя днями еды, питья, развлечений и профессиональных разговоров.

На предвыборном съезде почти все первые три дня я провел, играя свою роль в этом пышном представлении. Я выступал перед полными залами крупных жертвователей Демократической партии и завтракал с делегатами из всех пятидесяти штатов. Я отработал свою речь перед видеомонитором, отрепетировал то, как она будет преподнесена, получил инструктаж о том, где стоять, где махать рукой и как лучше всего использовать микрофоны. Мой информационный директор Роберт Гиббс и я бегали вверх и вниз по лестницам Флит-Центра и давали интервью, иногда с промежутком всего в две минуты, Эй-би-си, Эн-би-си, Си-би-эс, Си-эн-эн, «Фокс ньюс» и Эн-пи-ар, при каждом случае подчеркивая тезисы, выданные нам командой Керри — Эдвардса, каждое слово в которых наверняка проверялось в бесчисленных голосованиях и на массе фокус-групп.

Учитывая бешеный темп происходящего, мне некогда было волноваться о том, как будет воспринята моя речь. Только во вторник вечером, после того как штат моих помощников и Мишель полчаса проспорили о том, какой галстук мне надеть (в конце концов сошлись на галстуке, который был на Роберте Гиббсе), после того как поехали во Флит-центр и услышали, как на дороге незнакомые люди кричат «Удачи!» и «Задай им, Обама!», после того как мы навестили в номере отеля очень обходительную и очень веселую Терезу Хайнц-Керри, когда, наконец, я только с Мишель один сидел за сценой и смотрел трансляцию, я начал немного волноваться. Я сказал Мишель, что мне как-то немного не по себе. Она крепко меня обняла, посмотрела в глаза и сказала: «Только не завали все!»

Мы оба засмеялись. В этот момент вошел один из заведующих постановочной частью и сказал, что мне пора занять свое место за кулисами. Стоя за черным занавесом, слушая, как Дик Дурбин меня представляет, я думал о своей матери, отце и дедушке и о том, что бы они чувствовали, если бы находились в аудитории. Я подумал о том, как моя бабушка на Гавайях смотрит предвыборный съезд по телевизору, поскольку спина у нее совсем разболелась и она не может путешествовать. Я подумал обо всех добровольцах и сторонниках в Иллинойсе, которые так много ради меня работали.

«Господи, помоги мне правдиво рассказать их историю», — сказал я про себя. И вышел на сцену.

Было бы неправдой, скажи я, что положительная реакция на мою речь на предвыборном съезде в Бостоне — полученные мной письма, толпы на митингах, как только мы вернулись в Иллинойс, — не была мне лестна. Ведь в конечном счете я пришел в политику, чтобы иметь какое-то влияние на публичную дискуссию, думая: мне есть что сказать о том, в каком направлении нам как стране следует идти.

Но обрушившаяся после речи публичность укрепляет мое ощущение того, насколько мимолетна слава, насколько она зависима от тысячи разных случайностей, от того, что что-то происходит так, а не иначе. Я понимаю, что не стал умнее, чем был шесть лет назад, когда временно застрял в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Мои взгляды на здравоохранение, образование или внешнюю политику не стали сложнее, чем были тогда, когда я в безвестности трудился социальным работником. Если я и сделался умнее, то это в основном благодаря тому, что прошел немного дальше по избранному для себя пути, по пути политики, и увидел, что он может вести и к добру, и к злу.

Я помню разговор почти двадцатилетней давности с одним другом, человеком старше меня, который занимался гражданскими правами в Чикаго в шестидесятые и преподавал исследование городских проблем в Северо-Западном университете. Я только что решил, проработав три года, поступить на юридический факультет; поскольку этот человек был одним из немногих знакомых мне преподавателей, я спросил у него, не даст ли он

мне рекомендацию.

Он сказал, что будет рад написать мне рекомендацию, но вначале хотел узнать, зачем мне диплом юриста. Я упомянул, что меня интересует занятие гражданскими правами и что мне хочется однажды попытаться выставить свою кандидатуру на государственную должность. Он кивнул и поинтересовался, подумал ли я о том, что может означать выбор такого пути, на что я готов пойти, чтобы делать правовое обозрение, или стать партнером, или быть избранным на ту первую должность и затем продвигаться наверх. Как правило, и юриспруденция, и политика требуют компромисса, сказал он, не только по отдельным вопросам, но и в фундаментальных вещах — твоих ценностях и идеалах. Объяснял он это не затем,

чтобы отговорить меня, как он сказал. Просто это факт. Как раз из-за его нежелания идти на компромисс он, хотя в молодости ему много раз это предлагали, всегда отказывался идти в политику.

— Это не значит, что компромисс сам по себе плох, — сказал он мне. — Просто мне он не приносил удовлетворения. А с годами я обнаружил, что делать надо то, что приносит удовлетворение. Вообще-то, полагаю, одно из преимуществ преклонного возраста — это то, что начинаешь понимать наконец, что для тебя важно. В двадцать шесть понять это трудно. И проблема в том, что на этот вопрос за тебя никто не ответит. Только сам можешь узнать.

Двадцать лет спустя я вспоминаю тот разговор и могу лучше оценить слова своего друга, чем мог тогда. Ведь я приближаюсь к возрасту, когда начинаешь чувствовать, что тебе приносит удовлетворение, и хотя я, вероятно, более терпим к компромиссу в частных вопросах, чем мой друг, я убежден, что удовлетворение найду не в свете телевизионных юпитеров и не в овациях толпы. Удовлетворение, похоже, чаще приходит от сознания, что я конкретным образом способен помочь людям жить достойно. Я думаю о том, что Бенджамин Франклин писал своей матери, объясняя, почему он столько своего времени посвятил государственной службе: «Я бы предпочел, чтобы обо мне сказали: „Он прожил с пользой", чем „Он умер богатым"».

Вот это сейчас, думаю, приносит мне удовлетворение — быть полезным своей семье и избравшим меня людям, оставить после себя наследство, которое сделает жизнь наших детей более полной надежд, чем наша. Иногда, работая в Вашингтоне, я чувствую, что приближаюсь к этой цели. В другое время мне кажется, что цель от меня отдаляется и все мои занятия — слушания, речи, пресс-конференции и меморандумы — это одно самолюбование, бесполезное для всех.

Когда я оказываюсь в таком настроении, то люблю пробежаться по Эспланаде. Обычно я бегаю ранним вечером, особенно летом и осенью, когда воздух в Вашингтоне теплый и спокойный и листва едва колышется. С наступлением темноты там не много людей — несколько прогуливающихся пар, бездомные на скамейках, разбирающие свои пожитки. Почти всегда я останавливаюсь перед Мемориалом Вашингтона, но иногда пробегаю дальше через улицу к Национальному мемориалу Второй мировой войны, затем вдоль Зеркального пруда к Мемориалу ветеранов Вьетнама и вверх по ступеням Мемориала Линкольна.

Ночью огромный храм освещен, но часто пуст. Стоя среди мраморных колонн, я читаю Геттисбергское послание и Вторую инаугурационную речь. Я смотрю на Зеркальный пруд, представляю, как толпа затихла от мощного голоса доктора Кинга, затем перевожу взгляд на освещенный прожекторами обелиск и сверкающий купол Капитолия.

И именно в этот момент я думаю об Америке и о тех, кто ее построил. Об основателях государства, которые каким-то образом поднялись над мелочными амбициями и узкими расчетами, чтобы представить себе, как страна простирается от моря до моря. И о людях вроде Линкольна и Кинга, которые в конечном счете положили свои жизни ради совершенствования несовершенного союза. Обо всех безымянных мужчинах и женщинах, рабах, солдатах, портных и мясниках, которые строили жизнь для себя, своих детей п внуков, кирпичик за кирпичиком, балка за балкой, одна мозолистая ладонь к другой мозолистой ладони, претворяя в реальность нашу общую мечту.

Именно в этом процессе я хочу участвовать.

Сердце мое исполнено любовью к этой стране.

Указатель

СОДЕРЖАНИЕ

Обама Б.
О 13 Дерзость надежды: Мысли о возрождении американской мечты / Пер. с англ. Т. Камышниковой, А. Митрофанова. — СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2008. — 416 с. ISBN 978-5-395-00209-9

Книга человека, который может изменить Америку и весь мир!

Перед вами книга сенатора Барака Обамы, человека, чье лицо сейчас не сходит с газетных полос и телеэкранов всего мира. Человека, на которого с надеждой смотрят в эти дни миллионы.

Пожалуй, никто не станет возражать — все, что происходит в Америке, так или иначе самым серьезным образом влияет на жизнь каждого человека на планете.

Обама зарекомендовал себя как политический лидер совершенно нового типа, и благодаря его взглядам на власть весь мир в целом и Россию в частности ждут большие перемены.

Это связано с тем, что Барак Обама действительно хочет изменить Америку. Изменить ее экономику, ее внешнюю и внутреннюю политику, ее образ мысли, наконец. И еще он надеется возродить американскую мечту.

Книга «Дерзость надежды» переведена на все европейские языки, а теперь выходит и в России. Эта публикация необычайно важна и для автора, и для российских читателей, так как именно взаимоотношения России и Америки, их противостояние или же сотрудничество определят, каким будет мир ближайшего десятилетия.

БАРАК ОБАМА
ДЕРЗОСТЬ НАДЕЖДЫ Мысли о возрождении американской мечты
Редактор Ольга Маширова Художественный редактор Вадим Пожидаев Технический редактор Татьяна Раткевич Корректоры Татьяна Бородулина, Ксения Зобова, Елена Терскова Верстка Александра Савастени
Директор издательства Максим Крютченко
Подписано в печать 29.09.2008. Формат издания 84 ^{x} 108 $^{1}/_{32}$- Печать офсетная. Гарнитура «Петербург». Тираж 25 000 экз. Усл. печ. л. 21,97. Изд. № 209. Заказ № 11351.
Издательский Дом «Азбука-классика». 196105, Санкт-Петербург, а/я 192. www.azbooka.ru
Отпечатано по технологии CtP в ОАО «Печатный двор» им. А. М. Горького 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.